80 коп.

ИНДЕКС 73274

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗАВЕЩАНИЕ П. А. СТОЛЫПИНА – исследование **В. Жедилягина**;
Русская печать 1911 года о подробностях убийства П. А. Столыпина и личности убийцы.

"Летопись России: история в лицах" –
новая рубрика "Нашвго соврвмвнника", в которой читателю предоставляется возможность ознакомиться с портрвтами выдающихся людей России с древнейших времен до наших днвй, написанными лучшими соврвменными литераторами, историками, критиками, а также авторитетными православными священниками. Для участия в этой рубрике приглашены **Л. Гумилва, о. Дмитрий Дудко, Д. Балашов, Р. Скрынников, о. Лев Лебедеа, П. Паламарчук, В. Распутин, А. Панченко, В. Кожинов, игумен Андроник Трубачев, Ф. Нестероа, Ю. Лощиц** и многив другив.

Под рубрикой ***"Отечественная мысль"*** –
политическив статьи **В. Розанова** из нвопубликованной при жизни автора книги "Чврный огонь"; "КАРЛ МАРКС КАК РЕЛИГИОЗНЫЙ ТИП" – малоизвестная статья **о. Сергия Булгакова**; "О СОПРОТИВЛЕНИИ ЗЛУ СИЛОЮ", "ПУТЬ ДУХОВНОГО ОБНОВЛЕНИЯ", "ПОЮЩЕЕ СЕРДЦЕ" (с предисловивм **В. Белова**) – труды выдающегося русского мыслитвля **И. Ильина**; "НОВОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ" – лучшая работа **Николая Бердяева.**

Под рубрикой ***"История Отечестеа: документы и судьбы"*** –
не известные соввтскому читателю страницы биографии В. И. Ленина – главы из книги Н. Валентинова (Вольского); "КРАСНЫЙ ТЕРРОР В РОССИИ" – книга историка С. Мвльгунова – самов яркое свидетвльство злодвяний "профвссиональных рвволюционеров" в пврвые годы Соввтской власти; ПИСЬМА ЦАРСКОЙ СЕМЬИ ИЗ ЗАТОЧЕНИЯ; "ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ ЗЛОДЕЯНИЕ В СВЕТЕ СТАРЫХ И НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ (1918–1978)" – работа зарубежного исследователя профвссора **П. Пагануцци**, основанная на позднейших материалах и докумвнтах, приоткрывающая малоизввстные страницы екатвринбургской трагвдии.

Под рубрикой ***"Зарубежная мысль"*** –
"ТАЙНА БАШНИ СО ЗВОНОМ", "ПРОСЕЛОК", "О ПОНИМАНИИ" – впврвые в России публикуются философскив эссв одного из крупнвйших зарубежных мыслителей XX ввка **Мартина Хайдеггера**; "ЗАКАТ ЕВРОПЫ" – новый пervвод глав о судьбах России знамвнитой работы **Освальда Шпенглера**; "СПОР О СИОНЕ. 2500 ЛЕТ ЕВРЕЙСКОГО ВОПРОСА" – одна из наиболее острых и дискуссионных книг по национальной проблематикв, принадлежащая пвру изввстного английского журналиста и исслвдователя **Дугласа Рида.**

Круг чтения –
Д. Барышников. "ЖЕНЩИНА И ЛОЖЬ" (о книге Н. Бврберовой "Люди и ложи. Русскив масоны XX столвтия");
в этой же рубрике мы обозреваем "Московский литератор", "Московский строитвль", "Ввчв" (Новгород), "Эхо" (Вологда);
а также израильский журнал "Алеф", "Ввстник еврвйской советской культуры", "Московские новости" и другую соввтскую периодику.

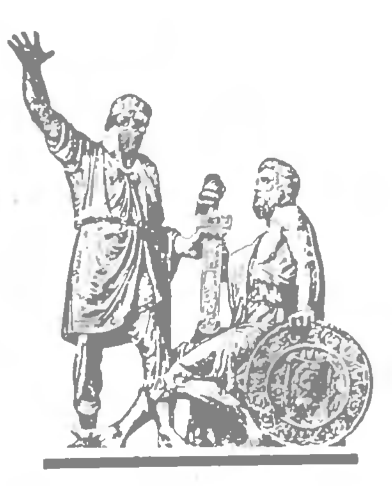
Наш современник, 1990, № 9, 1–192.

НАШ СОВРЕМЕННИК №9 1990

ISSN 0027-8238

НАШ СОВРЕМЕННИК

Журнал писателей России



№9 1990

ГОВОРИТ РОССИЯ

Продолжаем публикацию откликов на "Письмо писателей, деятелей культуры и науки России", опубликованное в № 4 нашего журнала:

"Несомненно, больше молчать нельзя. Ведь дело дошло до того, что русофобствующая мафия, имеющая крепкие позиции в средствах массовой информации, культуре, сфере образования, отказывает нам, русским, в праве любить свою затюканную, обескровленную Родину. Всякий, кто открыто об этом заявляет, немедленно попадает в разряд "черносотенцев" и "так называемых патриотов". При этом делается все, чтобы искусственно разбить нашу интеллигенцию на два враждующих лагеря: "демократов" и "великодержавников" (само собой, "антисемитов").

СЕМЬЯ ЧЕРЕМИСИНЫХ, Могилевская область".

"Русский народ обвиняется в шовинизме и "русском фашизме". Создается впечатление, что кому-то необходимо восстановить народы нашей страны против русского народа, уничтожить русскую культуру, стереть с лица земли русскую нацию.

ПЕТРОВА Р. Г., ЯРОВАЯ Л. П. и др., всего 18 подписей, г. Тверь".

"На нашу долю выпало возродить российскую государственность. Россия должна, как Феникс, восстать из пепла.

ЛИТВИНОВ В., военнослужащий, участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, г. Мичуринск".

"Разделяем тревогу писателей, деятелей культуры и науки России. Просим изыскать все имеющиеся средства для издания Письма отдельной брошюрой массовым тиражом, не менее 20 миллионов.

Трудящиеся завода "Северная верфь":
КОЛОСОВА С. А., ПОПОВ Г. Г., ЯЛФИМОВ В. П. и др., всего 69 подписей, г. Ленинград".

"Мы, русские, живущие в Литве, горячо поддерживаем Письмо. Нас, в одночасье вдруг оказавшихся "за границей" на положении людей второго сорта, глубоко радует ваша поддержка русских в союзных республиках.

КАТЫХИНА, ОБОРЛЕВА и др., всего 5 подписей, г. Шяуляй".

"Нынешние "швондеры", осевшие в средствах массовой информации, по сути, ничем не отличаются от идеологов первых лет советской власти – та же пропагандистская возня, направленная на подрыв самосознания народа, та же ставка на низменные инстинкты в противовес возрождению духовности и в итоге – преследование каких-то своих целей, далеких от общенациональных.

Работники треста "Дальморнефтегеофизика": ФЕОКТИСТОВ А. В., ОВЧИННИКОВ Д. И., СУНАГАТОВ Р. Т., САВИШКИН С. А. и др., всего 56 подписей, г. Южно-Сахалинск".

" В Письме четко определены те, кто стравил наши народы, втянув в жернова этой чудовищной мельницы и простой еврейский народ, направив естественные чистые национально-патриотические чувства народов по ложному пути.

ЧИРКОВА М. В., КАМИНСКИЙ В. П., ЗАХАРИКОВА И. А., г. Рига".

"Родина у нас одна, нам ехать некуда и незачем, поэтому нам нельзя отдавать ее на поругание, разбазаривание и закабаление. Расчленению России – нет! Превращению России в сырьевой придаток Запада и мировую свалку радиоактивных отходов – наше решительное НЕТ!

КУРКИНА Т. Н., ПЕТРОВА С. В. и др., всего 5 подписей, г. Воронеж".

"Выражаем признательность за гражданское мужество и искренний патриотизм всем подписавшим это Письмо, направленное на возрождение России, против темных просионистских антиперестроечных сил.

Студенты, преподаватели и сотрудники Кубанского ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственного института: КОЖАН Н. К., АРТЕМОВ И. И., ШЕПЕЛЕВ Б. З. и др., всего 66 подписей, г. Краснодар".

"Пока не поздно, надо остановить зарвавшихся "прорабов перестройки", иначе они переведут весь "строительный материал" и останутся от их деятельности в нашей стране одни только развалины и пепел.

Сотрудники Центрального института агрохимического обслуживания сельского хозяйства: АРИСТАРХОВ А. Н., БАСМАНОВ А. Е., ВЯТЛЕВА Т. И. и др., всего 20 подписей, г. Москва".

В настоящее время в поддержку Письма поступило более 6300 откликов.

НАШ СОВРЕМЕННИК



ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

№9 1990

ИПО «ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА» МОСКВА

Содержание

И. о. ответственного секретаря **З. С. Гуляевская.**
Технический редактор **Л. Л. Ежова.** Корректоры **М. И. Кононова, Л. Н. Тихонова.**

Адрес редакции: 103750, ГСП, Москва, Цветной бульвар, 30 Телефоны: 200-24-24 (главный редактор), 200-24-83, 200-24-94 (заместители главного редактора), 921-43-59 (ответственный секретарь), 921-48-71 200-23-05 (отдел прозы), 200-23-07 (отдел поэзии), 200-24-28 (отдел очерка и публицистики), 200-24-70 (отдел критики), 928-32-16 (международный отдел), 200-24-32 (технический редактор), 200—23-54 (корректоры), 200-24-12 (зав. редакцией) 200-24-76 (отдел писем).

Сдано в набор 12.06.90. Подписано к печати 19.09.90.
Формат 70×108[1]/16. Бумага типографская № 2. Печать высокая
Усл. печ. л. 16,8. Усл. кр.-отт. 17,24. Уч.-изд. л. 21,21 Тираж 468505 экз. Заказ 1769

ИПО «Литературная газета». 103750, Москва, Цветной бульвар, 30.
Ордена «Знак Почета» типография газеты «Красная звезда».
123826, Москва, Хорошевское шоссе, 38

АЛЕКСАНДР ПРОХАНОВ

ИДЕОЛОГИЯ ВЫЖИВАНИЯ

Политика двулика. Один ее лик — ярко раскрашенная маска, иногда ужасная, иногда сусально-медовая — обращен к публике, к народу, призван пугать и обманывать. Второй лик, тайный, сокровенный, — обращен к жрецам политики, к ее творцам и кудесникам, в кабинеты лаборатории власти. В основе любой политики лежит тайна, умолчание, загадка, которая остается неразгаданной и уходит в Лету вместе с легковерными народами, пластами истребленной истории.

Две тайны лежат в основе российской политики двадцатого века, вытекая одна из другой. Первая связана с устранением могущественной русской империи с мировой арены. Вторая — с приостановкой развития повторно созданной советской империи и устранением ее из мирового процесса.

Кого пугала, кому казалась лакомым куском, кому легла камнем преткновения Россия начала века, могучая, интенсивно развивающаяся держава, с полнокровным этносом, мощно пробующим себя в цивилизации и культуре? Россия, по предсказаниям ее друзей и врагов, обещала к середине столетия стать сверхдержавой, и ее невоенная мировая поступь ощущалась во всех регионах мира. Несмотря на множество угрюмых, гнетущих черт внешнего быта и государственности, русское возрождение подтверждалось демографическим цветением и цветущей культурой.

Эти рожающие русские женщины, укладовые прочные семьи, крестьянские, городские, с девятью, десятью детьми, непрерывная эманация нравственно и физически здорового населения, позволявшая народу заселить пространства между трех океанов, дарить державе солдат и работников. И могучая культура на фоне вялой и утомленной культуры Европы, огромные духовые константы, провозглашенные русскими духовидцами в девятнадцатом веке, позднее, к началу двадцатого, разветвились, расслоились во множестве духовно-религиозных, эстетических исканиях, обращенных в будущее. Россия искала в мировом космосе во всех направлениях — готовилась произнести новое нарождающееся мировое слово. Произнесла, если бы все эти искания не были страшно пресечены и оборваны. Как, в каких сочетаниях, с помощью каких интеллектов и денег объединились враги империи, проведя грандиозную операцию по устранению ее из мирового развития? Какие речи шелестели в уютных кафе Цюриха, в тиши лондонских библиотек, в банках Нью-Йорка, в берлинском генштабе, где зарождалась интеллектуальная операция по разрушению царской России?

Европейские марксисты с презрением и скукой смотрели на многомиллионную крестьянскую Русь, с ее мистической культурой и верой. Коммунистический храм надлежало возводить не на русских суглинках и супесях, а в дымном индустриальном небе Европы, используя рациональное знание европейских наук и культур. Как могла возникнуть беспощадная, неправдоподобная мысль превратить Россию в таран для разрушения европейских твердынь, использовать миллионы русских крестьян для создания революционной армии, миссия которой— лечь костьми на бастионах Варшавы, Берлина, Парижа, способствовать своей смертью созданию коммунистического «европейского дома»?

Революция в России, захват большевиками власти, истребление думающей элиты, удушение культуры и веры — есть меры по превращению народа в несметные колонны пехотинцев, направляемые вождями на театры мировой революционной войны.

Попытка русским штыком, русской кровью, русским пробитым сердцем одолеть оплоты мировых буржуазных империй окончилась неудачей, Россия, одетая в буденовки, расстреляв своих офицеров, утопив свое духовенство, изгнав своих профессоров и писателей, была не нужна, неинтересна миру, израсходовала себя, не годилась для мирового развития.

Сталин был тем, кто изменил революционной идее. Он посчитал, что невозможно тотчас победить Париж и Лондон, необходимо довольствоваться Москвой и

Казанью. Он приступит к строительству новой, своей, социалистической квазиимперии, использовав на ее созидание эмблематику царской державы, конструктивизм социальной науки. Сталин собрал оставшиеся обломки царизма, добыл лицензии передовой технологии для строительства домен, обобрал безропотный, изнасилованный на гражданской войне народ и создал свою империю.

Эта сталинская мегамашина, сконструированная на костях и крови, пронизанная жестокими, упрощенными структурами управления, освященная золотым офицерским погоном и главкой уцелевшего храма, обнаружила симптомы развития. Несмотря на все иссечения и траты, оказалась живой. Главное свидетельство ее жизнеспособности — победа во второй мировой войне, самой страшной из всех, какие вело человечество. Система выстояла, не раскололась на сотни составлявших ее элементов, победила могучего, блистательно организованного врага, утвердила свое влияние на огромной территории Европы и Азии. Квазиимперия, несмотря на огромные траты войны, сумела быстро реанимировать жизнь, продолжить динамичное развитие в послевоенном мире. Уже после смерти вождя, перевалив через сталинский гроб, в период раннехрущевского правления, система обнаружила невиданный расцвет технологий: авангардный прорыв в космос, достижения в ядерной энергетике, в областях фундаментальных наук, мировое лидирование на важнейших направлениях интеллектуального и научно-технического творчества. Общество, накопив малый запас калорий, потратило его на создание новой культуры — «деревенской прозы», литературного и живописного модерна. Рожденное в недрах сталинской мегамашины общество, несмотря на страшные избиения, продемонстрировало динамизм и развитие.

Как, каким образом это развитие было второй раз остановлено? Каким способом были замедлены научно-технические разработки, свернут внутрисоциальный прогресс, превращена из развивающейся в стагнирующую государственная машина управления? Что за оружие было направлено на победившую в ужаснейшей из войн государственность?

Почему к моменту «революционной перестройки» в областях, определяющих мощь любых государств, таких, как космос, ядерная энергетика, информатика, — оказались заложены неверные, вредные, завлекающие нас в изнурительные тупики программы? Почему наша ядерная энергетика, бывшая на первых порах первоклассной, оказалась заложницей жутких примитивных реакторов, готовых сдетонировать вселенский взрыв? Почему триумфальный королёвский космос сегодня уже почти уступает китайскому, и его все бьют и калечат? Почему, несмотря на отчаянные попытки прорваться в информационно-кибернетическое будущее, затрачивая на это огромные средства, мы остались без электронно-вычислительных машин и закупаем компьютеры одряхлевших поколений, приковывая себя к безнадежному прошлому? Почему еще двадцать лет назад, когда обывателю ясна была драма деревни, а писатели шли на крест, оповещая об этом правительство, — почему поощрялось разрушение крестьянских дворов, остатков русского крестьянского этноса?

«Управленческое оружие» — есть форма влияния одного, более развитого социума на другой, — влияние, благодаря которому слабый или наивный соперник оказывается в поле экономических, информационных, культурных воздействий, способных затормозить развитие, повернуть его в нужном направлении или навязать сопернику путь, влекущий его в тупик.

Множество признаков, сквозь все умолчания, ложные трактовки и формулы, заставляют подозревать, что дважды за это столетие мы стали жертвой невидимого «управленческого оружия», убивавшего Россию.

В недрах нашего социума, остывающего, превращающегося в луну, под его коростой и пемзой, идут глубинные трясения и взрывы — борьба двух классов, стяжавших себе богатство и власть. Природа этой борьбы неясна народу, окружена фигурами умолчания. Две могучие политические и финансово-экономические силы дерутся насмерть, вовлекая в этот бой не ведающее, не понимающее своих целей общество. Одна из этих сил, паразитируя на всех государственных структурах — от оборонных заводов до пивных и бань, — пользуясь нерасторопностью, выморочностью и продажностью этих структур, обкрадывала их последние двадцать лет, отстегивала тысячи, миллионы и миллиарды, сколачивала огромные ворованные капиталы, выпивала соки из корней нашего чахлого развития, взрастала как тень рядом с централистскими структурами власти.

Вторая сила — сама эта власть: администрация, Советы и партия, позволявшие обкрадывать Родину, получавшие от грабителей пакеты и конверты дотаций, строящие свое благополучие на взятках и отчислениях с воровства — огромном даровом богатстве.

У денег — своя радиация, своя критическая масса, таинственная энергетика. Скапливаясь в больших количествах, они начинают накаляться, взбухать, требовать движения, циркуляции, хотят превратиться в мускульную рабочую силу, в товар, снова в деньги, в банковскую систему, в рынок, в господство, власть. Им тесно в железобетонном централистском социуме, управляемом обленившимися, недееспособными стяжателями. Теневые криминальные деньги, достигнув критической массы, взорвались, взбудоражились. Их хозяева — криминальные буржуа вступили в конфликт с недавними союзниками, с советской «партийной олигархией», стремясь упразднить централизм.

Драма сегодняшнего дня, в какие бы шелка и плюмажи ни рядили ее режиссеры, какая бы лексика ни звучала на съездах, забастовках и митингах, какие бы святыни ни выносили на свои мистерии наши жрецы и пророки, драма сегодняшних дней — это драма оживших наворованных денег, выносящих к власти своих криминальных хозяев, драма гибнущего, сгнившего изнутри централизма. Наши недавние хозяева из Советов и партии ведут свою родословную от тех, кто взял власть силой, минуя конституционную церемонию, юридический ритуал, опираясь на «революционную волю народа», на «социалистический выбор», на «революционную законность», позволившую застрелить царя с дочерьми и наследником, прогнать взашей бывших министров, выгнать из домов на мороз всю крестьянскую Русь, переморить в «Крестах» и Бутырке интеллигенцию и все семьдесят лет чинить малый и большой произвол, освящая его не законом, а жреческими символами флага, герба, мавзолея. Именно неконституционный, без согласия сословий, без всенародного уложения переход власти породил длящуюся по сей день цепь беззаконий, убийств и насилий.

Нынешний переход власти от наследников большевизма к новым, «либеральным» хозяевам Родины — теневым буржуа, уставшим скрываться от света, шагнувшим под прожектора перестройки, — этот переход совершается без «красного террора», без «добровольческой армии», с видимыми признаками конституционного ритуала. Сам народ устами своих избранников с парламентских трибун и кресел обращается к новому либеральному классу: «Правьте нами! Владейте нами! Учите нас! Кормите и поите нас, заблудших в лабиринтах истории!»... Молим господа, чтоб не пролилась при этом русская кровь, как пролилась уже армянская и азербайджанская.

Проверим же этику передачи власти, вскроем ее механику.

Умными, занявшими ум на стороне, реформаторами была выработана блестящая формула: «демократизация — гласность». Это рабочий термин, который родился в тайных лабораториях власти и, выпорхнув на брифинге или в программной статье, стал эмблемой, фирменным знаком перестройки. За этим термином скрывается мощный социальный двигатель, сконструированный инженерами перестройки и внедренный в наш рыхлый малоподвижный социум.

Раньше народ управлялся с помощью карающих органов, репрессивных инструментов власти, тотальной партии, нескольких незыблемых пропагандистских клише, имевших магический смысл, — передвигался с их помощью в нужных направлениях. Новый социальный двигатель «демократизация — гласность» позволяет управлять обществом, но без штыка, нагана, психушки. Волею жрецов перестройки средства массовой информации, этот информационный концентрат современной цивилизации, были отданы в руки рвущихся к власти либералов. Одновременно были поспешно сколочены грубые, неотесанные парламентские структуры. Информационные потоки, управляемые «либералами», стали воздействовать на беззащитное, без иммунитетов, без мировоззренческих и психологических экранов, народное сознание, семьдесят лет пребывавшее во тьме обскурантистской политики. По существу, это была операция на живом, лишенном черепной коробки мозге без наркоза. Народное сознание, отданное на растерзание «гласности», били плетьми, гнали в заданном направлении к избирательным урнам, где «демократизация» расставила свои, наспех возведенные и нелепо раскрашенные ловушки — парламенты и съезды. Эта умная хирургия привела к власти многих активных и талантливых либералов, которые продолжают захватывать страну, эксплуатируя все тот же социальный, раскручивающий свои обороты двигатель. Победы «либералов» на выборах обусловлены тем, что средства массовой информации настроили огромные массы людей против партии и традиционных государственников — своих недавних союзников и хозяев. Партия, управленцы централистских структур, государственники и военные олицетворяют в народном сознании мировое зло, а либералы, вскормленные ими, оставаясь в тени, малоизвестны народу, выступают под личиной гуманизма, совести, процветания. В итоге централистские структуры почти сметены, и победа либералов, захвативших экраны и микрофоны, надолго обеспечена их партийным и антицентралистским пафосом. Народ, измученный, обозленный, издерганный телеаттракционами, будет все больше ненавидеть партию, министров и генералов, пока наконец медленно, в следующий исторический период, не выплывут на поверхность жуткие контуры буржуазно-криминальной структуры и народ ужаснется тем, кого он поддерживал, кто предлагал ему сегодняшние лозунги спасения и цветения. Такова этика бескровного конституционного «перехода власти», рожденного в отточенных, демонических умах «перестроечников».

Средства информации являются проверенной на полигонах западной демократии формой власти. Питаются рецептами, доктринами, методологией, школой, целой пропагандистской культурой, перед которой мы беззащитны, как перед инопланетной цивилизацией, уровень которой неизмеримо выше, чем наш. Сегодня мы — муравьи, не понимающие, откуда движутся гипнотизирующие нас подавляющие и возбуждающие потоки. Наш муравейник разоряется, из него выталкивают матку, убивают работников и солдат, а мы мельтешим, переносим свои личинки из огня да в полымя, не видя разорителя. Очень скоро, когда доктрина «демократизация — гласность» выполнит свое пред-

назначение, и «либералы» придут к власти, и их партийно-бюрократические оппоненты будут устранены на основных направлениях, разъяренный народ будет требовать новых ударов, новых врагов и жертв, появятся новые лозунги: «консолидация», «дисциплина», «гражданский мир». Победителям будет нужна стабильность, повиновение, твердая власть.

Одна из фигур умолчания связана с афганской войной. Афганская война — часть огромной тайны, характеризующей нашу гибель. Десятилетняя эта война начиналась в одном государстве, с одним типом власти, с одной доктриной, с одним правящим кланом, а закончилась в другом государстве, зеркально противоположном первому, отрекшемся от своей доктрины, поменявшем ценности, испепелившем недавних лидеров, пригласившем на престол оппозицию. «Афганцы» никак не могут понять, почему государство, провожавшее их на войну как героев, встречает их почти как преступников. Почему начало похода в гибельные пустыни и горы было окружено молчанием, а возвращение домой — бранью и воплем.

Концепция афганской войны расщеплена, выпадает из фокуса, двоится. По существу, это две разные войны, которые вели два разных государства одним и тем же воинским контингентом, и второе, «перестроечное», государство вело эту войну три кровопролитных года. Операция «Магистраль», когда молотили из всех калибров, прорываясь к Хосту. Истребление Мусакалы, когда гибли еще не захваченные войной цветущие районы Афгвнистана. Великая Отечественная война — самая страшная в истории, ворочавшая континентами, длилась четыре с половиной года. «Перестройка» воевала в Афганистане три года, и, бог знает, какие цели достигались дипломатами в золоченых гостиных, когда гибли на перевалах группы спецназа, горели кишлаки и мечети.

Ныне удобно считать, что тайну афганской войны унесли с собой пять вельможных покойников, что она исчезла в гробах и урнах, запечатана плитками в кремлевской стене. Но остались референты, посылавшие информацию в Центр по линии министерства иностранных дел и разведки, по линии армии и партии. Остались научные институты, оценивавшие эффект войны в странах Востока, Европы, Америки; докладные записки, рекомендации, разработки, толкавшие властительных старцев к принятию военных решений. Тайна афганской войны здесь — с нами, в правительстве, на трибунах, на газетных страницах, хохочет над нами, правит нами, сытно ест, сладко пьет, валит с больной головы на здоровую. Множество мотивов свивались в сложный жгут интересов, страстей, капризов, где главное уходило внутрь и скрывалось, а второстепенное бросалось в глаза.

Было великое искушение поддержать мировую социалистическую идею в момент, когда она покатилась к закату, продемонстрировать «триумфальное шествие социализма» по миру в дни, когда идея стала падать в самом СССР. Войска шли в поход на Кабул, подчиняясь всё той же революционной доктрине, что и в предвоенной Испании, в послевоенной Корее, в Венгрии Имре Надя, в Чехословакии Дубчека. Утомленный интернационализм отправлялся в свой последний безнадежный поход. Плодились трудности внутри государства — подъем диссидентства, дряхление власти, оскудение жизни, апатия народа, казался удобным шанс отвлечь общественность от социальной тоски, легкой победой опьянить умы молодежи, сплотить народ вокруг побеждающих лидеров.

Продолжался военно-стратегический конфликт СССР — США. Размещение американских ракет в Европе внесло нестабильность в оборону советских штабов и центров, вплоть до Северного Урала, а развитие группировки Диего Гарсиа, авианосные соединения, плывущие в Персидском заливе, делали беззащитными тюменские нефтяные поля и промышленные центры Сибири. В этой борьбе пространств, боеголовок и подлетных секунд казалось удобным наше выдвижение на южный театр. Эскадрильи самолетов, взлетавшие из-под Кандагара, грозили блуждающим авианосцам противника.

В ту пору мы были участниками геополитического конфликта, когда Китай, рассматривавшийся нами как военный противник, вступил в мощный альянс с Пакистаном, содействовал ядерной пакистанской программе. Индия, наш партнер и союзник, страшась Пакистана и враждуя с Китаем, тянулась к Советскому Союзу, просила оружие, стратегическое сырье и поддержку. Выход к индийским границам должен был скрепить объятия двух держав, рассечь и ослабить геополитический союз Китая и Пакистана.

В недрах советского Генштаба теплился, никогда не угасал традиционный для России взгляд на Восток. В двадцатые годы в военных академиях читали курсы о возможном походе на Индию. Мысль о революционном завоевании Индии бродила еще в воспаленном сознании большевиков-утопистов. Раздел Риббентропа — Молотова не обошел стороной Индию. Юго-восточный вектор экспансии, указующий издревле, через Казань и Астрахань, через Бухару и Хиву, вонзился в гранит Гиндукуша.

Увеличился страх перед «зеленым масонством», перед тайным проникновением исламского фундаментализма, в республики Средней Азии, открывавшим свои подпольные мечети, проповедующим создание всемирного исламского пояса, интегральной исламской государственности. После победы шиитского фундаментализма в Иране вероятная победа сунитского фундаментализма в Афганистане казалась почти катастрофой. Бои под Кандагаром, Гератом рассматривались как превентивные бои за Баку, Фергану и Ташкент. Уход с рубежей Кабула и Джелалабада сулил перенесение борьбы в центр среднеазиатских республик.

Американское, произраильское лобби в СССР было заинтересовано поссорить Москву с исламским миром, внести раздор между славянами и мусульманами внутри страны, отвлечь СССР от ближневосточного конфликта, перенести его заботы на другой регион, «разгрузить» Израиль от давления арабских соседей. Влияние этого лобби на руководство страны могло оказаться решающим.

Стремление рашидовской мафии, неимоверно разросшейся, контролирующей регион Средней Азии, имеющей коррумпированную связь с Центром, — стремление ее расширить сферу своего влияния за пределами СССР могло быть аргументом в пользу афганской войны. Через Афганистан текли и продолжают течь в СССР и дальше, в Европу, потоки наркотиков, золота, драгоценных камней, проточив сквозь пространства Союза желоба и каналы доставки. Было большое искушение взять под жесткий контроль эти пути и дороги с помощью русских штыков, расставить бритоголовых солдат, не ведающих истины, по придорожным заставам от Пакистана до Термеза и Кушки. Был и личный мотив: Брежнев хотел наказать вероломного Амина, убившего личного и любезного друга — президента Тараки.

Есть немало и других мотиваций, до которых доискиваются, вписывают в свои труды и исследования безымянные пока что аналитики и участники афганской войны — глобальной акции, предпринятой во вред СССР, еще одного удара по державе, нанесенного «управленческим оружием».

Когда-то мы жили в Российской империи. Когда-то мы жили в Советском Союзе. Неизвестно, где мы живем сейчас. Но будем жить в России — не в той, которую захватили, режут ее и кроят алчные временщики, вывозят за рубеж ее чернозем, заповедных зверей и прелестных женщин, — мы будем жить в России с национальным правительством, национальным идеалом, национальной внутренней и внешней политикой, но — увы — не сегодня и не завтра. Впервые не только в истории отечества, но и мира мы видим, как государство рушится не в результате внешних ударов, чумного мора или стихийных бедствий, а в результате целенаправленных действий вождей, получивших власть от структур, которые ими же избиваются. Геростратов комплекс, катастрофическая неумелость или служение чуждым отечеству интересам — не важно, что движет ими. Они увековечат себя в истории. Их будут тысячелетиями хвалить на чужбине и проклинать в отечестве. Король перестройки гол, ослепительно гол, а портные, шьющие ему фрачную пару, упаковывают свои саквояжи.

После сокрушительной перестройки мир, где предстоит действовать обессиленной России, будет являть собой подобие того мира, который мог бы возникнуть, одержи победу Германия. Это организованная вокруг великой Германии Европа, где на разных ролях, на различном удалении от немецкого центра действуют Франция, Италия, Польша, государства-лиллипуты Прибалтики, все осколки советского царства, захваченные гравитацией немцев.

Это великая Япония, втягивающая в ареал своей экономики, идеологии и культуры страны Тихого океана, чей «желтый гений» потребует от «белого гения» пропорциональной доли пространства, ресурсов, власти.

На юге мусульманский мир, со своими бурно нарастающими этносами, с нерастворяемой в цивилизации религией, образует форму государственности, куда вольются отколовшиеся от России казахи, узбеки, туркмены, — «зеленую империю», чья северная граница уже намечена по Уралу и Волге.

Среди трех колоссов, трех башен предстоит действовать нашим детям и внукам, и что мы оставим им в наследство? Басню о нашем «общем доме»? Как научить их выстоять, выжить среди грозного соперничества технотронного века, в котором не исчезнет ни одно из самых древних земных противоречий, но прибавятся тысячи новых?

Будущему поколению русских людей нечему будет учиться у сегодняшних дней, если нами, захваченными крушением, не будет выработана идеология выживания.

Политический процесс связан с увеличением центров власти и ослаблением каждого из них. Четыре существующих центра власти являют собой картину нарастающего безвластия. Первый центр — президентская власть. Второй — региональные сепаратистские правительства. Третий — правительство России. Четвертый — недавно созданная Российская коммунистическая партия.

Среди этих противоборствующих полюсов, нападающих друг на друга структур, существует бесструктурное, гуманитарное, эмоциональное патриотическое движение России. Оно попыталось было оформиться как политическое движение, но, раздавленное «либеральной» прессой, отсеченное от политизированного народа, потерпело сокрушительное поражение на выборах и теперь представляет собой чисто культурное, духовное движение — множество небольших, необильных членами обществ, групп, ассоциаций, философских, исторических и культурных. Лидеры этого движения словно бы отчаялись получить места в парламенте и сосредоточили свои усилия на просветительстве, на духовной работе — тихо, смиренно, впрок. Культура — дело благое, беспроигрышное, однако «либералы», как победившая партия, пользуются инструментами власти, несут свою культуру, свою идеологию с присущим им прагматизмом, захватывают всё новые плацдармы. Рынок,

где вот-вот забушуют «либеральные деньги», сметет оппозицию, скупит бумагу, лишив патриотов книг и изданий. Установят свои стандарты и ценники на выставках живописи, художники-реалисты, уже сегодня влачащие жалкое существование, пойдут по миру. Русские песни будут исполняться в кабачках проезжих дорог на потеху иноземным негоциантам. И любой протест, любой ропот и смута будут истолкованы как проявление русского фашизма — проверенный, безотказно убивающий жупел.

В русском патриотическом движении есть свои просветители, свои столпники и скрытники, но нет деятелей, политиков и купцов. Где они, наши Столыпины, Мамонтовы, Брусиловы? Неужели их всех посекла красная секира, уморила голодуха, споил кабак?

Они есть. Они — в структурах, которые, несмотря на страшный развал экономики, продолжают управлять производством и транспортом. Несмотря на разложение армии, продолжают вылетать на охрану неба, выплывать на защиту побережий. Они еще в структуре Российской компартии. Там есть деятельные, непреклонные люди. Они создали свою партию, успели вырвать ее из рук лукавых, убивающих ее вождей. Выдерживают натиск шельмующей, натравливающей на них народ «либеральной» пропаганды. Эта партия рождалась не в люльке, не на дотации американцев — она рождалась на поле политического боя в тот момент, когда ее приверженцев валили косяками, истребляли лидеров. Едва родившись, она была втянута в изнурительную борьбу с другими центрами власти, другими силами и группировками, тратя на это весь свой организационный и интеллектуальный потенциал. Ее драма в том, что она не успела обрести свою лексику, не умеет выразить свою новую идеологию, пытается в косноязычии, доставшемся ей по наследству, или пытается говорить языком противника. Ей необходимы теоретики — те, что немедленно обеспечат связь с измученным, обманутым «либералами» народом, которого отдают в плен классу криминальных буржуа, связь с Россией, которая переживает свою Голгофу. Как сомкнуть РКП с народом, после того как народ натравлен на партию, видит в ней источник своих напастей, враждует с ней?

Коммунистическая партия Ленина, захватившая Россию, пролившая море крови, воевавшая со всеми слоями общества, не была партией народа, враждовала с ним, подымала его на дыбу коллективизации, индустриализации, гнала народ жезлом железным. Народ боялся партии, ненавидел ее. Вражда между партией и народом кончилась в сорок втором году, когда страна была на грани поражения, и народ, потеряв пол-России, вдруг понял, что партия — единственная сила, способная организовать отпор, перевести на восток экономику, отмобилизовать дивизии, остановить панику. Народ простил партию, доверился ей, принял ее как единственно возможную власть. Один из результатов Победы — примирение власти с народом. Мы вступили в войну в состоянии вражды и раскола — вышли из нее как целостное общество.

Когда, в какой момент произошло новое расслоение партии и народа? Когда перерождение партии, забросившей проблемы развития, стало очевидным, общество, лишившись в лице партии авангарда, обрело в ее лице алчного, сластолюбивого нахлебника? Народ смеялся над брежневской партией, не признавал ее, презирал. Сегодняшнее отторжение партии от народа — реальность, в которой родилась и живет РКП.

Новое, второе слияние партии и народа сможет произойти в момент глубочайшего национального кризиса. Перестройка, порождающая безвластие, хаос, бедность, голод, кровопролитие, погружение во тьму всех слоев общества, всей страны, побуждает народ обращаться к партии: если РКП не будет уничтожена тотальной пропагандой «либералов», если она выстоит до начала всеобщей катастрофы, ей второй раз в истории суждено возглавить процесс национального выживания.

Очень важны отношения между Российской коммунистической партией и патриотическим движением. С одной стороны, хрупкий, по крохам накопленный потенциал национального возрождения не может быть отдан в грубые, неумелые руки, чтобы его тут же не пустили в вульгарные, сиюминутные схватки, не сожгли в смоляном факеле политических усобиц. С другой стороны, патриотам необходимы структуры, защитники, гаранты, которые бы спасли движение от «либерального» погубления.

Российская компартия и национальное патриотическое движение нуждаются друг в друге. Идеологией РКП должна стать идеология национального выживания. Не национального возрождения, не национального расцвета, о которых поют со своих веток популисты всех мастей и говорить о которых сейчас бессмысленно, — а национальное выживание. Партия должна сказать народу предельную, жестокую, страшную правду о том, что он — гибнущий народ, вымирающий, почти обреченный. Она должна оперировать не пропагандистскими фантомами, а жестокой истиной. Она должна стать партией гибнущего народа, воззвать к инстинкту выживания.

Чтобы «отцепиться» от назойливых и беспардонных «либералов», казнящих партию за все грехи, необходимо вскрыть криминальную суть этих новых хозяев, природу их богатств, историю их капиталов, наворованных за двадцать «теневых», не видных обществу лет. Показать, как эти доморощенные богатства сливаются с мировыми деньгами, какие субсидии текут из заморских банков в кассы новых партий. Необходимо предельно и отважно объяснить катастрофику нынешних дней как итог преступной «либеральной политики» антинационального руководства, развалившего СССР в интересах других держав. Выявление контуров катастрофы, куда затолкали страну «либералы», обнародование краткой программы национального выживания сделают РКП лидером гибнущего народа.

Вместо того чтобы обещать людям индивидуальное жилище к XXI веку, партии следует заявить программу немедленных мер по национальному выживанию в условиях кризиса.

Должна быть обеспечена сверхнадежная охрана наиболее опасных зон техносферы: АЭС, химическое производство с безостановочным циклом, ракетные шахты, хранилища спецоружия, дабы их не разрушили забастовки, и они не стали инструментом глобального террора.

Распад коммуникаций и цепей управления потребует гарантированных воздушных мостов с запасом самолетного топлива.

Угроза голода делает насущным создание продовольственных фондов для детей, что позволит сберечь от вымирания народившееся поколение граждан.

Полюса развития — научные центры, ориентированные в будущее, школы фундаментальных наук, полигоны, космодромы, лаборатории и конструкторские бюро, где еще сохраняется быстро тающий технологический и интеллектуальный потенциал, должны капсулироваться, перейти на автономный режим, замкнуться на собственной продовольственной и социальной базе, отключиться от хаоса, пережить его, сохранить себя для посткатастрофического развития.

Должна быть немедленно сформулирована программа по спасению культуры, не только картинных галерей, храмов и рукописей, но и живой культуры — писателей, художников, актеров, ученых, без различия направленности, политических симпатий, идеологических репутаций. Таланты должны быть выхвачены из хаоса, спасены для будущего.

Как бы ни была жестока эта программа, она должна быть сформулирована и обнародована. Она не исключает долговременных программ развития, моделей грядущего.

Будущее общества, пережившего сегодняшнюю драму, не в революционных конвульсиях, а в эволюционном замедленном развитии. Консерватор в устах «либерального авангарда» — слово скверное, бранное, но сегодняшний процветающий мир управляется консерваторами. Западные общества не пускают к политике либерал-радикалов, вводят консервативные замедлители в революционно развивающиеся технологии, в склонный к хаосу галлюцнгенный мир современной культуры и искусства.

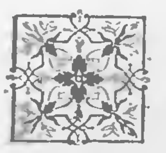
В консервативной, эволюционной модели, стабилизирующей общество, амортизирующей возможный разнос в этой модели, нуждаются сегодня все: фундаментальная наука, требующая социального покоя для открытий, искусство, нуждающееся в социальной передышке, церковь, семья, женщина — все это молит о гражданском покое и мире, о произрастании злаков на полях, о сохранении младенцев в люльках. Категория консервативности должна пройти через наше изуродованное революциями сознание, занять достойное место среди установок и ценностей.

Всё думаю: почему так близки нам герои Чехова? почему такой печалью отзывается сердце, когда перечитываем Чехова? почему слезы у глаз? Должно быть, подсознательно понимаем, что чеховские герои, все эти Ионычи, дяди Вани, Раневские, — все они уйдут в революцию, войдут в ее страшную драму. Одни станут белыми офицерами и будут расстреляны на рыжих днепровских откосах, другие пойдут пыльными дорогами красной пехоты, кто-то из очаровательных чеховских женщин умрет в тифозных бараках в косынке сестры милосердия, кто-то станет главой Губчека. Так жалко всех этих студентов, телеграфистов, чиновников. Все они еще здесь, любят, ссорятся, говорят пошлости, пишут плохие стихи, но всем уже уготована роль в близком крушении России.

Не оттого ли так больно, что мы похожи на них?

Уже поздно мириться, поздно ссориться.

Не поздно молиться и выживать.



НИНА КАРТАШЕВА



БЛАГОДАРЮ, ЗЕМЛЯ РОДНАЯ

* * *

Холопов наняли хвалить или хулить.
Русскоязычен говор, но с акцентом.
Какие молодцы — продать
или купить,
Как пользуются выгодным
моментом!
Как выдают за чистую монету
То «Слава Партии!»,
то «Партию к ответу!»

Не мне за партию вступаться,
видит Бог.
Мне этот строй бедой был
изначально,
И уцелела в нем я лишь случайно,
И труден хлеба моего кусок.

Но ведь к ответу требуют не тех...
Кто власть реальная?
В каких сидит кулисах?
Кто создает провал или успех?
Кому закон или устав не писан?

Не искушайте бедами народ,
Не до конца он спился и смешался.
Он сам — не по газетам разберет,
Кто гнул его
и кто над ним смеялся!

* * *

Умом и совестью, и духом соберусь,
Пред Богом встану в схиме и в веригах:
Пусть я умру — но ты воскресни, Русь!
Воскресни прежней Родиной великой.

Ты свято повторила путь Христа,
За мир себя и сына не щадила,
Предательство, несение Креста,
Распятие — все это уже было.

У гроба мироносицей молюсь,
Воскресни, Русь! Сверши обетованье! —
На плащанице страшный след страданья,
Но тела нет во гробе. Встала Русь.

Так бодрствуйте ж теперь, ученики.
Русь явится вам смерти вопреки.

* * *

Обломок свергнутой короны,
Я недостойна, я слаба,
Стою в печали у иконы
Худая Божия раба.

Талант врагом похищен, в землю
С проклятьем заживо зарыт.
Насмешки хульные приемлю,
И род старинный мой забит.

Премудрости не разумею:
Не открываю древних глаз.
Но Господи! Молиться смею:
Прости нас всех, помилуй нас.

И Бог призрел — и я прозрела
Глазами, чистыми от слез:
Цвела сирень, в ней птица пела!
Так из земли талант пророс.

Благодарю, земля родная,
Не помяни обид и зла,
Уж коли выжила я, знаю,
Ты сохранила и спасла.

* * *

Обескрещенная, обесчещенная
Пир справлявшими сатанистами,
Церковь Божия — Матерь вещая
Умирала в грязи, пречистая.

Но над мерзостью запустения
Плача, ангелы здесь служили
И молились о воскресении,
И о блудных сынах тужили.

Обезглавленная, обесславленная,
За бесценок иудами продана,
Одичала, Богом оставленная,
Православная моя Родина.

Но над телом души молилась,
Сила Божия — в немощи тихой.
За страдания — Божия милость
И венец этой муки великой.

* * *

«...прииди в помощь сродникам твоим и побори борющия ны».

(Из акафиста святому благоверному князю Александру Невскому. День памяти 6 декабря).

Папино детство... Господние страсти:
Злобные попреки от советской власти,
Родителей отняли, из дома выгнали,
Учиться не дали! Травили, морили...
Но время пришло — оружие выдали,
Доверили... Хоть и опять укорили.

А он не корил. Пусть Россия советская,
Но все же Россия! И в битвах кровавых —
Вот эти медали, два ордена Славы,
И в легком осталась пуля немецкая.

Израненный, лиха не помнил. Рассказывал:
В день памяти Невского, в праведной битве,
Вот здесь, под Москвой, — выше сил, выше разума —
Победа далась по церковной молитве.
Вот когда вспомнил о Боге Сталин,
И снова в церквах свободно молились —
С тех пор наступать мы на фронте стали,
Вернулась за это к нам Божия милость...

Папа теперь уж в небесном воинстве,
В светлой дружине святого Невского.
«Темную ночь» спеть мне больше некому,
Но помню всегда об отцовском достоинстве,
Но память храню об отцовском мужестве,
Но плачу, вспомнив в священном ужасе,
Как дорого стоит «свобода совести».

* * *

Д. Л.

Нет! Соль земли не вы, а воины Христа!
Не транснациональная элита,
Которая у пахаря хлеб вырвет изо рта,
Которой выгодно, что Истина сокрыта.

Нет, соль у вас не та — на вкус тошна,
Хоть массы травятся, безумствуют витии.
Но нам вина чужая не нужна.
Свои есть грешники. И есть святые.

Святые, да! Пусть многое болит,
Но Церковь молится, и Бог нас не оставит.
Бог по делам рассудит и управит,
И Духом Истины народы осолит.

* * *

Псалмов великие глаголы
Дела мирские устыдят.
В нас примирив души расколы,
Кресты церковные блестят.

Прослыть безумною рискую,
Но не скрываясь в храм вхожу,
И ставлю свечку восковую,
Глаза имею и гляжу:

Кто нас собрал сюда толпою,
Не одинаковых умом,
И незнакомых меж собою,
И с целью разной — в Божий дом?..

Кто шел сюда в обход, кто прямо,
Кто от скорбей, кто от идей,
Кто от бесов, кто от людей —
Но все стоим в пределах Храма.

Напомни, Боже: много званых,
Но мало избранных. Но все же
Прости и всех помилуй, Боже,
И вразуми нас, окаянных.

* * *

От хвойных пасмурных аллей
Церковным ладаном пахнуло,
И что-то в душу заглянуло,
И стало будто бы светлей.

И я замедлила свой шаг,
Вживаясь в это впечатленье,
И услыхала тайный знак:
Высокий благовест и пенье.

Но рядом новый город был
И люди новые в нем жили,
Все безучастно проходили
Сквозь проявленье Божьих сил.

И я хотела, устыдясь,
Идти, как все, не замечая...

Но, будто мыслям отвечая,
Остановился дед, крестясь.

И доверительно сказал:
«Здесь, дочка, Божий храм стоял...»

✦✦✦

* * *

«... Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: «Выйди от мене, Господи, потому что я человек грешный».
(Евангелие от Луки).

В непредвиденный час и ничем не заметный
Ты снисходишь ко мне, недостойной и смертной:
Чьих-то мыслей касанье или снов совпаденье,
Или этих стихов под рукой появленье —
В светлой тайне Твоей для меня остается,
Лишь душа обомрет, а потом отзовется!
И летает сиянье вокруг благодатно!
Но когда Ты восходишь на небо обратно,
Как я чувствую временность этого дома,
Даже счастью земному нисколько не рада —
Подними же меня до Себя невесомо,
Снисходить же ко мне в мир мой грешный не надо...

* * *

Я кротким внимаю речам,
Свечу от лампады зажгла
Большим бесконечным очам,
Печаль у которых светла.

И рядом архангел пройдет,
Лик ясный слегка наклоня,
И ладана запах прольет,
Крылами коснувшись меня.

Предчувствие жизни другой
Вдруг память мою озарит,
И пишет моею рукой,
И сердцем моим говорит.

* * *

Упала ниц, но не молюсь,
А только тихо преклоняюсь.
Я оскорбить Тебя боюсь
И посмотреть в Твой Лик стесняюсь.

Но силой, легкой и живой,
Меня поставило на воздух
Перед иконой в ясных звездах —
Пред Ликом Девы Пресвятой.

Ошеломленная смотрю,
Как Лик в росе нездешней дышит,
Как будто я вошла в зарю,
Страх видит мой и вздох мой слышит.

Глаза закрыв, перекрещусь
И не поверю даже в чудо,
За что сие мне и откуда?
И на колени опущусь...

* * *

Вот говорят: «Вы сами виноваты,
Рабочие, крестьяне и солдаты.
Вы — гегемоны, мы — аристократы,
Вы — слесари, мы — кесари.
Молчите!

Зачем вам деньги? Все равно
пропьете.
Работайте и работяг плодите,
И подыхайте на своей работе!
Вот из-за вашего гегемонизма
Мы недостроили социализма...»

Народ мой бедный! Дармовой
работник,
Кому плоды труда твои уходят?
Народ затравленный, все — на тебя,
все — против,
И новый призрак по России бродит.

* * *

Эка их корчит! И впрямь чужебесие!
Впору с Крестом окропить и отчитывать.
Но не дадутся, высмеют весело,
В горе ль смешно? Дураки нарочитые...

Что ж вы торгуете, как интердевочки?
Честная бедность пороком позорится.
Льются рекою народные денежки...
Чести не стало — и дело не спорится.

Посвящается Валентину Распутину

«Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, победы на сопротивныя даруя и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство».
(Ежедневная православная молитва за Отечество).

С распятьем древним, родовым в деснице
Благословлю, как мать и как сестра —
Последний бой, покой уже не снится.
Мужи и братья, сыновья! Пора.

Пусть ваши светлые и праведные лики
Ни страх, ни стыд, ни боль не омрачит —
Да будет День во всех веках великий,
Да будет вера — меч, да будет правда — щит.

Не отступлю в любви я и в молитве.
Господь! Мы достояние Твое,
Победу даруй правым в страшной битве.
Жизнь кончилась — настало житие.



ПРОЗА



АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН

КРАСНОЕ КОЛЕСО

ПОВЕСТВОВАНЬЕ В ОТМЕРЕННЫХ СРОКАХ

Узел II

ОКТЯБРЬ ШЕСТНАДЦАТОГО

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

РЕВОЛЮЦИЯ

42

Если упускать такой случай как сегодня, то и никогда никакого заговора не составишь. А если разговаривать, то тоже не намёками. Насторожило, правда, раздражение Свечина. Но в его порядочности сомнений не было, что не проболтает. Зато искупалось сопротивление Свечина открытой восприимчивостью Воротынцева. Был он тот благодарный втягивающий слушатель, в глаза которого глядя, хорошо рассказывать:

— Месяц назад состоялось тут некое неофициальное совещание разных... мыслителей. Кадетов больше. На частной квартире, как теперь вся общественная жизнь идёт. Был там и я. Больше — слушал. Проверял все возможные точки зрения. Вот, давайте ещё раз проверим и с вами, что́ они говорят.

Все они соглашаются, что власть держится — ни на чём, только толкни. Что события неминуемо разворачиваются к большому народному размаху, то есть — к революции. Но никто не высказывает охраняющего движения — протянуть руку и остановить этот размах. Размышляют только: а когда ударит — то что случится? Может ли дать отпор правительство — презренное, безвольное, в самом себе не уверенное? Нет. В этом согласны все. И тогда рассматривают два варианта. Первый: что беспомощное правительство, начав по-настоящему тонуть, кликнет о помощи к общественным кругам, к законодательным учреждениям.

— ...Ну, считайте, к Милюкову и Прогрессивному блоку. А этого только и надо! И общественные круги так и быть согласны помочь гибнущему правительству, так и быть не уклонятся от ответственности и примут бразды. При сохранении монархии, на это у них ума хватает. Но может быть с заменою Государя, ещё как они там решат. Вариант второй: власть упирается до последнего, не просветляется и в минуту гибели, что, кстати, больше на неё похоже.

Продолжение. Начало в №№ 1—8 за 1990 год.

Ждущий взгляд Воротынцева затемнился.

А Гучков дал себе отвлечься:

— Человеческая природа. Из-за этого и все катаклизмы истории. Ну кажется: поймите сами. Ну кажется: уйдите сами, сколько раз уже вам намекали, говорили, толкали, — нет!! Без нудящей силы, по своему разуму, и на уступки? Ни за что!

Подумал, исправился:

— В Европе иначе. А у нас: пока святым кулаком по окаянной шее не наладили — ни за что не уйдут. Один раз с Манифестом уступили — и локти себе искусали, и своровали подло назад.

Свечин покуривал себе. Не проявлял прежнего сопротивления, но и прежнего внимания.

— Итак, по второму варианту, власть бесславно падает, не позвав на помощь цензовые круги. Стихия на короткое время торжествует. Что же цензовые круги? Не присоединяясь к стихии, спокойно ждут своего момента. После радостной анархии и уличных торжеств, дескать, придёт неизбежный момент организации новой власти — и вот тут-то, мол, наступит черёд людей государственного опыта, которых неизбежно *пригласят* управлять страной, — ведь кто ж, кроме них, на то способен?.. Так что, в обоих вариантах, н а м — только спокойно сидеть и ждать, когда пригласят, а? — Усмехнулся Гучков, проверяя на собеседниках. Воротынцев тоже усмехнулся, Свечин вполне безразличен. — Милюков уверен, лотерея беспроигрышная: уступит ли власть сама или её сшибёт революция, — хоть министры, хоть анархисты, хоть союзники, все неизбежно придут и поклонятся кадетам.

Вертикальное отзывчивое лицо Воротынцева искосилось.

— Что? — спросил Гучков.

— Александр Иваныч, откуда такая уверенность в революции? Откуда она нам? Ни с какой стороны.

— О-о-о, вы заблуждаетесь. Я считал революцию неизбежной уже весною Четырнадцатого. Но война отменила.

— Не думаю. В солдатских головах — такой мысли совсем нет.

(Хотя вот на днях же на Выборгской...)

А свечинское грубое носатое лицо побесчувственело, никакого выражения.

— Они мечтают, — развивал Гучков, — это будет, как в приличной Франции, в 48-м году. Но и во Франции революции не бывали друг на друга похожи. Только тем похожи, что лучше б не было вовсе никаких.

Крутил треугольник салфетки.

— А я им сказал: господа! Тот, кто *делает* революцию, тот её и возглавит, тот и сядет во власть. Глубоко вы ошибаетесь, что какие-то одни силы выполнят чёрную работу революции, а других позовут управлять новой Россией. Если мы допустим, чтобы нашего монарха свергали ре-во-лю-ци-о-неры, — пишите пропало! готовьте шеи для гильотины! Надо — не моргать, не ушами хлопать в ожидании милой революции, а: нашим разумом, нашей волей — революцию *остановить*! Или — обойти.

И выставил косо перед собой недлинную руку с крепко зажатой салфеткой как поводом невидимого коня. Недлинную руку, однако умеющую держать оружие. Однако немало и пострелявшую.

Быстрые глаза Воротынцева всё вбирали, без перебива. Свечин обдымливался, как чёрно-лысый истукан в фимиаме.

Салфетку — к груди прижал Гучков, сердечным признанием:

— Если уж так безнадёжно допустили мы Россию — так наше дело, высших классов и общества, и найти для неё несотрясательный выход. Если сдвинется *масса* — рухнет и государство, рухнет и вся Россия. Революция — это провал фронта. Надо во что бы то ни стало удержать глыбу, чтоб она не двинулась.

Э т о - т о было несомненно? Не между кадетами если. Кто и что мог тут возразить?

Глыбу удержать? Воротынцев брался плечо подставить. Ну, не один, человек двадцать таких. Попробуем?

— Ведь если только эту даже *мысль* — о возможности сотрясения, свержения, да обратить в толпу? — ведь её потом...

Покосился на Свечина. Искры по крышам? Ну что ж, виноват. Иногда вместе с кадетами увлекался, по задору выдразнивал на общественную поверхность, чего и не хотел. Ещё год назад тянул их на открытый бой. Свойство сердца — оно само выколачивается из груди. Но зато теперь понимает твёрдо.

Если дать толпе *подняться...* (Ворвутся и сюда, в отдельный кабинет Кюба, в наш быт налаженный.) Потом — её на место не загонишь. *Охлос* не должен участвовать в политике, он должен получать только готовое. В этом разумный урок всей истории.

Ждал возражений? Не было их.

Чья же задача — не дать пожару охватить Россию? Кто же должен переспеть, предупредить стихийные силы, если не мы — руководящие круги её, деятельные и сильные люди? Это — долг наш. И даже — политический расчёт.

До сих пор — разговор как разговор, которыми насыщена Россия, между знакомыми или случайными встречными, в гостиных даже великокняжеских, между гвардейцами, или думцами, или земскими гласными или пассажирами 1-го класса, или пациентами кисловодского курорта. Но ещё несколько ломких переступов, нематериальных слов, даже тона, не уловимого для записи, — и вместо тугих воротничков рубашки или кителя — вдруг щекотание мыльной петли на шее. Стены уютного кабинета расплываются в казематные петропавловские.

А слова — кажется, всё те же, ну несколько невесомых переступов:

— И если ничьи уговоры уже не действуют на высшую власть. И если личные свойства характеров... тех людей... на ком больше всего скопилось вины перед Россией... м-м-м... не дают надежды включить их в здоровую политическую комбинацию... ?

Косился на Свечина. Загадочно-супротивное так-таки таилось в нём. А как бы Свечин пригодился, в Ставке! Да что уж играть намёками? Негромко, бесповоротно:

— Государя, неразлучного со своей ведьмой, надо заставить покинуть престол. Дворцовый переворот — единственное спасение России.

Сказано. В карих глазах — бесстрашие.

И — на Свечина.

И Воротынцев, навстречу выдвинутый.

И — тоже неясен. И вслед за Гучковым — на Свечина тоже: как?..

Молчание тех великих минут, когда уже крутятся неслышно зачинательные оси истории, ещё не передав своего вращения на большие главные валы.

Но толстокожий Свечин как не чувствовал ни этой высоты, ни значенья минут. Рот большой искривил на поллица в улыбке-не улыбке, а как тот хохол на базаре у воза с горшками, кому цену предложили лядащую:

— Да з глузду вы зйихалы, панове... Во время войны — государственный переворот? Да всё ж поползёт, развалится.

А Воротынцев — не принял этого тона. Воротынцев раздумчиво:

— В тебе всегда служба и служба. Так и заслужишься в тупик, смотри... А тут... тут...

Что?

Нет, никак не понимая, зачем над ним шутят, сколько ж ему за горшок дают, Свечин на Воротынцева голову поставил бодливо, мясистые губы вывернул:

— Александр Иваныч хочет спасти от революции, а сам накликает

хуже. Если государственное управление сгнило, как Александр Иваныч с друзьями уже десять лет заклинает...

— Пять, — исправил чётко Гучков.

— ...так мы бы третий год не воевали в такой войне, уже бы развалились.

Пять лет! Отдуманно отсек Гучков, понимай: от убийства Столыпина? Да, от того дня и стало ясно, что этого монарха исправить невозможно и помогать ему — тоже впустую. И сегодня, когда Курлов, злодей, — потайный министр внутренних дел, позади Протопопова, и скользкий Спиридович, и все причастные, покрывшие, — вьются наверху... Всё вернулось.

Вибрирующая минута. Покачиваются весы — и как же понять их правильно? Мягкое изменение власти для спасения России от сотрясения — а если другое сотрясение? Спасать Россию — ценой того, чтобы свергать царя?!? Прямо-таки — свергать?..

Всё качалось, и только несомненное Воротынцев сказал Свечину:

— Ты в Ставке — цифры считаешь, ты людей обречённых не видишь, не чувствуешь.

— При чём тут? — челюсти стянул Свечин.

— При том! — задрожало в Воротынцеве заряженное, затолоченное двадцатью шестью месяцами, и он сам себя этим подкреплял. — Что правительство, которое может слать подданных на погибель ни во имя чего, просто рукавом небрежным невежды как посуду чайную целые дивизии смахивать — и в черепки!.. Что подданные действительно становятся... свободны от обязательств.

Но остужаясь. Несчастное свойство речи перед мыслью: всегда скажешь грубей, не точно.

И Сумасшедший Мулла — продрогнул, продрогнул, тоже от чего-то удержался. Крупные губы жгутами вия:

— Так ты... где же ты монархист?

Воротынцев протёр напряжённый лоб.

— Не путайте монархизм и легитимизм, — поспешил на помощь Гучков. — Против монархии ни один разумный человек и не возражает.

(Хотя чёрт его знает, этого Гучкова, он, может, и республиканец?)

— Надо исходить из положения России, а не отвлечённого принципа монархии. Когда монархию саму можно спасти, только отстранив монарха, — так вот я именно в этом и монархист. Нельзя быть монархистом более верным, чем участвуя в таком перевороте. Строй монархический не только останется, но укрепится. Это будет именно монархический переворот.

Более не отзывался Свечин. Ровно, жёстко смотрел. Между двумя.

— А вот кстати, — вспомнил ему Гучков. — Как раз к вашим убеждениям, если они настойчивы. Вот ещё почему надо поторопиться с дворцовым переворотом вместо революции: чтобы всё совершить исключительно русскими руками. Обойтись не только без плебса, но и без еврейства. Тогда и развитие страны будет русское.

Аргумент?

Свечин — не углубился выражением. Сидел, обдымливался опять. В конце концов и отдыхал же — после обеда, выпивки, перед дорогой.

Может быть, и весь разговор не следовало при нём начинать?.. Но то было заманчиво, что он в Ставке.

Зато Воротынцев глядел неприкровенно, отважно, ожидая: что же дальше? Не ошибся глаз Гучкова, не подвела память, какой это был всегда офицер. Присягу обнимал — не как гарнизонный ротный. Таких пять полковников да пятнадцать капитанов и нужно было.

Тут разные планы обдумывались. Кроме редких наездов на фронты, которые трудно подловить и использовать, царь бывает теперь только в Царском Селе и в Ставке. В Царском — крупное сопротивление и, значит, кровопролитие. В Ставке — невозможно без участия или хотя бы попустительства высшего командования.

Но теперь все эти слои разговора уже не следовало приподымать? Хотя... Всё мирней выглядел отдыхающий сытый Свечин. Пил нарзан. Поворачивал невозмутимый хохол с базара со всеми своими горшками.

А для Воротынцева — надо было говорить дальше.

— Итак, надо не будоражить большого количества солдат. Как можно меньше их. В этом отношении дело должно вестись у́же, чем у декабристов.

А ступая вослед т е м, как же совсем не ощутить лёгкого этого верёвочного щекотанья на шее? На шее, какую уже наметила, излюбила, назвала императрица.

На языке заговорщиков — лёгкий дворцовый переворот, на языке власти — тяжёлая государственная измена.

Сходное заметив или только ожидая заметить на собеседнике, Гучков улыбнулся с опытным старым знанием:

— Риск есть в каждой борьбе. Но его обычно преувеличивают.

Сам же он без риска — слабел и рыхлел.

— Открытое обращение к солдатам, разъяснение им всех целей — это уже может тянуть за собой массовую революцию. Но — немногих, но какую-то одну-две воинские части в последний момент повести за собой, может быть, вывести на площадь для демонстрации, — вот в этом надо быть уверенным.

И как раз в этом отношении тип Воротынцева подходил Гучкову: это из тех был офицеров, кто в нужную минуту коротко и сильно увлечёт солдат, *сказавши*, а то и без речи.

Ему-то Гучков и должен был бы сейчас открыть почти весь замысел: какую именно воинскую часть ему пришлось бы вести, для этого в какое место надо б уже сейчас переводиться по службе. Это — третья возможность, не Ставка и не Царское, а в промежутке. Государь, тяготясь скучною Ставкой и постоянно стремясь в покойный семейный круг, часто снуёт между Ставкой и Царским, всегда одной и тою же дорогой, да ещё примедляя поезд ночами, чтобы стук не мешал ему спать. Вот и было лучшее решение: взять императора почти беззащитного — в дороге, ночью, взять при помощи расположенных рядом железнодорожных или запасных малых частей. Части эти уже изучал Гучков, уже подбирал там надёжных офицеров. (Но пока малоудачно.)

Однако при Свечине теперь — как же?..

Свечин сидел как отсутствовал. Отсутствовал настолько, чтоб его не понять. И присутствовал настолько, чтобы мешать.

И тогда — об общем:

— Что́ мы совершенно отклоняем — это вариант «11 марта». — И на поднятые брови: — Ну, когда Павла удушили. Убийство монарха — ни в коем случае. Новая власть не должна стать на крови.

Ну ещё бы! А верней, Воротынцев ещё и подумать не успел отяжелительно. Переворот? ещё нужно взвесить, а убийство — и думаться не может.

— Да если наследует сын или брат — он и не переступит через кровь. Так что добиться надо — внезапно, быстро, малой группой — только отречения. В пользу брата или сына. Манифест заготовляется заранее, лишь подписать. Английский король ради военных успехов охотно примет двоюродного брата в гости...

Вот — и споткнулся, и похолодел Воротынцев: ради военных успехов?.. Он сказал — «ради военных успехов»? Класть и дальше мужиков? И это — чисто-русский переворот? Так это — англо-французский переворот?

Ну конечно, и раньше понимал Воротынцев, что Гучков — за войну, за войну, — но и России же предан как! И для спасенья её — неужели не переубедится?..

Но вымолвить ему тут, сейчас — о замирении, о перемирии, о выходе из войны — было никак невозможно! Не по мундиру...

А карие глаза Гучкова так оживились за блесками пенсне, не заметил:

— Как можно меньше жертв в охране, в перестрелке. Да произойди завтра такой переворот — и тут же его с восторгом будет приветствовать вся Россия. Вся армия! Всё офицерство!

Укоризненно на Свечина: ведь ты же завтра, башибузук, так же будешь восторгаться. А участвовать — увольте?

Свечин мрачно:

— Насчёт восторга — смотрите, не просвистите. А если — не отречётся?

— Не представляю. По его характеру — очень легко. Сразу сдаст.

— А если всё-таки не уступит?

Гучков вздохнул. Покачал шнурком пенсне. Да, здесь было некое слабое место, указывали ему уже.

— Нет. Крови ни в коем случае не проливать.

Повёл Свечин могучими бровями:

— Тогда останется вам самоповеситься.

— Сразу уступит! — твёрдо смотрел через пенсне, твёрдо выговаривал Гучков. — Да что вы, господа! Да надо же психологически его представлять. Он министра увольняет и то боится ему объявить в лицо: поблагодарит, обласкает, завтра увидимся, а вослед записку: увольняю. Да смотрите по всему его царствованию!.. Да — как он бабы боится! Если от неё в отлучке — подпишет, что б ему ни дали.

Смотрел на Воротынцева, ища одобрения. Что ему в полковнике нравилось — явная свобода отношения к *этому* царствующему, без дрожи почтения. Так и видел он этого полковника, быстро идущего вагонным коридором расставлять посты в тамбурах.

Но взгляд Воротынцева почему-то уклонился.

Хорошо бы Свечин догадался уйти. Нет, сидел. Покуривал, попивал. (Принесли кофе с ликёрами.)

Мало что оставалось, допустимое вслух. Что к наследнику зато не будет общественного презрения, как сейчас. Регентом — Михаил? Или регентский совет? А — кто в нём? Щепетильно оттенял Гучков, что себе не ищет власти:

— Боюсь, что такого единственного, провиденциального человека в России нет сейчас. Регентский совет, коллектив. Вернуть хороших министров — Кривошеина, Самарина, Щербатова...

Не сто ходов рассчитывать вперёд. Прежде — само дело.

Действие! — было всегда ножом, отделяющим близких Гучкову от неблизких, от болтунов. Дело же — было ещё неясно и в собственной его голове. Он и на Кавказский фронт ехал сейчас не без мысли потолковать там с Николаем Николаевичем: нащупать, к а к он, если... Раньше для связи с военными Гучков использовал свою работу в Красном Кресте. Теперь, не имея доступа на главные фронты, он мог ловить офицеров только в отпусках, в командировках. Уже не в одной компании он говорил вот так, как сегодня, и все — скорее сочувствуют, а участвовать — молодые офицеры ещё идут, более высокие уклоняются — из лояльности? из страха? Пока никого старше ротмистра у него не было. Кто у него, считалось, твёрдо в заговоре состоял — кадет-политикан Некрасов да избалованный миллионер Терещенко, ни на какое военное дело сами не способные. Неужели же нет в России людей?

Но сегодня, кажется, он не зря время потерял — нашёл?

А пока — вслух что-то же надо говорить. Да, кстати:

— Очень жалею, прошлой зимой приезжал генерал Крымов в Петербург, но как раз в разгар моей болезни. Виделся он тут... не со мной. Пока он воевал на Северном фронте — я на юге лечился. Вернулся я на север — его отправили на юг. Вы там его не встречали, Георгий Михалыч?

— Видел. Мельком, правда.

— Он там близко от вас?

— Вы эту историю с ним не знаете?

Не знал Гучков. Воротынцев стал рассказывать, с облегчением:

— Был Крымов начальником штаба 3-го кавалерийского корпуса, создавал его. Потом стал командовать в нём Уссурийской конной дивизией. Тут корпусной был ранен, и назначили Рерберга. С Рербергом сразу у них не пошло, да ведь с Крымовым и не всякий, вы знаете... Крымов чинопочитания не признаёт, он и командующего армией может послать... В июле Рерберг загнал его уссурийцев на Карпаты, там дожди, дорог никаких, подвоза нет, и операции никакой нет, и отходить не разрешают. И тогда Крымов самовольно отвёл дивизию на 25 вёрст назад и рапортом доложил: ввиду неспособности выполнять задание, прошу от начальствования дивизией меня отрешить. И заварилось!.. Всё-таки не сняли...

— Кремень! — посмеивался, восхищался Гучков.

Крымов?.. Сейчас, когда Воротынцев весело и сочувственно рассказал историю этого насупленного своенравца и вспомнились ему сутки под Уздау... Крымов? Полон неожиданностей. И может быть... Как угадать? Мы и сами своих не видим?

Впрочем, последний раз, осенью, Крымов показался Воротынцеву не тот, что в дерзкой карпатской истории, не тот, что с Артамоновым тогда, и не тот, чьей волей и умом отстоялся 4-й Сибирский корпус на ляоянских позициях, когда другие не выстаивали. Впечатление: не убит, но — истратился Крымов. Был кремень, а посочилась влага из него. У всего живого есть рубеж. Есть барьер неудач, выше которого уже ног не тягают. Этой осенью и сам Воротынцев уже подходил к такому пределу. Отсроченному, излеченному вот этой поездкой.

Подвижная кисть Воротынцева улеглась на скатерти — и на её обветренную негладкость Гучков с симпатией наложил мягкую ладонь:

— Вот что, Георгий Михалыч. Действительно, надо подумать, *не перевестись ли вам? Поближе, сюда...* Надо обсудить.

Не хотел понять Свечин — не уходил. Ну что ж...

— Я на Фурштадтской живу, на углу Воскресенского. Вы не пожалуете ко мне? Тут ещё будут... кое-кто... Послезавтра. Я хотел бы вас познакомить.

Да ведь он этого — и искал от Гучкова? Он для этого и ехал?

Но светлый ожидающий взгляд Воротынцева словно перебило, стал не тот. Упорность его ослабла. Как будто очнулся, или удивился. И из своей яркой напряжённости как-то ссовываясь:

— Два дня?.. К сожалению, Александр Иваныч, никак не могу. Я и так просрочил...

А рука лежала под рукой Гучкова.

— Ну, это пустяки, — соображал тот. — Состряпаем вам отсрочку. Кто у вас командир корпуса? Всего два дня, а потом поедете. В такую даль не хочется вас сразу отпускать.

Нет, не стало прежнего Воротынцева, уже воображённого Гучковым, как он взносит лёгкую ногу на подножку царского вагона. А на лице, закалелом от ветров и морозов, на бритых щеках, открытых висках и лбу проступал беззащитно багрянец — бурый, до цвета коричневого кителя.

Рукою под рукой задёргавшись неловко, отняв, с поиском, будто лгать собирался или обходил ложь:

— Я... непременно должен сегодня ночью уехать в Москву... И как раз завтра-послезавтра пробыть там... У меня уже и билет...

Он это выбормотал трудно, в густой краске, стыдясь, извиняясь.

— Ну что такое, батенька, билет? Сдадите. Телеграфируйте, что на два дня позже, — добродушно не понимал Гучков, как это серьёзно.

К а к серьёзно.

— А если дня через четыре я снова приеду? — темнился лбом, искал Воротынцев.

— Через три-четыре дня тех людей не будет. И я уеду.

Отрезано. И врать не выдумаешь. И правду сказать — провалиться сквозь землю: день рождения разгневанной жены! — шлагбаум! канат под горло! — никак не отодвинуть.

И не соврать уже.

— Вы знаете...

Стыдней, чем пройтись бы голому перед ними двумя!.. Исказились губы, глаза опустил, потух.

— ...День рождения жены... А у нас...

Что — у нас?! Разве этот весь обряд передать? Китайский колокольчик? И всю обиду? Да ещё бы всё можно, если б эту неделю подробные нежные письма писал, а теперь бы, мол, заболел...

— ...Твёрдо обещал... А теперь в обрез...

Пока женщина была одна — не мешала она, можно было и устроиться. Это оттого, что стало их две — и сразу заклинились, и — вот, не осталось места.

Но что он связан по ногам — он не знал до этой самой минуты.

Какой позор! Непереживаемый, небывалый. Хоть бы краску отобрать со щёк, ведь не уходила, выдавала.

Поднял глаза...

Свечин — с насмешкой, но весёлой, явно дружественной:

— Э-э-э! — вскричал, вытаскивая часы, — да ведь я на поезд опаздываю. Господа, простите! Александр Иваныч, покорнейше благодарю! — Трубку совал в карман, шашка в гардеробе, так радостно собирался, будто этих минут только и ждал, что ж раньше на часы не посмотрел? — Егор? Тебе не время? Не идёшь?

Обнял его, поцеловал. Гучкову крепко-крепко потряс. Выскочил.

Меньше позора, но горечи больше: вдвоём, наконец, с Гучковым — задуманным, исканным, найденным и упускаемым вот. Небывалое чувство, за сорок лет не помнил: взялся прыгнуть — не прыгнул, шёл вперёд — завернул.

И завернул больше, чем мог назвать. Или чем сам успел понять.

Но почему в таком замысле два ближайших несчастных дня могут иметь всё значение?

Ясноокий полковник воззрился на печального больного вождя:

— Александр Иваныч! Но я — через любое короткое время! В любое место!

Он бросал своё место в строю русской обороны? Он только завтра должен был поспеть ко дню рожденья жены...

Гучков рассматривал отдаля своё снятое пенсне, держал его пальцами обеих рук.

Нашёл человека... Проговорили два часа. Боевой полковник, полный энергии и *умеющий* всё это, и не солдафон, а в порыве к общерусским проблемам, и кажется единомышленник, и уже рука на эфесе, вскочить — и мчаться...

И — именины жены?..

За все те месяцы, что Гучков толковал о заговоре, с кем ясней, с кем мутней (и сам-то ещё представляя мутно, и сам-то ещё до конца не уверенный, что уже действительно решился, что вот — начинает, вот — сделает), — из первых офицеров, в ком увидел решимость, отличную больше, может быть, чем в самом себе, едва ли не первый раз ощутил замысел уже при корнях волос, —

и из-за бабьего каприза?..

Отчего, отчего нет в России людей?

— Александр Иваныч! Но я — на Юго-Западном, хотите, Крымова сейчас найду?

Ну, разве что Крымова. Поручение, которого другому не дашь.

— В каком объёме я должен ему сказать? Где и как вам увидеться?

Теперь-то, без Свечина, можно было открыто. Теперь-то можно было и добавить, и назвать... Но — хрустнуло в Гучкове тоже. Не прос-

то — устал, не просто подходило время для отложенных гостей, другого серьёзного разговора. А на шестом десятке трудно сразу схватываться, сразу отходить.

Всё же — ещё поговорили. Насколько возможно в принципе? Среди кого искать? О чём-то условились. Куда, каким языком написать. Разошлись, кажется, и не на пустом.

Как и с другими, впрочем...

После ухода Воротынцева ещё оставалось время до гостей. Гучков снял сюртук, лёг на диван. Закрыл лицо.

Опять споткнулся — и утёк короткий прилив бодрости. Так просто казалось — застичь на маленькой станции царский поезд, положить перед слабым венценосцем готовый манифест — и судьба России, и судьба всего мира потекут иначе... Но где взять этих пятерых полковников, способных оторваться ото всего тёплого и живого?

И — не презрение испытал Гучков к Воротынцеву, с чем тот ушёл. На презренье мы лихи в юности, сами ещё ничего не переживши. А растёт жизненный опыт, и презренье — уже не чувство мудрого. Долго был и Гучков твёрд поступью, свободен в выборе, неуязвим, неотклоним, и проходная женская череда, напитывая воинственную душу, не ослабляла, не отравляла его.

А — оступился. А при всём ясном разуме — дурно женился, ведомый чужою подсказанной мыслью. Имел глаза, имел опыт, понимал женщин — а женился опрометчиво и бездарно. Теперь по себе самому он знал, как может женщина измотать, издёргать, задушить самого сильного мужчину. Не приготовительные свои годы, но высшие и боевые, с сорока до пятидесяти пяти, Гучков прожил с женщиной чужой души, не способной ни оценить этих лет, ни помочь в них, а только вытрачивал и вытрачивал на неё дорогие силы. От постоянного семейного разорения — тем отчаянней он занимался и общественной борьбой, даже с лишнею резкостью, лишь бы вырваться куда-нибудь.

Как бывает сокрыто от истории, неправдоподобно для историков, крупные общественные шаги иногда зависят от мелких личных обстоятельств: вдобавок к обиде на царя не будь очередного разрыва с Машей (каждый раз кажется — окончательного, и никогдв не окончательного), Гучков ещё может быть не вскипел бы, не хлопнул бы думской дверью, не рванулся в Манчжурию, на чужую эпидемию. А так не оказался близ Столыпина в его последние загнанные месяцы, не протянул руки, когда, Бог ведает, и помогла бы она. Но тогда жгло, беременило, душило — урваться куда-нибудь подальше.

А в другие поры — веригами отягощала злополучная женитьба, не давая сил вовсе двигаться. Но самое страшное — когда умирал в январе, а жена, оттолкнувши всех сиделок, наконец-то несомненная перед лицом всей общественной России, в смерче почти радостной суеты владела отходящим.

Так что Гучков не осудил сегодня Воротынцева слишком строго. Чтобы мелкие семейные обстоятельства презреть — ещё надо знать глубину той скользкой ямы, по краям которой не всегда и выбраться.

Смерть — вот и пришла месяц назад, только не к отцу и не к матери, но к их мальчику старшему Лёве, чёрной крышкою и накрыв эти годы болезненного их напряжения. (И если б знал, что из трёх детей суждено ему, — как бы берёг! как бы ласкал раньше!)

Смерть сына — это и есть смерть отца, только заживо. Смерть сына — это *оттуда* положенная тебе на плечо рука напоминания.

Ощущение потери баланса: как будто прежде слишком брал вперёд, закачивался — и вот теперь назад откидывает.

Опасная шаткость. Она у Столыпина появилась в последний год перед гибелью.

Больно ударило сегодня в упрёках Свечина, что сам Гучков и раскачивает постройку, сам и поджигает. А где ж найти баланс? Отдаёшься публичности — раскачивает. Согласен молчать — всё глохнет.

Ощущенье, что твой зенит — позади. Ощущение смены эпох, как когда-то и он отодвинул Шипова. У России — дальний размах, у нашей отдельной жизни — короткий. Отдежурил своё — и под лавку. Шипову было тогда пятьдесят пять. И Гучкову сейчас — пятьдесят пятый.

Вот и он, главный заговорщик, почему не мог подождать Воротынцева три-четыре дня? Потому что до Кавказского фронта ему ещё надо было в Кисловодске — лечиться. Он и себя-то на этот заговор волок через болезни и слабость.

Уже четыре года он так барахтался — свыше сил. От той пробоины 912-го года, от выворота этой морды — общественной неблагодарности, от измен — он и не оправлялся никогда.

Сколько ещё ожидало таких проб, как сегодня, оставляющих мёртвую усталость? И как же справиться — в месяцы? Ведь не готовится он, а только принципы выясняет, только всё принципы.

Толк о заговоре был — год, а заговора — не было.

~~~~~~

ЭХ, И ЧЕРТ ТЕБЯ ПОНЕС, НЕ ПОДМАЗАВШИ КОЛЕС!

~~~~~~

43

Ульяновы жили точно посередине между кантональной и городской библиотеками, а до Центральштелле социальной литературы было лишь чуть подальше, и куда ни иди — среднего ходу пять-семь минут. Все библиотеки открывались в девять, но сегодня толкнуло уйти из дому минут за сорок: глупо, унизительно убежать от этого лохматого оборванца, племянника Землячки, себя же поберечь — не вскипятиться от его нахальных разговоров и тем не испортить себе целого дня.

Объективно говоря, такие фигуры в революционной эмиграции неизбежны — эти неопрятные юноши с блуждающими глазами, недоразвитые, а с апломбом по каждому вопросу, чтобы только иметь мнение. Они вечно голодны, без гроша, брали бы вот зарабатывать перепиской, в Цюрихе совершенно некого посадить за переписку, сколько тревоги с копией пропавшего «Империализма», — так нет, у них ни грамоты, ни почерка, а стремятся сразу и только в редакторы! Их постоянная мысль — как бы бесплатно где-нибудь поесть. А и это при бюджете Ульяновых тоже недопустимая нагрузка, улупит два яйца да ещё четыре бутерброда. От обедов его твёрдо отстранили, так стал являться по ранним утрам, всегда под ничтожным предлогом, вернуть или взять книгу, газету, а с расчётом к завтраку. (Сейчас, уходя, сказал Наде: ни в коем случае не кормить, скорей отвыкнет!) Да хоть если бы скромно поел и уходил, нет, считает нужным *отблагодарить* — фонтаном надёрганных идеек, выяснять *принципиальные* вопросы, и всё с нападением и многознайством.

От таких визитов, от этой улыбочки знания и превосходства у сопляка Владимир Ильич с утра делался больным. Вообще всякая неожиданная бытовая неурядица, а особенно несвоевременный незваный гость, бесцельная потеря времени — больше всего изводили и выбивали из рабочего состояния. Обидней всего бесцельно тратить нервы и силу доводов не на конференции, не в брошюре, не в споре с важным партийным противником, а просто так, на губошлёпа, который и не думает серьёзно того, что говорит. Эмигранты считают свои пятаки, а битый день проваландаться — для них не потеря. А Ленин — заболевал от одного потерянного часа! И даже встреча, разговор, дело, которые потом осознаются как важные и нужные, — в момент их внезапности, если не были заранее предвидены, вызывают раздражение.

Но есть этика эмиграции, и ты беззащитен против таких посетителей, ты не можешь просто указать им на дверь или не пустить: среди эмигрантов сразу закрутится сплетня и сильно повредит твоей репутации, ты моментально будешь обвинён в заносчивости, в барстве, в патрицианстве, вождизме, диктатуре... Эмиграция — это злое гнездо, которое всё время шевелится и шипит. И вот приходится этих нахалов, каждого, кто только изволил выехать из России (а из Сибири ничего не стоит бежать, и все бегут за границу, а тут их содержи за счёт партии), не только принимать, но ещё и придумывать им дело. И, смотришь, такая скотина через год действительно становится сотрудником журнала, хотя б тот и вышел всего один раз.

Так же вот и Женечка Бош, природная интриганка, — отчего в Россию не едет, ведь собиралась? А здесь ей дела никакого нет, но она выдумывать будет, и чтоб ей выдумывали. Страшное эмигрантское бедствие — выдумывать дело для эмигрантов.

Конечно, начнись революция, — в её широком разливе каждому из этих мальчишек и девчёнок найдется дело, и даже каждый станет незаменим, и будет их не хватать. Но пока революции нет, тесно, скудно, — мальчишки эти невыносимы.

Изматывающее состояние. Уже сколько? Девять лет, как бежали из России от поражения? Шестнадцать от несчастной первой стычки с Плехановым? Двадцать один от неумелого петербургского завала? Это изводящее состояние, когда вытягивает все жилы к действию, когда сдвигал бы горы или континенты, столько накопилось, напряглось, а применения силам нет, нет приложения от концов пальцев и к людям, не подчиняются партии, толпы и континенты, но разнохарактерно и бестолково толкутся и кружатся, не зная куда, — а ты один знаешь! — но зря вся твоя энергия, и замыслы зря, перегорает вся сила на убеждение полудесятка молодых швейцарцев в Кегель-клубе. Да хорошо — хоть их, а когда раньше на собрания являлись два швейцарца, два немца, один поляк, один еврей, один русский и сидели анекдоты рассказывали — швах, пигмейство, бросать эту игру!

Уже спустясь на набережную Лиммат, можно было считать, что племянничек по дороге не встретился, теперь — не застал. И постепенно уходило защитное предупредительное раздражение.

Серые, но разорванные, с беловатыми боками тучи давали дню холодный строгий свет.

Большими цельными стёклами выставлялись на набережную сплошь витрины с наглым показом на сукнах и бархатах всех изделий безделья — ювелирные, парфюмерные, галантерейные, бельевые, — не знала республика лакеев, как вызывней повыставить свою роскошь, не тронутую войной.

С отвращением отходя от этих золотых, атласных и кружевных выворачиваний — он ненавидел и вещи эти, но ещё больше — людей, кто эти вещи любит, — Ленин выждал, пока трамвай пройдёт, перед самым трамваем собака перебежала, уцелела, — перешёл набережную и пошёл вдоль реки.

У Фраумюнстерского моста переждал автомобиль, дрожки, велосипедиста с длинной корзиной за плечами — и прямо же перед ним была городская библиотека, и сейчас бы туда и зайти, да закрыто.

Дальше — обходить, между библиотекой и водой прохода нет: здание её, бывшей церкви Вассеркирхе, за то и названо было так, что выдвинуто в воду. Ещё 400 лет назад решительный Цвингли отобрал её у попов и передал в гражданское пользование.

Вот и сам он стоял впереди реквизированной церкви, на чёрном мраморе в несколько постаментов, со вздёрнутым носом, с книгой и мечом, упёртым между ног. Всегда на него Ленин покашивался с одобрением. Правда, книга та — библия, а всё-таки для XVI века превосходная решимость, сегодняшним социалистам бы подзанять. Отличное сочетание: книга — и меч. Книга, продолженная мечом.

Клаузевиц: война — это политика, где перо сменено, наконец, на меч. Всякая политика ведёт к войне, и только в этом её ценность.

В холодный воздух утра от реки ещё доливалась влажность. Говорят, никогда не замерзает. Как-то соединилось: Россия — зима, эмиграция — всегдашняя беззимность. Переклонился через решётку. Здесь, в расширенном устье, у обоих берегов, наставлено было лодок — мачтовых, безмачтовых, с кабинами или под брезентом, в несколько рядов. Мачты — покачивались.

Кескула жалуется: кто-то из близких к ЦК просто украл деньги, выданные печатать брошюру. Пришлось второй раз давать. Безобразие!

Вода — тёмная, но вполне прозрачная. И видны серые камни дна.

Три стороны войны по Клаузевицу: действия рассудка достаются правительству, свободная духовная деятельность — полководцам, ненависть — народу.

На аккуратных квадратных камешках набережного тротуара — густо кленовые листья (нарочно не сметают). А на каком-то дереве задержались колючие шишечки-плоды.

Всё дорожает безумно, скоро жить будет не на что. И бумага первая как дорожает! А Шляпников совершенно не умеет потребовать, вырвать денег — от Горького, от Бонча. Надо клещами вытаскивать. Пусть платят, и побольше.

Всю жизнь выручала мама, из семейного фонда, — в заграничных поездках, в Петербурге, сколько б ни перетратился, о заработке думать не надо было, в тюрьме мог жить на правильном питании, обойти этапы, не знать пересыльных тюрем, из эмиграции в любую минуту попросить — как чудом всегда умела прислать. Но с этого лета — мамы нет, уже никогда не попросишь.

Стая чёрных уток с белыми головками качалась, качалась — вдруг разом взлетела, расплескивая, — перелетела над самой водой — опустилась. И — опять собралась. И поплыли смирно назад.

Но хотя как будто Клаузевиц и разъяснил самые общие законы всех войн, а вот нельзя понять закона войны, которая идёт. И закона войны, которую надо начать.

Как бы хоть шведам займа не отдавать? Это — Шляпников должен бы Брантингу намекнуть: представитель России, ему удобней.

Профессиональный революционер должен быть освобождён от обязанности думать, на что жить. Партийная касса должна намного вперёд гарантировать партийную «диету» для главных членов ЦК.

С большого моста сыпали бюргерши уткам хлебное крошево. Утки быстро стягивались, и ещё другие: зеленоголовые, с жёлтыми носами. И сизые.

Чтобы печатали в «Летописи» — надо раскалывать блок махистов с окистами. Там, вокруг Горького, интриганы работают против нас.

А две-три утки перепархивают над самой водой, друг за дружкой гоняются, крыльями и лапами воду бурлят.

Ждать от Горького денег — и ещё унизительно просить этого телёнка архибесхарактерного, чтоб извинил за выпады против Каутского, угождать ему и выбрасывать — да самые важные и самые сладкие удары во всей книге!

Что хорошо бы — на лодке погрести, погонять. Ни разу не собрались, а ведь говорили. Теперь уж — до весны. В горах — карабканьем и ходьбой, в Цюрихе — прошагиванием улиц только и разгонял, успокаивал Ленин это потягивание в себе неприменённых жил. Но оставалось в плечевом поясе, и вот его бы — греблей.

Ещё эта пропажа рукописи «Империализма», посланной летом, очень-очень тревожила. Самое загадочное, что в ответственном почтовом ведомстве нельзя найти концов — как кануло! Английская цензура дошла до дикости, французская стала бесстыдна, и не удивляться, если «Империализм» обратил на себя внимание, и автор его — уже не рядовой эмигрант, каких тут тысячи и на кого полиция внимания не обращает. Может, уже и следят. Может, и сейчас посматривают, на набережной. А — чем он тут держится? Да по первому (ну, по второму) жесту русского или французского послов могут ему учинить военный суд или высылку из Швейцарии, за нарушение нейтралитета. Одну только речь в Кегель-клубе послушать, с соседнего стола.

Он тянулся, плёлся вдоль решётки, над самой водой, по теченью, в вытертом котелке, истёртом пальто, как скуднейший цюрихский обыватель, с сумкой клеёнчатой, в какой носят провизию (а у него — тетради, конспекты, вырезки). И, дойдя до большого моста, терпеливо пропускал богатый чей-то фаэтон, и медленные четырёхлошадные грузовые возы, и однолошадную конку в три больших зеркальных окна, с кучером в униформе на передней площадке.

Оттого приходится черняки опасные сжигать, важные документы хранить у респектабельных швейцарцев, опять подписываться каким-нибудь Фреем, а в письмах между Цюрихом-Берном-Женевой порой пользоваться и химией. Это в нейтральной стране! Как у себя под жандармами... А переписанный второй раз «Империализм» заделывать в переплёт книги, чтобы дошёл.

Пересёк большой мост. Вышел к озеру, на широковымощенную набережную, опять с несметенным насыпом кленовых побуревших листьев.

От озера ещё шире несло водяным, свеже-холодным.

Тут плавали лебеди — белые и сизые. Не плавали — скульптурно сидели на воде. А то, на мелководьи, ныряли по одному: клювом в глубине доставали что-то, а лапами барахтались, и белый задок торчал кверху. Потом долго отряхали змеиные шеи.

Слева за спиной, из-за оперного театра, выступало бледное солнце. Но оно было холодное, свет не грел.

А — успокоение от этой воды. От простора. Отступает от груди сжатие. Когда отступает, отпускает — только тут и замечаешь: в каком же сжатии и гонке постоянно живёшь.

Просторное озеро. В разных местах рыбаки стоят на якорях. Во весь тот берег и налево, сколько озеро уходит, — продолговатая, пологая лесистая Ютлиберг. Кое-где на ней — белые пятна: был лёгкий снег наверху и задержался, не стаял.

Просторное озеро, напоминает Женевское.

Свежий плеск Женевского озера — на всю жизнь останется. Там пережито самое тяжёлое крушение жизни: разбился кумир.

С каким ещё молодым восторгом и даже влюблённостью ехал он тогда в Швейцарию на свидание с Плехановым, получить от него корону признания. И, посылая дружбу свою вперёд, в письме из Мюнхена — тому, «Волгину», в первый раз придумал подписаться «Ленин». Всего-то нужно было — не почваниться старику, всего-то нужно было одной великой реке признать другую и вместе с ней обхватить Россию.

Молодые, полные сил, отбывши ссылку, избежав опасностей, вырвавшись из России, — везли им, пожилым заслуженным революционерам, проект «Искры», газеты-организатора, совместно раздувать революцию! Дико вспомнить — ещё верил во всеобщее объединение с экономистами, и защищал даже Каутского от Плеханова — анекдот! Так наивно представлялось, что все марксисты — заодно, и могут дружно действовать. Думали: вот радость им везём: мы, молодые, продолжаем их.

А натолкнулись — на задний расчёт: как удержать власть и командовать. Решительно безразличен оказался Плеханову этот проект «Искры» и раздувание пламени по России — ему только нужно было руководить единолично. И для того он хитрил, и представлял Ленина смешным примиренцем, оппортунистом, а себя — каменным революционером. И преподал урок преимущества в расколе: кто требует раскола — у́ того линия всегда твёрже.

Разве забыть когда-нибудь эту ночь в деревушке Везенац — сошли с женевского парохода с Потресовым как высеченные мальчишки, обожжённые, униженные, — и в темноте расхаживали из конца в конец деревни, озлобленно выкрикивали, кипели, стыдились самих себя, — а по ночному небу над озером и над горами ходили молнии кругом, не разражаясь в дождь. До того было обидно, что минутами хоть расплакаться. И чертовский холод опускался на сердце.

С той горькой ночи Владимир Ульянов переродился. Только с той ночи и стал как он есть, стал истинным собой.

Строго наученный в тот раз, на всю жизнь усвоил Ленин: никому никогда не верить, ни к кому никогда ни мазка сентиментальности.

Кто-то рядом стал чайкам бросать — и они взлетали с воды, жадно, нетерпеливо кидались, делали круги, хватали налету, крякали, дрались — и уже лезли сюда, на парапет, чуть не в лицо, и к соседям тоже.

Отмахнулся от одной. Пошёл дальше.

Как прицепчива память к случайным совпадениям, к сентиментальным воспоминаниям. То самое Женевское озеро разделяло их, только оно, ещё незнакомых, когда он, входя в силу, принимал делегатов II-го съезда, и каждого старался изучить, прощупать, захватить себе в поддержку, а она — рожала пятого ребёнка, уже от *младшего* мужа, — и впервые читала незнакомого Ильина «Развитие капитализма», ещё ничего не предполагая.

И — пять лет ещё прошло, они всё не познакомились, хотя она в Женеве бывала не раз. И в той же Женеве на незабываемой «Даме с камелиями» пронзила его тоска — первое сомнение о своей жизни. А у неё в Давосе как раз в эти дни умирал муж. И всего через несколько месяцев, в Париже, — она пришла.

Здесь изрядно холодный замечался ветер, и от него шла хмуроватая рябь.

Поставил сумку около набережной решётки, поднял воротник, и стоял так, носом в озеро. Совсем уже холодно. Даже по глупому российскому календарю уже 25 октября, по-европейски 7 ноября. А Инесса всё сидела на даче в Зёренберге и мёрзла там, чтобы простудиться. Или сердить его.

Или наказать.

Даже пропускала ожидаемые сроки писем. Лишала вестей о себе. Не ответит раз, опоздает второй. И уж так выбираешь выражения: конечно, если у вас нет охоты отвечать... или есть охота не отвечать... я надоедать вопросами не буду...

Во всех отношениях, со всеми людьми, Ленин всегда добирал свою высоту, занимал достойную. А здесь — не мог, здесь — не было высоты. Он мог только — скрывать за шутками смущение. Просить.

Научиться бы выдерживать встречное молчание. Ждать, пока ответит. Но это — труднее всего: именно, когда не видишься, особенная потребность писать, делиться! Да и дела же требуют.

Просто бы вот сейчас, не дожидаясь её ответа, написать ей несколько необидчивых ласковых строк. (Ласковых — нельзя, крылышка ласки нельзя показать, письма военного времени все подцензурные, пишешь, как перед полицейским, за казённым столом. Нельзя дать оружия против себя.)

Да, он — зависел от её наказаний. Инесса была единственный человек на земле, от кого он — чувствовал, признавал свою зависимость. Наименьшую, когда жгла очередная схватка. Наибольшую — когда они бывали вместе.

Нет — когда не бывали...

Всё, что он в жизни ел, пил, надевал, и всякий кров и обиход, — всё это было совсем не для него, хоть даже и не нужно, а лишь как средство поддерживать себя для дела. И летние месячные отдыхи, и горные прогулки, в Карпатах или от Зёренберга на Ротгорн, альпийский вид глазам или на Цюрихберге плитка шоколада, съеденная на откосе врастяжку, или присланные мамой волжские балыки — не были баловством, просто удовольствием для тела, а — способом привести себя в лучшее мозговое рабочее состояние, здоровье — сила революционера.

И только встречи с Инессой, когда и деловые, — получались будто просто для него, просто для счастливо-бессмысленного, лёгкого, весёлого, мычащего какого-то состояния, хотя б и в сторону отвлекали, и сил лишали, и рассеивали.

Всех мужчин и женщин, которых когда-либо Ленин встречал, он примерял только к делу, только по их отношению к делу, — и соразмерно отвечал им: так, как требовало дело, и до того момента, пока оно требовало. Лишь одна Инесса, хоть и вошла в его жизнь через то же дело, иначе быть не могло, никакая посторонняя не могла б и приблизиться, — но существовала как будто для него одного, просто для него, существо для существа.

Спорили с ней о «свободе любви», — и уж какую ясную непробиваемую логическую сетку выставил он против её неопределённостей — не проскользнёшь? Что там! Как эта тёмная вода из озёрного недра свободно вливается и проливается через рыбачью сеть, так и Инесса со своим пониманием «свободной любви» никак нигде не задерживалась классовым анализом: была остановлена — и проходила свободно, была опровергнута — и непобедима.

Тем и сотрясла она его когда-то, что в мире измеренном, оцененном, закономерном — велела ему переступить и идти за ней, в этом самом мире, а как будто в другом, никогда и не предположенном, и он шёл неуверенным и восхищённым первоклассником, боясь потерять её ведущую руку — и ребячески благодарный ей, до синеватых жилок на тонкой ступне, собачье благодарный ей за то, что она это всё ему открыла — и длила, пока милость её была.

Как раз с того направления, с юго-запада, из Зёренберга, через морщь осеннего озера, в посвистывании даже ноябрьского ветра — разве вот не прилетало к нему помахивание её милости? колебание прищуренных век? узкий просвет зубов?

Зачем наказывала? Зачем не спускалась в Кларан, в тепло? В Зёренберге в прошлом году снег выпал в начале октября. Очень холодно.

Над крышей театра с рассыпанной по ней мифологией, фигурами трубатыми и крылатыми, вдруг проступило солнце в полную силу — такое холодное здесь, и оранжеватое там, на вершине Ютлиберг, куда уже набежало оно, а внизу там, где громоздились здания и зеленовато-серый купол с колокольней, оставалось пасмурно.

Счастливые дни — лонжюмовские, брюссельские, копенгагенские, краковские... Да и в Берне. Счастливые годы. Семь лет.

Пяти минут не умея провести впустую, чтобы не раздражиться, не отяготиться бездельем, — с Инессой он проводил и по многу часов подряд. И не презирал себя за то, не спешил отряхнуться, но вполне отдавался этой слабости. И вот высшая степень: когда всё без исключения доверяешь ей, когда хочется ей всё рассказывать — больше, чем любому мужчине. Живость отклика её и живость совета! — как не хватает их эти полгода. С апреля. С Кинталя...

Что-то сломалось в Кинтале? Он не заметил тогда.

Из Берна уехать было необходимо: там доминировало влияние

Гримма, никогда бы не собрать круга единомышленников. Это был правильный отъезд. Но, уезжая, отчего бы можно было подумать, что больше они не будут встречаться?

В Кинтале это было незаметно. В Кинтале был такой замечательный шестидневный бой!

Единственный человек, которого обидеть непоправимо: можно потерять навсегда. Это соотношение, не пережитое ни с кем, ставит даже в смешные положения. Считаться с её несчастной страстью писать теоретические статьи. В критике их не говорить прямо, как думаешь, а выражаться очень осторожно, иногда и лгать: что ж я могу иметь против помещения твоей статьи? я, конечно, за, — а уж потом подставлять внешнюю причину, которая помешала. Упрёки ей и даже политические поправки сводить по мягкости почти до похвал. Терпеть её самовольство с переводами: она вдруг не переводит ленинский текст, но — исправляет смысл! но — цензурует даже: какая мысль ей не нравится — выбрасывает! Кому ж это можно позволить? А её — только мягко, предупредительно упрекнуть. В предупредительности к ней — заискивать. Написал ей длиннее обычного — сразу оговориться: я, кажется, наболтал с три короба?..

Но даже и заискивание перед ней — не унижение. Ничто не унижение перед ней.

Она во́т как может наказывать, не писать. Не отвечать.

А если упрётся, что чего-нибудь не сделает, — не уговоришь.

Отошёл белый пароход от пристани и нагнал сюда волны. На волнах раскачивались два немёрзнущих белых лебедя, изогнутые шеями застыло, как навсегда.

Холодно. Взял сумку, пошёл дальше вдоль решётки.

Насколько подле Инессы он даже волю свою вывихивал, настолько в отдалении мог достичь почти полной от неё свободы.

В строго точном свете переменного пасмурно-солнечного осеннего утра над холодным озером.

Сколько помнил себя, столько знал он в себе существование защитной пружины. От неудач, от потерянного времени, от проявленной слабости — она сжимается, сжимается, — и вдруг отдаёт, швыряет в деятельность с такою силой, которой ничто уже сопротивляться не может.

Сэкономив на бездельных нежностях, не даёшь застаиваться делу.

В отдалении — к нему возвращалась осмотрительность. Осмотрительность не разрешала ко всем напряжениям его жизни добавить ещё. Соединиться с Инессой навсегда? — не была бы жизнь, а суматоха. Слишком она разнообразна, отдельна, отвлекательна. Да ещё ведь и дети, совсем чужая жизнь. Ещё на этих детей уклонять, удлинять свой путь — он никак бы не мог, права не имел.

Жить с Надей — наилучший вариант, и он его правильно нашёл когда-то. Была Якубова и живей, и лицом милей — но не помогала бы так никогда. Мало сказать единомышленница, Надя и по третьестепенному поводу не думала, не чувствовала никогда иначе, чем он. Она знала, как весь мир теребит, треплет, раздражает нервы Ильича, и сама не только не раздражала, но смягчала, берегла, принимала на себя. На всякий его излом и вспышку она оказывалась той же по излому, но — встречной формы, но — мягко. И как переимчива! Был Радек мерзавцем — она была с ним суха и каменна, на порог не пускала, если являлся под предлогом; стал Радек отличным партийным товарищем, дружным союзником — и как же приветлива и радостна с ним. Она не готовится к этому, не вырабатывает, тогда б и ошибиться можно, — но чувствует за Ильича с постоянной верностью. Жизнь с нею не требует перетраты нервов.

Инесса и не бережлива, что тоже не пустяк, не умеет вести разумного скромного образа жизни, чудачествует нередко. Вдруг возьмёт да

модно оденется. Надя же — в методичности, в бережливости не имеет равных. Она действительно нутром понимает, убеждать её не надо, что каждый лишний свободный франк — это лишняя длительность мысли и работы. А ещё, что так редко для женщины, никогда не пробалтывается, не хвастает, не выносит из дому ни словечка, о чём предупреждено ей не говорить. Да и сама верно знает, где молчать.

И перед всем этим было бы непристойно революционеру стесняться на людях, что жена некрасива, или ума не выдающегося, или старше его на год. Для внешнего успеха требуется наименьшее внутреннее разделение, наименьшее отвлечение в сторону, наибольшая плотность усилий, ведущих к цели. Для существования Ленина как политической личности союз с Крупской вполне достаточен и разумен.

Правда, всё втроём, втроём — в лесу ли бернском, сойдясь из соседних улиц; на горных прогулках у Зёренберга по альпийские розы или грибы (только в дальние спальные хижины иногда с Инессой вдвоём); у пансиона в тени над книжками сидя — он и Надя, а Инесса — у рояля часами; или на тёплом горном откосе на пнях — он и Надя постоянно с книгами, а Инесса — просто изогнувшись, нежась на весеннем солнце, как девчёнка среди старших; наконец, и долгие те часы, когда он рассказывал обеим женщинам о своих идеях, планах, будущих статьях, — сколько раз приходилось вбирать в один взгляд несравнимое и даже удивиться, не поверить неправдоподобности, невозможности: чтобы так держалось годами, — а ведь держалось! Если кому писала Надя длинные подробные дружеские письма — то именно Инессе. Если о ком говорила всем окружающим, всем товарищам с неутомимою похвалой — то об Инессе. И только в письмах володиной матери (уж надина-то видела всё), в письмах свекрови, описывая весь их с Володей быт и все прогулки, — единственно в этих письмах писала так, будто они всегда вдвоём. Очень тактично.

А тут и умерли матери одна за другой: Елизавета Васильевна — после инфлюэнцы прошлой весною в Берне, Мария Александровна — этим летом в Петербурге. В горный пансион их, около Флюмса, почта была — вьючными осликами, и так с опозданием принесли телеграмму о смерти — как раз во вторую годовщину войны, в день Швейцарского Союза — один из бесчисленных суматошных здешних праздников, когда на всех вершинах зажигают костры, пускают ракеты и стреляют. Сидели вечером, смотрели на эти костры, под эти салюты и проводили мать. Да пожалуй и легче так, когда издали.

Если обоим под пятьдесят. И вот умирают матери обе, от чего становитесь вы ещё старей. Дружней. И — революционеры оба. То, пожалуй, и...

Наискось по озеру, как раз оттуда, со стороны Зёренберга, шла моторная лодка — быстро, вскинув нос, распахивая воду, за собой покидая треугольное поле пены и металлическим стуком разбивая тишину.

Что-то в ней было! — неслась и распахивала, оттуда прямо сюда неслась и распахивала, разрезала, и нос выставляла безжалостный — прервала размышления, ход мысли резким стуком — и мысль перескочила — и через весь социальный анализ, через все аргументы — просто-просто-просто, как не виделось до сих пор почему-то:

так ведь если свободную любовь отстаивать теоретически, не дать себя убедить, — отчего ж её не осуществлять?..

Все-все пункты буржуазно-пролетарских отношений он осмотрел, предвидел и перечислил ей, — и только одно вот это упустил: если после Кинталя они не виделись — а так близко! — и она полгода не едет, и его не зовёт, и вот уже почти не пишет —

так она это лето... с к е м - н и б у д ь?..

Почему ж он всё время представлял, никак иначе не думал, что она — одна?..

По эту сторону ещё было солнце блеклое, но с той стороны через

Ютлиберг переваливали, переваливали быстро густые сизые тучи — и пёрли вниз туманом. Быстро заволакивало гору, склон, колокольню и подбиралось к тому берегу Цюриха.

Да как же просто...? И почему он — все стороны охватил, обдумал — только не э т у?..

Да быть не может! Товарищ и друг! Как славно бились в Кинтале с центристами?..

За холодную решётку схватился руками — через решётку, через озеро, через Ютлиберг, через все-все горы, какие по дороге, — завыть: Инесса! Не оставляй! И-несса!..

Написать, сейчас, не стыдясь унижения, что-нибудь — только вызвать ответ. Да ведь и почтамт открыт, прежде библиотечного часа — ах, не догадался! почтамт открыт с восьми, надо было пойти и написать! А теперь уже поздно.

А теперь уже поздно: лупили, лупили в колокола как бешеные, как дурные! — по всему городу будто железо ремонтировали. Долбали колокола Фраумюнстера над почтамтом, долбал двойной Гросс-Мюнстер, выше вывесок на всех этажах Бель-Вю, — да сколько ещё церквей по Цюриху!

Туман и туча с той стороны озера накатились уже и на эту сторону, стало пасмурно.

Закоченевшими пальцами вытащил из жилетного кармана часы — ну да, раз колотят в свои вёдра — значит девять, десятый. И на почтамте не был, и время упустил, и зашёл далеко — теперь и самым гонким ходом он намного опаздывал к открытию кантональной. Плохо начал день. Хотел хорошо, начал плохо.

Ладно уж, письмо потом, надо работать.

Пошёл как покатил — широкий, невысокий, почти не уворачиваясь от встречных. Городская была вот она, рядом, можно и сюда, но журналы и книги к сегодняшней работе отложены в кантональной. Гнал и гнал по мерзкой буржуазной набережной, где выпахивались из дверей гастрономические и кондитерские запахи, щекотать пресыщенных, где изворачивались предложить двадцать первый вид ветчины и сто первый сорт печенья. Мелькали витрины шоколадов, табаков, сервизов, часов, античности... На этой чистенькой набережной так трудно вообразить будущую толпу с топорами и факелами, дробящую эти стёкла вдребезг.

А — надо!

Всё тут слишком устоялось и вжилось — дома, двери, звонки, запоры на дверях.

А — надо!

Колотили в колокола со всех концов города — бешено и мертво.

❧

С почти пролетарской решимостью и здесь размахнулся Цвингли: на Церингер-плац Проповедническую церковь рассек пополам между шпилей, показывая нам пример, и вот в половине её который век — библиотека. Доставляло особенное удовольствие, что обе главные библиотеки Цюриха торжествовали над религией.

Вошёл в тишину. Девять узких окон с угло-овальными верхами подымались на высоту пяти-шести этажей. Ещё выше, в недостижимой высоте, угло-овальные стрелы сводов сходились по несколько в узлы.

Но вся эта высота пропадала почти впустую: только два этажа деревянных хоров прилеплены были по стенам. В простенках же и между книжных шкафов навешаны были многочисленные тёмные портреты — в камзолах и жабо надутые городские советники и бургомистры, ни разглядывать их, ни подписи прочесть никогда не оставалось времени.

Ещё из тяжёлых дверей Ленин увидел, что его любимое место на хорах у центрального окна и ещё другое удобное — оба уже заняты. Опоздал. Нескладно начался день.

Расписался в книге посетителей — а дежурно-улыбчивый библиотекарь в очках, недоумевая, никак не мог найти одной из трёх отложенных стопок.

Одна мелкая досада, наворачиваясь на другую, могут украсть часы работы.

Удача или неудача рабочего дня зависит иногда от мельчайших мелочей, как начнёшь. Вот — опоздал. А у них до перерыва и полудня нет, всего три часа, и их теперь нет.

«Империализм» был уже давно отработан по двадцати тетрадям, и написан, и потерян, и переписан — а ещё стопку на ту же тему Ленин брал. Как будто нужно было что-то ещё. А будто и не нужно. Все выводы книги были Ленину ясны ещё и до двадцати тетрадей. Последнее время так обострилось в нём предвидение — он видел выводы своих книг исключительно рано, ещё не садясь их писать.

Самые сладкие удары во всей книге по Каутскому — и снять их? Мерзкий гнусный святочный дед! Более гадкого подлого лицемера не бывало во всей мировой социал-демократии!

Стопка не находилась — по Персии. Он уже начал делать выписки по Персии. Восточное направление ни у кого не продумано, а его надо готовить.

Ладно, по Каутскому удары не пропадут — в другом месте где-нибудь вставим.

А ещё он готовил, писал подробные важные тезисы для швейцарских левых — методически исправлять, чего не добились на съезде. Но это удобнее было в Центральштелле, а не здесь.

Да нет, она всё время помогает и переводит. Вот спустится в Кларан — может приедет. Почему надо думать плохо? Это неправильная была мысль.

А ещё пришёл он с ощущением недоделанности, недосмотренности статьи против разоружения. Она уже написана (и в сумке тут была), но что-то царапало по памяти. Все главные мысли были на месте: разоружение — требование отчаяния; разоружение — это отречение от всякой мысли о революции; тот не социалист, кто ждёт социализма помимо революции и диктатуры; в будущей гражданской войне у нас будут воевать и женщины и дети с 13 лет. Всё верно, но оставалось чувство, что где-то есть не вполне защищённые фразы. А надо быть архиосторожным, никогда не допустить цитирования против себя — ко всем опасным фразам пристраивать оборонительные придаточные предложения, все фразы должны быть во всех боках защищены, оговорены и противовешены — чтоб никто не мог выбрать уязвимую.

Итак, можно было (и даже он начал) просматривать. Да вот и сразу, написано в пылу: «Мы поддерживаем применение насилия массой». Накинутся! Пристроить: «...массой — против её угнетателей».

Впрочем, это можно и не в библиотеке, время уходит.

Стал смотреть тезисы для левых швейцарцев. Тут ещё много было работы. Нужно детально-детально им всё разжевать: листовки — кому разносить по домам? беднейшим крестьянам и батракам. Какие сельхозучастки подлежат принудительному отчуждению? Скажем, свыше 15 гектар. После какого срока пребывания требовать для иностранца швейцарского подданства? Скажем — через три месяца, и важно, чтобы безо всякой уплаты. Что значит «революционно высокие ставки налогов»? Общие слова, надо составить им конкретную таблицу: на имущество свыше 20 тысяч франков, свыше 50 тысяч, — какой процент? И как облагать гостей пансионов? Тоже написать им конкретную шкалу.

ведь ни у кого никогда не доходят руки до конкретности: если платит 5 франков в день — это наш брат, один процент, а если платит 10 франков — с этого сразу 20 процентов...

А из груди так и поднимается, стоит изжогой последняя подлость Гримма и Грейлиха. Ах, поганые оппортунисты, подлейшие мерзавцы, ну подождите, мы вас пристегнём к позорному столбу!

Что-то всё раздражения лезли, сбивали. Так бывает: им дашь разойтись — и невозможно сосредоточиться, невозможно работать по системе, даже на стуле усидеть.

А ещё не улёгся, сколько сил отобрал и до сих пор мешает работать этот исступлённый недоспоренный спор с «японцами». Уже было написано несколько статей и две дюжины писем, и конфликт как будто преодолён — а вот не подавлен до конца!

Никогда не удаётся все усилия собрать только в одном главном направлении, всегда открываются противники на побочных, сейчас как будто бы совсем не важных, но неважных не бывает, наступит момент, когда и эти побочные направления станут главными, — и приходится теперь же оборачиваться и с полной энергией огрызаться на эти побочные укусы. Не «японцы» одни (Пятаков со своей Бошихой, с тех пор как бежали из Сибири через Японию), с ними и Бухарин. Не имея ни капли мозгов, доводили себя вместе с Радеком до групповой глупости, до верха глупизма — то на «империалистическом экономизме», то на самоопределении наций, то на демократии. Все эти молодые поросята, новое партийное поколение, очень самодовольны, самоуверенны и готовы брать руководство хоть сегодня, а срываются и срываются на любом повороте любого вопроса, ни у кого нет готовной гибкости — на этих поворотах мгновенно, предусмотрительно тормозить, иногда брать где влево, а где вправо, заранее предвидя, куда угрожает ссунуть извилистая дорога революции.

Да! Вообще всегда говорили марксисты, что нациям предстоит отмереть и не надо никаких «самоопределений». Но! — сейчас мы вошли в сложную обстановку. И! надо пока допустить «самоопределение», чтоб иметь союзников. А поросята — не успевают повернуться.

Так и с демократией. Бухарин открыто пишет: в период взятия власти придётся отказаться от демократии. А — нельзя так писать ни в коем случае! Да, конечно придётся, — но надо считать и говорить, что социалистическая революция невозможна без борьбы за демократию, и поросятам это надо зарубить на розовом носу. Но, конечно, не терять из виду: в конкретной обстановке, в известном смысле, для известного периода. А наступит и такой период, что *всякие* демократические цели способны только *затормозить* социалистическую революцию. (Это — подчеркнуть двумя чертами!) Например, если движение уже разгорелось, революция уже началась, надо б р а т ь б а н к и — а нас позовут: подожди, сначала узаконь республику!?..

Разъяснял им Ленин по многу страниц — нет, воротили носы прочь! А пришлось так долго возиться с такими склочниками и интриганами потому, что у «японцев» были деньги на журнал, без них не начали бы «Коммуниста». Но и союз с ними имел смысл лишь пока у Ленина было большинство в редакции, а дать равенство глупцам? — никогда! к дьяволу! идиотизм и порча всей работы! лучше ошельмовать дурачков перед всем светом. Не хотели мирного исхода — набьём вам морду!

С Бухариным не довёл до публичности, объяснился в письмах. А перед его отъездом такая злость взяла — не ответил ему. Теперь в Америку поехал — небось, обиделся.

В глубине признаться — он очень умён. Но раздражает постоянным сопротивлением.

Всякая оппозиция всегда раздражает, особенно — в теоретических вопросах, от которых — претензия на руководство.

Но уж Радека, Радека, говённую душу, было очень полезно высечь

для общей наглядности. Верх подлости Радека в том, что он исподтишка натравливал поросят, а сам прятался за циммервальдскую левую. (Да и в Кинтале пытался поссорить Ленина со всеми левыми, а с Розой и поссорил.) Радек держится в политике как наглый нахальный тышкинский торгаш, исконная политика швали и сволочи! За то, как он выпер Ленина и Зиновьева из редакции «Vorbote», — вообще бьют по морде или отворачиваются. Кто прощает такие вещи в политике — того считают дурачком или негодяем.

В данном случае правильно было — отвернуться. Тем более, что разногласия с Радеком — не всеобщие, а только в русско-польских делах. А по делам швейцарским Радеку выхода нет, как идти против Гримма, он вынужден примкнуть союзником, да каким!

Но в этой истории сподличал и Зиновьев, предлагал уступить «японцам». Так шатаются все, нельзя на самых близких положиться.

Чтобы покончить эти все бухаринские выверты — необходимо было перенести спор также и в саму Россию и добить «японцев» на русской почве. Об этом велено Шляпникову. Но Шляпников и сам путаник, особенно его Коллонтайша. (Кстати, не забыть: хорошо бы подсунуть её на скандинавскую конференцию нейтралов, ну, хотя бы переводчицей при делегате, — и так вынюхать планы нейтралов!)

Да сколько их, псевдосоциалистических путаников во всех странах, и воюющих, и нейтральных, и у нас. А разве лучше Троцкий с его благоглупостями — «ни победителей, ни побеждённых»? Вздор какой. Нет, это сбор дешёвой популярности, а ты попробуй, чтоб царизм был всё-таки побеждён, не дай ему вырваться из этой свалки! Нельзя быть «против всякой войны», социалист перестаёт быть социалистом.

Где сейчас Шляпников — неизвестно: ещё ли в Стокгольме? или уже в Россию поехал? До Швеции письма проходят с оказиями, через Кескулу и его людей, — а дальше Швеции? Там вообще темнота, регулярности никакой. У Шляпникова на всё вечные задержки, в Россию ездит редко, каждый раз подолгу, очень неповоротливый. А скажешь ему — обижается. А если б не ездил — так и никого нет. Так что для придания важности пришлось кооптировать его в ЦК.

Тут подошёл к столу Ленина библиотекарь и, шёпотом извиняясь и прикланиваясь в извинение, положил ему стопку о Персии.

Спасибо! Каких-нибудь полчаса до перерыва, так теперь Персия! А что ж, взяться и за неё?

Конечно, до ЦК Шляпников никак не дорос, по развитию не Малиновский. Но место его — занял, от звания «член ЦК», «председатель Русского Бюро» голова кружится, вошёл во вкус. То лезет в международные переговоры с социалистами, оттирая Литвинова. То с дурацкими советами чуть не в каждом письме: почему не переезжаете в Швецию? Самоуверен надоедно, а отрезать нельзя, реальное действующее лицо, приходится отвечать ему, и даже по форме с почтением.

Что-то плохо врабатывался. Слишком кипел мозг, не мог сосредоточиться, не уходил в медлительную феодальную персидскую экономику.

Ах, Малиновский, Малиновский! Несостоявшийся русский Бебель. Как работал! Как обращался с массами! Что это был за тип, за лицо! — самозарождённый рабочий вожак, собранный символ российского пролетариата. Именно такого рабочего вождя и не хватало Ленину в партии — под правую руку, в дополнение, чтоб идеи приводить в массовое действие. За то и любил его Ленин, что так он влился на предназначенное место, и всегда с такой готовностью, никогда не оспаривая, — но как ярко и сильно выполнял! По буржуазным понятиям было у него так называемое уголовное прошлое — несколько краж, но это только оттеняло его пролетарскую непримиримость к собственности, да и яркость натуры. И хотя чересчур подозрительные товарищи стали клепать на него — Ленин только утверждался в доверии: представить его провокатором? — невозможно! Какие зажигательные речи произносил

в Думе, как маневренно раскололся с меньшевиками во фракции. Не только самого его с радостью включил Ленин в ЦК, но довольно было Малиновскому кого-нибудь посоветовать, там Сталина, — включал и того. Когда жили в Поронине, не было из России приятнее гостя, чем Малиновский. Кроме последней страшной майской ночи, когда вдруг появился он после своего самовольного внезапного ухода из Думы, — но ведь появился же, не сбежал! И целую ночь это объяснение шло. Сотрясающее открытие. Но: *доказать* против Малиновского всё равно никто ничего не может. Кто может поверить этой глупой версии, что охранка сама сочла «неудобным» иметь осведомителя в лучших думских ораторах — и велела ему уйти? Вздор какой, что ж охранка — глупая, сама против себя?.. Собрали с Кубой и Зиновьевым как бы партийный суд — и оправдали Романа Малиновского: он — политически честен. А Дан и Мартов — грязные клеветники, пусть обвиняют за подписями.

О, ему ещё можно придать большую будущность. При поронинском захвате был интернирован австрийцами — но сговорились, освободили его, для политической работы с русскими военнопленными. Среди военнопленных он продуктивно используется. И он себя ещё оправдает.

А помощника такого у Ленина уже не будет... Шляпников? не-ет.

А тут — перерыв наседал. И когда они проголадываться успевают, швейцарцы, в 12 часов уже подавай им обедать?

Впрочем, замечал Ленин, что сегодняшний библиотекарь не всегда ходит обедать. Подошёл к нему, спросил. Не пойдёт. А нельзя в перерыв остаться? Можно.

Вот это удача. Не столько того обеда, сколько рассеяния. На пустой желудок лучше работается. И лишний час.

Теперь можно было заниматься, не торопясь. А даже вот что лучше — сейчас уже запастись газетами. Экономя деньги, Ленин ни одной не покупал и не подписывался, да их тридцать-сорок надо читать, все «Arbeiter-» и все «-Stimme».

Набрал, какие есть, принёс на стол.

Чтенье газет — из главных ежедневных работ, это вход в жизнь мира. Чтенье газет настраивает к ответственности, к упорству и к бою, даёт живое ощущение врагов. Рассыпанные по всему миру социалисты, социал-патриоты и центристы, не говоря уже о всех буржуазных ослах, все как будто сталпливаются вокруг тебя в читальном зале, и размахивают руками, гудят, кричат каждый своё, а ты выхватываешь — и отражаешь, замечаешь слабые места — и тут же бьёшь по ним. Читать газеты — значит, и конспектировать их. По аналогии, по ассоциации, по противоположности, по несоединимости и вовсе по непонятной связи высекаются и высекаются искры мыслей, разлетаются под углами вправо, влево, на отдельные бумажки, в линейчатые строки тетрадей и на свободные поля, и каждую мысль, пока не погасла, надо успеть огненной нитью вплести в бумагу, чтобы тлеть ей там и ждать своего часа, иную — в конспект, иную — сразу в письмо, начатое тут же, чтобы не терять горячего движения фразы. Одни мысли — для выяснения самому себе, другие — для спора, укола, удара, третьи — как лучшая форма разжевать и архиразжевать для глупеньких, четвёртые — для теоретической справки, особенно с теми, кто удалён и даже в России.

Вандервельде и Брантинг, Гюисманс и Жуо, Плеханов и Потресов, Ледебур и Гаазе, Бауэр и Бернштейн, два Адлера, даже Паннекук и Роланд Гольст, — всех их Ленин ощущал как своих досягаемых раздражающих оппонентов, где б они ни гнездились — в Голландии, Англии, Франции, Скандинавии, Австрии или Петербурге, — ощущал их на дистанции видимости, на слышимости голоса, он связан был с ними со всеми единым пульсирующим нервным узлом — во сне и в бодрствовании, за чтением, за едой и на прогулке.

А читателей — уже и не было, уже оказывается наступил перерыв.

Библиотекарь ушёл за стеклянную дверь в глубину хранилища. Лампочки на всех столах погасли, храм-читальня грандиозно высился в полусерости и гробовой тишине. И пользуясь необычным этим случаем, ещё и ещё разряжаясь от избыточной натяжки нервов, Ленин взялся быстро ходить по прямой, по самой длинной центральной прямой здесь — от входной двери под деревянной галлереей до двух поперечных каменных длинных ступенек, перед бывшим алтарём. Получалось шагов пятьдесят, не перегороженных ни полками, ни столами.

Вся проходка его бывала на улицах и в горах, а жил он всегда в комнатках тесных, маленьких, не расходишься. Теперь в этом быстром настигающем хождении, шагом охотника, расталкивая, расталкивая Гильфердингов, Мартовых, Грейлихов, Лонге, Прессманов и Чхеидзе, не давая им фразы высказать связно, тут же обрывая, осекая, ставя на место и рассеивая их, именно в этом колебании бешеного маятника — он отбивался, отбивался от врагов.

Освобождался от врагов.

И всё больше был готов к методической работе.

И пришёл момент — на полупроходке ощутилось: довольно!

И сел работать.

Неправильная эта мысль об Инессе. Нет оснований так думать.

Нет! Не за тем столом сидел. Теперь это всё — книги, газеты, тетради, перенести на хоры, за свой привычный стол. В два приёма пришлось нести.

Слегка поскрипывали ступени в готической серой тишине.

И что-то вдруг устал-устал. Как свалился в свой стул.

В голове как-то...

А голода от пропущенного обеда не ощущал никакого. Ему — можно было и мало есть, в нём энергия вырабатывалась почти и без еды.

У самого окна, без лампы пока. Но день сумрачный.

Читал газеты. Читал — об общем военном положении. И было безрадостно.

Ну, не так плохо, как в августе, страшный момент, когда внезапно выступила свежая Румыния, гигантски укрепив союзников, и казалось — теперь Россия вывернется. Но нашлась в Германии сила разбить и Румынию как бы мимоходом, это изумительно, этого нельзя было предсказать два месяца назад. А тем не менее, также вопреки всем предвиденьям, Германия не выигрывала целой европейской войны. На Западном фронте закупорилось прочно и безнадёжно. И на Восточном — вот поразительно, и на Восточном никакой победы не принёс Шестнадцатый год. Год назад был царизм *уже* сотрясён, *уже* почти повергнут, — а вот опять стоял и не уступил ничего! Величайшая надежда, величайшая победа — растеклась, расплылась, ушла.

В одном местечке, всего в одном местечке головы, около левого виска, образовалась как бы пустота. Плохо. Перевозбудился.

И все народы даже от третьего года такой кровавой войны — не видно, чтобы просыпались. Но, как всегда, безнадёжнее всех — русский народ. Именно он нёс главные обильные потери, именно русские тела штабелями наваливались против немецкой организации и техники. О Восточном фронте вообще пишут невнятно, неточно, корреспондентов там нет, знают мало и интересуются мало, да пресса Антанты и стыдится такого союзника, стараются меньше писать, но часто приводят цифры потерь. Эти цифры русских потерь всякий раз находил и ногтём отмечал Ленин — с удовольствием и удивлением. Чем крупней были цифры, тем радостней: все эти убитые, раненые и пленные вываливались как колья из самодержавного частокола и ослабляли монархию. Но и эти же цифры приводили в отчаянье, что нет на Земле народа покорней и бессмысленней русского. Границ его терпению не существует.

Любую пакость, любую мерзость он слопает и будет благодарить и почитать родного благодетеля.

Или свет зажечь? Как будто буквы поплыли.

Невоспламеняемые русские дрова! Отошли в историю лучшие костры — соляные, холерные, медные, разинский, пугачёвский. Разве только на захват соседнего поместья, всем видимого и известного, а то ведь никакой пролетариат и никакие профессиональные революционеры никогда не раскачают чёрную мужицкую массу. Развращённая, расслабленная православием, она как будто потеряла страсть к топору и огню. Если уж такую войну перенести и не взбунтоваться — куда годен этот народ?

Проиграно. Не будет в России революции.

Закрыл глаза ладонями и сидел так.

Внутри — как будто обвисало. То ли от усталости, то ли от тоски.

Читатели уже собираются. Стулом двинули. Книга упала. Лампочки зажигают.

А может случиться и ещё хуже: царизм уже выбирается из капкана? Через сепаратный мир?? (Подчеркнуть тремя чертами.) И Германии, когда она не может выиграть войны на двух фронтах, — что остаётся?

Вот — страшно. Вот — не может быть хуже чего. Тогда проиграно — всё. И мировая революция. И революция в России. И — вся жизнь Ленина, все усилия двух десятилетий.

Такое сообщение — о подготовке сепаратного мира, о тайных переговорах, уже *официально* идущих между Германией и Россией, и что в главном обе державы уже столковались, — недавно напечатала газета Гримма «Бернер тагвахт». Подпись была — К. Р. Не надо спрашивать плута Радека, чтоб догадаться, что это — он. (Но как мог Гримма убедить!) И достаточно зная его шипучую находчивость, можно догадаться, что он не подслушал разговора дипломатов, не подглядел тайных бумаг, и даже слушка такого не подхватил нигде, а, залежавшись на полдня в постели, газеты на одеяле, газеты под одеялом и книги под кроватью, он иногда сочиняет что-нибудь такое «от нашего собственного корреспондента» из Норвегии или Аргентины.

Но не в том дело, как родилось именно *это* сообщение. И не в том, что русский посол в Берне опровергает, — а что же ему иначе?.. Дело — в пронзительной верности: для царя это действительно верный выход! Именно так и надо бы ему!

И поэтому надо — ударить! Ещё ударить в это место! Бить тревогу! Остановить! Предупредить! Не дать ему вытащить из капкана все лапы целыми!

Конечно, от Николая II и его правительства следует ждать всего самого глупого. Ведь и этой войны нельзя было ждать от них, если б сколько-нибудь были разумны, — а начали! а — сделали нам такой подарок!

Так что, может быть, и сейчас ещё можно их напугать разглаской — и отвратить?

Сепаратный мир! Конечно, исключительно ловкий выход. Но всё-таки: не по их уму.

А всё равно уже: в России ничего не сделать. Кто там читает «Социал-Демократа»? А за Милюковыми и Шингарёвыми все следят. В России слышно — одних кадетов. И вон как встречали делегацию их на Западе. Царь додумается, потеснится немножко, уступит министерства Гучкову да кадетам — и уж тогда их совсем не возьмёшь, не пробьёшь.

И что ж можно вымесить из российского кислого теста! И зачем он родился в этой рогожной стране?! Четвертушкой ли крови он связан так, что привязала судьба к дрянной российской колымаге? Четвертушкой крови, но ни характером, ни волей, ни склонностями нисколько он не состоял в родне с этой разляпистой, растяпистой, вечно пьяной страной. Ничего не знал Ленин противнее русского амикошонства, этих трактирных слёз раскаяния, этих рыданий якобы загубленных натур. Ленин был — струна, Ленин был — стрела. Ленин с первого полувзгляда оценивал дело, обстоятельства и верное и даже единственное средство к цели. И что ж его связывало с этой страной? Да не хуже, чем этим полутатарским языком, он овладел бы и тремя европейскими, потрудясь больше. С Россией — двадцать лет конкретных революционных связей? Ну, только вот они. Но сейчас, после создания циммервальдской левой, он уже достаточно известен в мировой социалистической сфере и может перешагнуть туда. Социализм — безнационален. Вот уехал Троцкий в Америку — правильный выбор. И туда же Бухарин. Наверно и надо, в Америку.

Нет, что-то сегодня не то в нём самом. Не так день начался, не так завертелся. Как будто тело его, самый корпус, грудь не успевали за быстрой головной проработкой — и у левого виска была пустотка, и какое-то дупло усталости проявилось в нутре, — и вся оболочка тела как будто стала оседать по дуплу.

Многое сошлось сразу, и вдруг он ощутил, что не вытянет сегодня хорошего рабочего дня, но катится под гору раздёрганный, неудачный, даже тоскливый.

Вообще, политик — это тот, кто совсем не зависит от возраста, от чувств, от обстоятельств, в ком во всякое время года и дня есть постоянная машинность — к действиям, к речам, к борьбе. И у Ленина есть эта отличная бесперебойная машинность, неиссякающий напор — но даже у него раза два в год выдавались дни, когда этот напор опадал — до уныния, до изнеможения, до прострации. И такие дни уже до вечера нельзя исправить, только раньше лечь и крепко спать.

Кажется, отлично владел Ленин своей головой, своей волей — но против этих накатов безнадёжности был бессилен даже он. Безусловная истина, твёрдая перспектива, проверенная расстановка сил, — вдруг начинало всё оплывать, сереть, сползать, всё оборачивалось к нему серым тупым задом.

А внутри сидящая, вечно сторожащая болезнь вдруг выпирала углами, как камень из мешка.

К виску выпирала.

Да. Всегда он шёл путём неприятия компромиссов, несглаживания разногласий — и так создавал побеждающую силу. Уверен был, предчувствовал, что — побеждающую. Что важно сохранить как угодно малую группу и из кого угодно, но — централизованную строго. Примиренчество и объединенчество уже давно показало себя как гибель рабочей партии. Примиряться — с разоруженцами? примиряться с нашесловцами? примиряться с русскими каутскианцами? с мерзавцами из меньшевистского ОК? идти в лакеи к социал-шовинистам? обниматься с социалистическими Иванушками? Нет, к чёрту! — малое меньшинство, но твёрдое, верное, своё!

Однако постепенно он оказывался почти в одиночестве, преданный и покинутый, — а всяческие объединенцы или разоруженцы, ликвидаторы или оборонцы, шовинисты или безгосударственники, помойные литераторы и вся паршивая перемётная обывательская сволочь, — все собирались где-то там тесным комом. И до того иногда доходило его меньшинство, что и вовсе никого вокруг уже не оставалось, как в тоскливом одиноком 908-м, после всех поражений, — тоже здесь, в Швейцарии, самый страшный тяжёлый год. Интеллигенция панически покидала большевистские ряды — тем лучше, по крайней мере партия освобождалась от мелкобуржуазной нечисти. Среди этой мерзкой интеллигентщины Ленин чувствовал себя особенно униженно, ничтожно, потерянно, отчаяние было ощутить себя утопающим в их болоте, идиотство было бы походить на них. Каждым жестом и словом, даже руга-

тельствами — только бы не походить на них!.. Но уж совсем никого не оставалось, уж до того дошло, что хоть десять-пятнадцать сторонников надо было задержать, оставить! — и для этого одного, в охоте за пятнадцатью большевиками, чтоб не отдать их махистам, гонять за материалами в Лондон и писать триста страниц философского труда, которого и не прочёл никто, но Богданова — опозорил! сбил с руководства! И потом сырой осенью всё ходить, ходить зябко вдоль Женевского озера и бодро повторять, что мы не упали духом и идём к победе.

И вот с умнейшими, как Троцкий и Бухарин, не находится общего языка. И в немногих, кто остался вблизи, как Зиновьев, тоже нельзя быть уверенным вперёд дальше месяца — так слабы его нервы, так непрочны убеждения. (Да никаких убеждений у Гришки нет.)

Сила — не создалась. Весь его курс, 23 года непрерывных боевых кампаний — против политических глупостей, пошлостей, оппортунизма, вся эта твёрдая судьба под градом ненависти — к чему привела его, кроме изоляции? Он по инерции продолжал свою линию — разрывов, клеймлений, отмежеваний, но сам утомлённо понимал, что на том и завяз, что настоящего успеха — уже никогда не будет.

Одиночество.

И даже рассказать, поделиться, свой голос послушать — вот, не с кем...

Ну, день... Всё вываливалось и отвращалось, бесплодно просиживал часы.

Стопки книг, стопки газет... А за годы эмиграции — целые колонны бумаг, кип, дестей, — прочитанных, просмотренных, исписанных...

Когда он был молод — носилось свежее ощущение близкой революции, простота и краткость ожидаемого к ней пути. Он всем повторял: «Всеобщая вера в революцию есть уже начало революции!» Счастливое ожидание!

Но вот, последние девять лет, после второй эмиграции, — чем же наполнены, набиты, напрессованы? Одними бумагами, конвертами, пакетами, бандеролями, перепиской рутинной, срочной — сколько же, сколько времени уходит на одни письма (да и франков на марки, но это из партийной кассы)? Почти вся жизнь, половина каждого дня — в этих нескончаемых письмах, никто не живёт рядом, единомышленники рассеяны по всем ветрам, и надо издали держать их, стягивать, управлять ими, давать советы, расспрашивать, просить, благодарить, согласовывать резолюции (это — с друзьями, а всё ж это время не прекращать острейшей борьбы с толпами врагов!), — и именно сегодняшнее, се-часовое письмо всегда кажется самым срочным и важным (а через день иногда — и пустым, и опоздавшим, и ошибочным). Обсылаться проектами статей, корректурами, возражениями, поправками, рецензиями, конспектами, тезисами, чтеньем и выписками из газет, целыми повозками газет, иногда выпусками своих журналов, по несколько номеров, не дальше, — и никакого настоящего дела, и не поверить и не представить, что через мир, заваленный ворохом бумаг и бандеролей, способно пробиться общественное движение — к заветной задуманной государственной власти и там понадобятся от тебя качества иные, чем эту дюжину лет в читальных залах.

Кончал он свой сорок седьмой год — жизни нервной, однообразной, всё чернилами, чернилами по бумаге, в однодневных, однонедельных вспышках вражды и союзов, споров и соглашений — архиважных, архитактичных, архиискусных — и всё с политиками настолько мельче себя, и всё в бездонную бочку, без задержки, без памяти, без результата. Всё дело его подвижной, поворотной, переносной жизни билось, билось и упиралось в непроходимый хлам.

И вот — обвисали руки, и спина не держалась, и кажется — всё, выдохся весь до последнего.

А болезнь — грузнела внутри, иногда расхаживала и скребла. Она

звука не подавала, она в спор не вступала, а сильней её — не было оппонента.

Беда, вошедшая навсегда.

Единственно, к чему он был призван — повлиять на ход истории, не было ему дано.

И все его несравненные способности (теперь-то оцененные и всеми в партии, но сам он знал их ещё верней и выше), вся его находчивость, проницательность, хватка ума, всё его бесполезно-ясное понимание мировых событий — не могли ему принести не только политической победы, но даже положения хоть члена парламента игрушечной страны, как Гримму. Или даже — успешного адвоката (впрочем, адвокат — отвратительно, в Самаре он проиграл все суды). Или хотя бы журналиста.

Оттого, что он родился в проклятой России.

Но со своим обычаем честно выполнять самую кропотливую работу, он всё ещё пытался сегодня составлять свои подробные учительные тезисы швейцарским левым циммервальдистам. По дороговизне, по невыносимому экономическому положению масс. Какой установить предельный максимум жалованья для служащих и чиновников. И как следить за партийными органами печати. И как выживать из партии реформистов-грютлианцев...

Нет! Не строилась работа... Ушла полнота из рассчитанного распорядка, и осталось дупло. Голова заболевала. Дышалось плохо. Противно стало даже смотреть на бумаги. К утру должен был приступ миновать, но сейчас такое ко всему отвращение, что хоть на пол лечь.

И — преступно не досидев рабочего дня (впрочем, не так уж много и оставалось), он через силу скидывал тетради, рукописи в свою провизионную сумку, собирал, захлопывал книги, стягивал газеты в пачку, что́ ставил на полки, что́ понёс библиотекарю, осторожно ногами по ступенькам, чтоб не грохнуться с этой кипой.

У двери натянул тяжёлое пальто, насадил котелок как попало, побрёл.

Каждый день одна и та же дорога не задавала задачи ни ногам, ни глазам: шлось само.

К сумеркам было, и ещё туман. В окнах магазинов и ресторанов уже горело электричество.

По узкому переулку катили широкую бочку, за ней — тачку. Не обойдёшь.

Легко, легко не выбраться из этой стиснутой, маленькой, закисшей, мещанской Швейцарии, так тут и кончить жизнь при Кегель-клубе.

У гастронома, видно через окно, никелированная машинка равномерной подачей резала ровные пластинки привлекательной ветчины. И видами мясного завалена была витрина. Бакалейщик, самодовольный по-швейцарски, вышел на порог своего заведения и одному прохожему за другим — знакомым, не знакомым? — отвешивал своё бесплатное «грётци!». На третьем году войны магазины оставались навязчиво изобильны, только сильно подпрыгнули все цены от подводных лодок. А буржуа стояли и ещё перебирали.

По холоду хоть не стали выставлять столиков из кафе на тротуары — а то сидят, на прохожих глазами лупают, а ты их обходи, чертыхаясь. И во всё своё эмигрантское время ненавидел Ленин кафе — эти обкуренные гнёзда словоизвержения, где заседало 9/10 революционного словоблудия. А за войну, тут близко военная граница, натянуло в Цюрих ещё новой мутной публики, из-за них комнаты подорожали, авантюристы, дельцы, спекулянты, студенты-дезертиры и болтуны-интеллигенты, философскими манифестами и художественными протестами якобы бунтующие, сами не зная, против чего. И все — по кафе.

Да такая же благополучная, наверно, и Америка. Везде верхушка

рабочего класса предпочитает богатеть и не делать революции. Ни там, ни здесь никому не нужен был его динамит, его взмах топориный.

Способный весь мир раскроить, взорвать и перестроить — он слишком рано родился, только себе на муку.

Середина Шпигельгассе — сильно горбатая, на своей отдельной горке. От себя, в какую сторону ни иди, — размашисто вниз. К себе, откуда ни возвращайся, — круто вверх. Когда разогнан или бодр — не замечаешь. Но сейчас еле-еле тащился. Не шёл, а ногами заскребал.

Узкая крутая лестница старого дома с многолетними запахами. Уже темно, а лампы не зажгли, наощупь ногой.

Третий этаж. Всеязычный галдёж, тяжёлые запахи квартиры.

И своя комната, как тюремная камера на двоих. Две кровати, стол, стулья. Печка чугунная, в стенку труба. Нетопленная (а пора бы). Перевёрнутый ящик из-под книг как посудный столик (из-за вечных переездов не покупали мебели).

При последнем дневном свете Надя ещё писала за столом. Обернулась. Удивилась.

Но, привыкшая к этому свету, разглядела жёлто-бурую кожу на шестидесятилетнем лице Ильича, тяжёлый мёртвый взгляд — и не спросила, отчего так рано.

Уж знала она у него приход этих упадков до прострации — иногда на дни, а то — на несколько недель. Когда он слишком вырабатывался в возбуждении, или когда в борьбе надламывалось даже его железное тело. После II-го съезда был такой упадок нервный, после «Шаг-два-шага», после V-го, да не раз.

Котелок утомлял голову, старое пальто утомляло плечи. С трудом их с себя сдирал... Надя помогла снять... Потащил по комнате ноги и сумку с тетрадями.

Нашёл силы посмотреть, что́ Надя писала, к глазам поднёс. Расходы.

Набирался, набирался столбик цифр удручающий.

В 908-м хоть и мрачно было, хоть и одиноко, так денег завались, после тифлисского экса. Счёт в «Лионском кредите». С тоски ходили в концерты по вечерам, ездили в Ниццу в отпуск, путешествовали, гостиницы, извозчики, в Париже сняли тысячефранковую квартиру, зеркало над камином.

Сел на кровать.

Сел — и осел, уменьшился. И в пружинах утоп, и голова утопла в плечи, совсем не осталось шеи: оттяжка темени — на спине, подбородок — на груди.

И одной рукой, впереди себя, держался за край стола.

Один глаз был полузакрыт. А рот полуоткрыт. С губы торчала бесформенная шерстинка крупноволосых усов. И нос придавленным своим передом выставлен вперёд.

Так сидел. Минуту. Другую. Третью.

— Ляжешь? Раздеть? — своим мягко-деревянным голосом спрашивала Надя.

Молчал.

— Ты что ж в обед не пришёл? Зазанимался?

Кивнул, с усилием.

— Сейчас будешь? — Но голос её не обещал густого плотоядства, так никогда и не научилась готовить.

То ли было в Шушенском! И натоплено, и наварено, и нажарено, на неделю баран, разносолов кадушки, дупеля, тетерева на столе, молоком залейся, и до блеска всё вымыто девчёнкой-прислугой.

Уж совсем облысел купол Ильича, только и оставались волосы задние, тоже не густые. (Ещё попортили и сами в 902-м: на врача денег пожалели, по совету русского медика недоучившегося сыпь на голове йодом лечили, и посыпались волосы.)

Надя переступила ближе. Тихо, осторожно пригладила.

Несколько глубоких длинных морщин пролегли через весь, весь лоб его, вдоль.

Ильич вздохнул толчками тяжёлыми — как в оглоблях, с силой некабинетного человека. И нисколько не подымая голову из утопленья, не видя жену, а — перед собой, над столом, заморенно-заморенно:

— Кончится война — уедем в Америку.

Да он ли это?

— А циммервальдская левая как же? А новый Интернационал? — стояла печальной распустёхой.

Вздохнул Ильич. Глухо, хрипло, без силы в голосе:

— В России ясно к чему идёт. К кадетскому правительству. Царь — с кадетами сговорится. И будет пошлое нудное буржуазное развитие на двадцать-тридцать лет. И — никаких надежд революционерам. Мы — уже не доживём.

А что? И уехать. Она приглаживала его дальние редкие волоски.

Тут — постучала хозяйка: кто-то к ним пришёл, спрашивает.

Ну, только! Ну, нашли время! Надя и не советуясь пошла — отказать и выгнать.

А вернулась в недоумении:

— Володя! Скларц! Из Берлина...

Из Берлина?..

Да кто угодно, только б вылезти из этого болота!

ПО МНЕ ХОТЬ ПЁС, ЛИШЬ БЫ ЯЙЦА НЕС

45

В канун Казанской, в пятницу, бабы варили и пекли, не разгибаясь, щёки не остывали от жара. И с соседних деревень — из Волхонщины, Изобильной, Торчков, Бредихина и даж с Журавлиного-Вершинского, на рысаках и разодетые съезжались родственники к родственникам на престол. Третий год продирали, продёргивали их волость — а до чего ж ещё многолюдна была! Мужики середовые ещё все дома, и славные здешние кони не перевелись резвостью и статями, и начищенная выездная сбруя сверкала и звенела, а на мужиках — пары и тройки суконные, достанные из сундуков, сапоги со скрипом, худых — ни на ком. А уж бабы в церковь — во всех цветах да сборочках, нык и в польтах касторового сукна, на матери — турецкая шаль, Катёна — в высоких ботинках-румынках, на шнуровке.

С синекустовских отрубов приехала к Благодарёвым в дом и адрианова жена Анфиса с тремя ребятишками. Как и гостья, а и по хозяйству пособляла, к Благодарёвым так гости и текли, на служивого смотреть. И всем бы Анфиса ничего баба, и как будто родня, а зависть свою не перегораживает, да оно и правда обидно: Адриан два раза ранетый был — а креста нет, Сенька ни разу — а два креста.

Так ведь как сложится, Сенька что ж? Сеньке и самому неловко. И, как бы исправиться, от приезда ломило его руки на работу, будто он все эти годы пушечного хобота не ворочал, снарядов не вбрасывал в казённую часть, земли не капывал, — вся та работа не в счёт, как не деланная, а вот сейчас-то бы и приложиться впервы! — так дни не такие, приехал под праздники кряду на три дни, на пир да на добрые люди, — и ходи от стола к столу, показывайся.

Праздники шли косяком. В субботу — Казанская, престол. В канун перед им волостное правление и повсегда флаг вывешивало: восшествие императора, тоже-ть на престол. А в этом году накладалась на престол и Дмитровская суббота, поминовение родителей. Следом — воскресенье, второй день престола, с молебнами по домам, и во всю гуляли, лишь к вечеру разъезжались. А на понедельник — Всех Скорбящих Радости, и опять в церкви служба, и опять на весь день праздник, уж теперь середь своих, каменских.

Так каждое утро, студёной водой от вчерашней гульбы голову проняв, шли Благодарёвы к заутрене и к обедне, дома оставивши то мать, то Катёну, а то Феньку одну с малыми.

По звону — со всех каменских холмов, изо всех домов шли, спускались и к церкви подымались разодетые сельчане — бабы в шёлковых головных и наплечных платках, алых и синих, в полусачках и даже в шубейках, кому будет жарко — в притворе повесить можно. Даже мужики в цветном, старухи в праздничном чёрном, даже мальчики — и те в сапогах, выбирая где суше, — пройтись, показаться, куда ж и одеться?

Перед отцом Михаилом был и долг у Арсения вечный: ведь и его б, как Адриана и как сестёр, не отпустил бы отец на ученье, не было достатка, и тогда ещё такого уряда не было — учиться. Уже слал отец Сеньку подпаском, да проведал отец Михаил, и внушил Елисею и дал десять пудов ржи, чтобы только сынишка в церковную школу пошёл. (Земской тогда ещё в Каменке не было.) То ещё был отец Михаил старший, нынешнему отец, кто взрослых прихожан ма́лушками звал, покойный теперь, — а вместо него сын заступил, опять же отец Михаил Молчанов, и службы служил с той же строгостью, по воскресеньям обедня боле двух часов, и требы с тем же старанием, и такой же тихий был, так же шли к нему спросить-рассудить по совести, только уж малушками взрослых не звал. И в саду всё с лопатой и с ножницами, продолжая и в том отцовское, и домик сиренью обрастил пуще.

Прежде читал у него Арсений часы и пел в хоре — и сейчас, узнав о приезде, прислал отец Михаил наказать, чтоб на праздники прямо в хор выходил, а на Казанскую бы причастился. И кубыть третий год не вырван был Арсений, не выхвачен как волчьим укусом, не таскался между взрывов и пожаров, не хоронился в окопах и в воронках от прострела и сам не посылал немцам такого ж гостинца, — тут всё та ж была церковь издетская, своесвойская, и иконы всё те на местах и ставники со свечами, и те ж перильца у клироса, и в той же ризе отец Михаил перед теми же резными вратами. И хотя доставалось Арсению и на войне постоять на молебнах и панихидах против алтаря составного рамчатого, и на тот же распев служба, а там будто не настоящая, как вся та жизнь военная не настоящая, привыкнешь — не замечаешь, а только в своё село воротясь — очнёшься. И вот опять выпевал Арсений голосом вольным, немеренным. И со своими сельскими слушал глас ко празднику:

Не умолчим николи, Богородице, силы Твоя глаголати, недостойнии: аще бо Ты не бы предстояла молящи, кто бы нас избавил от толиких бед? кто же бы сохранил доныне свободны?

Поётся ли иль возглашается нараспев, понятны ли кряду слова или со смыслом тёмным, за каждым ли следишь или относишься мыслью и под пение задумаешься о своём, хоть бы вот — что после войны будет, как заживём с Катёной хорошо, — а те молитвенные слова всё одно воздымают тебя над жизнью колотьбенной, как и сам этот храм, ни с чьею лучшей избой не сравнимый, в наряде однако смиренном, — каждому открыт, каждого ждёт и всех равняет. И хотя, у престольной службы стоя, всегда знают, что едва спустя начнётся общая гульба, пьянка, и конские бега, и торги, и драки — молодых парней стенка на стенку, там и разъярённых взрослых мужиков, — а тут напомнено тебе, что всё это — муть и пена, а все мы — мiр, одного Бога дети, и не гожо нам друг на друга злобиться. Все стоят смирно, до времени головы гнут, у кого и гордые, и задиристые, и когда на колени надо — так все на колени, а если кто в мыслях лишь о жизни обыденной и попросил у Бога здоровья детям, скотинке аль помощи в задумке своей по хозяйству, так и тоже правильно, нету тут злого. Захленись ты, чтоб тебя разорвало и убило! — такого тут не попросят.

Не имамы иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, Владычице: Ты нам помози: на Тебе надеемся и Тобою хвалимся: Твои бо есмы раби, да не постыдимся.

Чуть если повернуться Арсению больше, то можно краем увидеть на левой, бабьей, стороне, в тесноте престольной, как стоит и молится Катёна. Такая тихоня проворная, чистенькая, так истово глядит на Богородицу да быстро кладёт поклоны поясные, вниз легко и вверх легко, лишь платочек взлетает хвостиком. И по виду её свято-весёлому, по готовности к поклонам, никогда не сказать и в думке не представить, чтобы были у неё когда-то грешные мысли прежде, в той же баньке или до ней, или чтоб сейчас она таила их на будущее.

Пел что положено с хором Арсений, а про себя хвалил: слава Тебе, Господи, какую жёнку Ты мне послал, — и видом, и справой, и норовом хороша ты, моя жёнка, лучше не надо!

А потом валил народ из церкви, с холма рассыпаясь, — к угощениям. Кроме праздников в Каменке раньше никогда хмельного не пили, иначе ты не мужик и не хозяин. С войны отняли и казёнку — однако без хмельного не остались: брагу, пиво и всегда варили, а тут научились из зерна гнать перегон, ещё крепче водки, — на воздым подымает, такое весельство. Теперь громахонов, скажи, семь появилось в Каменке, и такую взяли моду: выставлять их на скамьях перед воротами или в раскрытом окне, для общей забавы, вперебой гармошкам. А перед пожарной, где земля хорошо утолочена, молодёжь танцовала. И песни пели во всё горло, чтоб аж драло, с холма на холм.

А после престольного веселья всегда дрались парни, от разных деревень, вовлекая и взрослых мужиков. Ныне — веселья заметно поменьше, а драки, напроть, и без престола. В сём году драка была чуть не насмерть между пьяными рекрутами, нашими и волхонскими, не дождутся вишь немца, еле разняли урядник со стражником, пускали и воду из пожарной машины. И ещё развелось — озорство крайнее, какого раньше не слыхивали. Восемнадцатилетний Мишка Руль, сын почтенного отца, собрал компанию парней и шкодили зло, как никогда не ведено: воровали домашнюю птицу, затыкали трубы печные, и мужицкие сады обламывали — дело нестаточное, яблоки грабастать принято было всегда лишь у помещика. И ни на чём как след не пойманы, и отец с Мишкой Рулём ничего поделать не мог, ждал армии.

Эти три дня смешались, не разделить: из избы в избу, от угостья к угостью — и где кого видал? где чего набуздались? — мясо да рыбу, печево да студни. Ходил Арсений, потряхивал двумя Егорьями, с шинели на рубаху их перецепив, и который раз охоче рассказывал, за что дали, и как вообще воюют, и какие германцы, и о солдатской славной службе кричал через рёв, через гармонь, через стол наискось: «Знай службу, плюй в ружьё, да не мочи дула!» Аль: «Не что солдату и без шубы деется, идёт да греется!» Но хотя и ещё такое было присловье — «солдат в отпуску — рубаха из порток», а са́м затянутый ходил, да рядом с таким становитым батькой живот распустить и погорбиться — страм. И чего б ни спросили Сеньку, через гул крича, или за грудь тряся, или руку на плечо, — на всё он ответ давал уверенный, когда и знал и не знал: и — правда ль, что немец уже не бонбы кидает, а прям огнём рыгает? и — правда ль, что за хранцузов чёрные черти воюют, прямтаки во плоти, и не скрываются? И — зачем же с немцем так люто

воевать, коли они — крещёный народ, вроде нас? другое дело — с турками, с японцами...?

Ну, и пето было во всю глотку.

Так и толкались эти дни, всё в стенах, и только переходя из избы в избу или выйдя голову обветрить на сырой холодок, видел Арсений небо за тучками, порой растянутыми до полотна, солнышком просвеченного, и видел раскинутое своё село: от одной горки, где стоял помещичий давыдовский дом и откуда главный порядок спускался к мосту через ручей, — и дальше от моста, от плужниковского кирпичного дома наверх, на другую горку, туда, за увал, к новому спуску, уже к Савале, и новому холму на Князев лес, — аль вбок, на холм, где храм, дом и сад поповский, кладбище, приходская школа, где Арсений учился, земская школа, больница, лошадиная лечебница до роща. И ещё распахнут был вид на просторные луга к Савале, как она обходила село дальнею дугой, на хутора кое-где отступя, и как большак, петлянув, уходил на станцию Ржакса. И на это всё поглядя, да представив за Савалою, там где-то, и свой уже будущий хутор выросшим, — опять к столу, яства пересменились, зовут томлёные кравайцы в сливки кунать аль черепельники заливать чаем.

А потом праздничный обед сном золотили.

Эти ж дни нашёлся досуг и Савостейку к себе приручать — ребёнка рази ж минуешь, не потрогав? К отцовским рукам Савоська ещё не идёт, прячется за мать да за бабку, «деда» уж говорит и за усы его охотно тягает, а «тятю» не понимает. Но за три недели ещё ка-ак привыкнет. До того свою кровь чуял в нём Арсений, не просто знал, что — его ребёнок, от своей жены, но коли б и скрыли от него, солгали бы, что дитя чужое, всё равно он кровно бы разыскал, отличил, что это — *его* капелька. И малыш тоже вот-вот почует, уж так на отца глаза вылупляет, уж и приникал разок, тихо так приникал.

Да что Савостейка — Проська из зыбки, отца завидев, соску покидает и смотрит за ним, смотрит.

Глаза у Проськи — как небо в вешний день.

Сегодня, Всех Скорбящих, опять были у обедни, но покороче. После сказал батюшка проповедь, согласно ко дню, что скорбящие — все мы, что никого скорби не обходят, и ещё горшие не обойдут, но скорби должны нас не разъединять, а объединять перед Богом, объединять пуще удач, радостей и праздников.

А когда расходились от обедни, то невдали от паперти подошёл к Елисею и Арсению — сам Плужников, видный мужчина со смоляным чубом, в поддёвке дорогого тёмно-синего сукна, в лаковых сапогах с жёсткими негармошчатыми голенищами, — и пригласил отца и сына к себе на обед через два часа.

Почёт георгиевскому кавалеру! И отцу не мене. Плужников не по достатку, не по возрасту, а по мирскому счёту был как бы первый мужик в волости — и достиг того в немногие годы уже после смуты. Раньше было и не предвидеть, как он в гору пойдёт: он скорее был баламут, сред тех был нескольких мужиков, кого помещик Василь Васильич да дьяконов сын Алёшка Херсонский в кустах подговаривали против царя. Сам-то Василь Васильич во Францию ушёл, а с их волости и двух соседних собрали семёрку мужиков, сослали в Олонецкую губернию, средь их и Плужникова. Да не за то одно, а какую-то он связь имел с е-серами из Тамбова. А ещё тогда ж он был староста товарищества, и собрали деньги, землю покупать, — а перед самым банком будто е-серы сменили им на фальшивые? До того точно никто не довсдан, но Плужников два года в ссылке пробыл. А воротился — не узнать: как и был — остался мужичий вожак, а — разумный. Поставил кирпичный дом, хозяйство поднял, две сотни ульев, докупил земли да затеял крестьянское кредитное товарищество, открыл мужикам эту выгоду и простор: не хлопотать, не выискивать покупателя своему товару, самим далеко не ездить, а всё выправит товарищество, и тебе же ссуду даст, хорошо! — такого сроду не было. В годы перед войной своими делами, суждениями и мирскими обсоветами заслужил Плужников, лишь недавно за сорок переступя, звание «батьки», но не как прозвище уличное, то отлиплс, а так и чли его Григорием Наумовичем. Как вожака зазнали его и далеко шире волости.

Хотя Плужников и постоянно уваживал старшего Благодарёва то словом, поклоном, то делом каким по кредитному обществу, однако за стол друг ко другу они не хаживали, и понял Елисей Никифорович, что зовёт его Плужников больше ради сына. Но и в этом состояла не обида, а почёт, ибо верно говорят: не гордись отцом, гордись сыном-молодцом: отца себе не выбираешь, не взращиваешь, а сын — от начала до конца твоё племя, твой плод, по нему и осудишься, по нему и охвалишься.

И степенно головою кивнув-поклонясь, Елисей Никифорович принял приглашение за себя и за сына.

Удатная голова у старика и на шее как молодой. Взгляд с годами покойный, а до того проницательный, что даже Плужников принял его без знаемого своего превосходства над мужиками. Он-то приглашал, да, ради сына, фигурой на селе становился сын, двойной Георгий, и грамотен, и орёл, Плужников уже жил близостью послевоенного деревенского устройства, где многое мнилось ему обновить и расширить, и этакие орлы ещё как пригодятся. Однако ж вот и отец как хорош. Ох, велика ещё наша деревенская сила, не выбита и двухлетней войною. Плужников усвоил за собой обязанность сплачивать всю эту силу.

А рядом стоял, поджидал Плужникова — в суконной тройке с часовой серебряной цепочкой от кармана — свой сельский торговец, уважаемый человек, купец-тысячник Евпатий Бруякин, а по наружности так ничего важного, умылся и вытерся. Но между ними уже начат был важный и даже ошеломительный разговор — и теперь предстояло продолжить. Бруякин открыл Плужникову своё решение, ещё никому не объявленное: свернуть и прекратить всякую торговлю! Плужников встретил резко несогласно. Это в голову не убиралось: чтоб свой купец, и ни за так, на гладком месте, бросил торговлю? Сейчас у Плужникова дома ещё городской гость сидел, надо идти, и они с Бруякиным, чтобы договорить, пошли в беседе, у всех на виду, медленным праздничным шагом по сухому косогору и потом крюком мимо земской больницы.

Торговать начал ещё отец Евпатия — Гаврила, а Евпатий — с 8 лет, под рукой отца, сперва — в разъездах. Уже с 13 лет имел амбарные права, хотя записанные на отца, с 16 — на себя, потом и бакалейно-галантерейные права, — и с тех пор вот уже 30 лет, и вся волость знала, что у Сати (по-уличному) есть — всё. Лавка его была на главной улице Каменки и подъезд к ней усыпан речной галькой. Снаружи сбоку соштабелёваны брёвна, плахи, столбы, жердинник, тёс, тут же нанятые рабочие пилили вдоль. Перед входом стояли весы до 10 пудов и керосиновая бочка с насосом. Толстые наружные двери и ставни закладывались железными накладками с болтами в пробои, а когда заперты были только остеклённые двери, то пришедший дёргал звонок за верёвку, и кто-ни-то из семьи спускался со второго этажа их полукаменника обслужить. В большом помещении лавки густо было запахов, заманчивых для крестьянина, а глаза разбегались. Бочки с дёгтем, олифой, ящики с колёсной мазью, мелом, известью, гляди не споткнись на полу о ящики с подковами и гвоздями всех размеров, у стен — коробки со стеклом. Цепные весы с набором фунтовых гирь. Ободья, дуги. Расписная деревянная посуда. На полках — ряды гончарной посуды из глины обыкновенной и белой, с цветной поливой и без поливы, — корчаги, крынки, горшки, столовые чашки и хлебницы. Дальше — эмалированные кастрюли, миски, чайники, кружки. Чугунки, сковородки, крытые жаровни. Перейди на другую сторону — бочки с селёдкой и солёной рыбой, ящики с сушёной и копчёной воблой. На

возвышении в три ступеньки (чтоб легче снимать к весам и в телегу) — рогожные кули с солью, мешки с мукой, манкой, сахаром, и сахар в конических головах, обёрнутых синей бумагой и шпагатом, — всех размеров от полной головы и до осьмушки. Там и пилёный сахар в коробочках, но его не берут, он тает легко. В откосных ящиках — пряники, жамки, конфеты, леденцы, ирис, шоколадки в золотистой бумаге монетками в «рубль» и в «полтинник», прессованный изюм, финики, винные ягоды, сушёные сливы. (А летом — арбузы, дыни и виноград.) И другая бакалея. И папиросы — Шурымуры, дядя Костя и Козьма Крючков, и машинки для набивки, табак листовой, сечёная махорка, курительная бумага, писчая бумага, тетради, химические и цветные карандаши, грифельные доски.

Но больше-то всего любил Сатя торговать красным товаром — ситцем, сатином, даже батистом и шёлком: этот товар давал ему дело и сближенье с бабами, которых он страсть любил, тем более, чем сам был невиден. С этим товаром он выезжал и на все окружные ярмарки, на двух подводах. Этот товар занимал видные полки в его лавке. И полки же были забиты драпом, плюшем, шевиотом. И сукном для штанов, пиджаков, костюмов. И шалями шерстяными и пуховыми, оренбургскими и пензенскими. И головными платками, и разноцветными лентами. С верхних полок доставали товар с лесенки, а то даже только ухватом. А на прилавке лежали приотвёрнутые рулоны клеёнок. А под стёклами — пуговицы ста сортов, кружева, булавки, приколки, вязальные спицы, гребни, расчёски. А ещё на подставке строились валенки, чёсанки, бурки, чёрные, серые, белые, даже и с красной и зелёной вышивкой. И резиновые сверкающие галоши, мужские и бабьи, полуглубокие и глубокие. Единственное чем Бруякин не торговал — кожаной обувью. Но продавал заготовки.

И этакую тридцатилетнюю заведенность, этакую махину и богатство, и удобство села — и прикрыть, закрыть, уничтожить? Разом и свою жизнь прикрыть — и обезличить Каменку? Да — зачем же? И куда это всё поденется?

Плужников так и взнялся против. Но убеждён, что отговорит Евпатия, прихватит его замысел в начале.

У Евпатия Бруякина лицо было мягкое, даже услужливое, ни в чём по своете не прорезанное, — в чём бы тут и перекору держаться? Чуть-чуть бородишка, чуть-чуть усишки. Вид его был всегда такой, что слушает охотно, готов учиться, готов исполнить. А нет, глаза смекучие, плутовитые, знали себе своё.

— Э-эх, Григорий Наумыч, — вздыхал он, многими ночами отдуманно. — Спроси птицу, откуда знает про непогоду вперёд? Почему загодя прячется? А иначе бы сплошь гибла. Так и я. Вот чую.

— Да из чего чуешь? Почему я не чую? Где это видно? — внушал ему Плужников властно, как привык. — Что, с товарами похужело?

— Пока ещё не видно, — соглашался Евпатий. А в глазах — тоска уколами: — Однако — чую. Как в Пятом году Анохина разграбили, Солововых. И опять на то поворачивает.

— Да никак не на то! — сердился Плужников, с ним поди поспорь. — Дело вертается к мужицкому развороту. После войны-то, гляди, мы и заварим дело!

— Ох, не-е... Ох, не-е, Григорий Наумыч. Не прошибись. Торг любит волю. А не будет её.

— Воли не будет?? Да откуда ты берёшь? не будет? Именно к нашей воле идёт! — посверкивал смоляный Плужников.

— О-о-ох, не прошибись, Григорий Наумыч. Худое время подошло.

— Так тем боле — міру послужить? Свой купец — весь народ укрепляет.

— Торг — дружбы не знает, — разводил Евпатий руки — однако цепчивые, ловкие руки, с сильными пальцами. — Затворяй ворота, пока улица пуста.

Плужников так и брал взглядом насквозь. И — недоуменно. Кто-то из них двоих шибко промахивался. Плужников не привык, чтобы — он.

— И что же, кто же место подхватит? — уже соображал он деятельно. — Кооперация?

Только чуть усмехнулся Бруякин под мягкими белобрысыми усишками:

— Без хозяина товар сирота.

— А ты сам — что делать будешь?

— Да хоть земли прикуплю, запашку увеличу.

Он хозяйство полевое и без того не бросал.

— Ну, погоди, не решай, подумаем! А куда — товар? Да куда же всё? Да как же Каменка будет? Да не может быть!

Разговор прекратили, — уже подошли к дому Плужникова — к восьмиоконному, крытому железом кирпичному пятистенку с выступными кирпичными наличниками, вдоль ручья, поперёк улицы, у самого моста.

Хотел Бруякин к себе возвращаться, но зазвал Плужников зайти потолковать с приезжим городским — это Зяблицкий был, прежде по земству, а уж сколько-то лет по кооперации, а теперь ещё и уполномоченный по закупкам. Он ехал в Каменку по делу, в понедельник с утра, никаких Всех Скорбящих не знал, и что престол ещё не кончился, — и вот вместо дела попал к браге да к стерляжке.

Агаша и тёща хлопотали в избе, и детишки там, а мужчины прошли прямо в горницу.

Приезжий сидел-скучал, тут обрадовался. Был он в городской паре, с дюже белым воротничком, и светленько глядел через очёчки. Щупел, с шейкой тонкой:

— Анатоль Сергеич...

Ну и Бруякин приосаниться умеет:

— Евпатий Гаврилыч.

А Плужников с усмешкой:

— Вот, поговори с ним, он и тебя в кооперацию втянет.

Горница была аршин семь на семь, с тремя окнами к улице, с тремя к ручью, и даже в тёмный день и через цветы на подоконниках и кружевные занавески — светла. Пол — из двенадцативершковых досок, ни горбинки, ни щёлки, закрашен вгладь, а стены — по-городскому штукатурены и белены. И обставлена была горница тоже по-городскому: ни единой скамьи, гардероб дубовый, горка с лучшей посудой, высокое зеркало в резной раме, смотрись хоть в целый рост, кровать — из никелированных трубок (а по-деревенски — свисает кружевной подзор ручной работы, покрывала одно из-под другого, по две подушки в головах и в ногах). И стол — не в красном углу (и самого красного угла нет), а выдвинут на середину, под шитой бордовой скатертью, и вкруг него гнутые стулья. Ещё — диван жёсткий, с изрезною спинкой, граммофон из угла трубу наставил, и подле него — кресло.

Плужников говорил: старое хвали, да со двора гони.

Зяблицкий и видел в таких, как Плужников, — вход в деревню для интеллигенции и для разумных идей. Он уже второй десяток лет служил то земским статистиком и экономистом, то вот кооператором, тем самым «третьим элементом», ненавистным правительству за революционерство, но и презренным для решительных революционеров за то, что избрали кочку «малых дел»: какие-то кредиты, погашенные или просроченные, какие-то товары, проданные или купленные без наживы, вскоре затем однако съеденные или изношенные, — разве могли рассматриваться как достойная альтернатива огромным всечеловеческим встряхам и перерождениям, мгновенному огненнокрылому спасению всего человечества сразу? И многие вожди общественного мнения, и пе-

редовые писатели тоже высмеивали увязчивость и бесперспективность скромного болотца «малых дел». Правда, были и такие старейшие революционеры, как Чайковский, кто верно учил, что интеллигенту нет другого доверчивого входа в деревню, как через мелкую кооперацию. И с упорством и мужеством устаивали земские интеллигенты между гонениями от правительства и презрением от передовой молодёжи, терпеливо гиулись и работали — чтобы в последние предвоенные годы со скромным торжеством дождаться уверенного роста и даже расцвета терпеливой своей деятельности, дождаться, чтоб увлечь сельчан. И часом награды для Зяблицкого было всегда — свои заветные мнения излагать вот таким развитым деревенским собеседникам, как эти. Плужников не остановился на кредитном товариществе, а зазывал в село зимами агрономических лекторов, а искал устроить прокатную станцию сельскохозяйственных машин и постоянный агрономический пункт. Вот в союзе с такими-то людьми, верил Зяблицкий, и можно преобразовать деревню, а значит и всю Россию.

— Но должен я возразить вам, Григорий Наумович, господа, что такие практические деятели, как вы, понимают кооперацию уже её истинного значения. Кооперация — это не только торговый механизм, не только средство произвести экономию, получить выгоду. Кооперация — это широкое движение, определяемое идеалами человека. Она прежде всего — сила воспитательная. Выборный кооператор — это как бы первый маленький народный министр. Народ дал ему указания — и народ же спросит с него отчёта. Кооперация приучает массы отвоёвывать свои правовые интересы в условиях неправового государства. Это — самодеятельный путь к свободе.

И — с надеждой оборачивал гладковолосую голову к ширококостной плужниковской, с чёрным бородяным окладом. А тот:

— Всегда я за кооперацию, кто ж, как не я. Но всю мужицкую Россию кооперацией не вытянуть, не та лошадка.

Ах, огорчался Зяблицкий, когда и с этой стороны руку его отталкивали. И горячей:

— Кооперация должна выдвинуть собственную крестьянскую интеллигенцию. Она должна перерабатывать привычки и личности, продолжать усилия народной школы. Это мысль нашего основоположника Роберта Оуэна. Всякий общественный строй имеет выбор укрепиться и держаться или на лучших людях общества, или на отребьи. Так вот кооперация должна помочь первому исходу...

Странный взгляд был у этого Бруякина — как будто не перекорный, а и — не смотрящий. Не раз такой взгляд встречал Зяблицкий у мужиков и отчаивался: не проглядишь их и не проймешь. А Плужников поднахмурился:

— Так-то оно так. А всё ж по первому нужна нам кооперация — от города застою иметь. А городские через неё лезут нас воспитывать. А мы — сами по себе. Мы — сами воспитаемся, как нам надо.

— Так — именно сами! сами! — пальцы тонкие пять на пять сложив и голосом уговорным Зяблицкий. — И я же это... А пока — как же вы можете отказываться от городской помощи?

— П о м о щ и? — волковато поглядел Плужников. И Бруякину: — Да нешто сроду когда мы видали от города помощь? А не обдираловку одну? Город — не друг нам. Город — в р а г!

И Бруякин со своим неперекорным, несмотрящим взглядом опять же оказывался согласен.

Зяблицкий так испугался, даже всплеснулся, откинулся:

— Григорий Наумович, да умоляю вас! Как вы можете так противопоставлять? Да вы почитайте газеты, посмотрите думские прения, что говорят на съездах Земгора...

И тяжёл как будто Плужников, а взбросчив. Без рук, одними ногами кресло из-под себя отодвинул, встал:

— Не ждёт Мартын
Чужих полтин,
Стоит Мартын
За свой алтын!

Приходит крестьянству своё слово сказать. Читал я ваши думские прения! Нам ваши споры, как надо министров назначать, — невнятны. Ваша Дума еле слышна самым грамотным и только раздражает. Нам бы вот — земство волостное, да! Газеты ваши, Земгор — читаю! Пишут: *обуздать* надо деревню, забогатела деревня, — вот что пишут, сукины сыны! Сунуть деревне твёрдые цены пониже!

Его тёмно-карие глазины горели под чубом, плечи развернулись, а кулак — как молот.

И — пошёл по просторной горнице, сапогами лаковыми скрипя, брюки-галифе, витым шнуром туго опоясан по жаркой шёлковой рубахе с вышивкой. На поворотах ладен. От окна:

— Забогатела? Да, у всех — бумажки, в кредитное товарищество вклады несут охотно, а полежат эти деньги — что на них потом подымешь? Разве хозяйство на них потом восстановишь? Забогатела? Полтора целковых за рожь? Два тридцать за пашеницу? А сапоги, — хлоп себя по голенищу, — до войны семь рублей стоили, а сейчас — четверть сотни? Стало быть, семнадцать пудов ржи?

Замкнутый Бруякин, согнувшись и сведя руки на коленях, сидел смирно.

А Плужников — от печи, от кафельной глади, с росту:

— Потому что город — совесть потерял! Или не имел её никогда. Кто первый начал? Город! Сахара кто не дал? Город! Тогда мы яйца придержали. Да хлеб в России — стал дешевле, он не в десять раз подорожал, как всё городское. Нас обдирают — и на нас же зубами лязгают?

Зяблицкий ворочался на стуле как на еже, вослед переходам Плужникова, упрашивая:

— Но Григорий Наумыч! Но нельзя же такие крайние выводы!.. Нельзя же говорить, что город деревне — враг!

Воротился Плужников к столу и кулаком легонечко пристукнул:

— Именно — враг! — И ваза призвенела. — Да вот вы, милый дружок, хороший человек, а приехали к нам тоже ведь насчёт хлебушка? — *запасы учесть?* Конечно, для земства, по-дружески, не для отобранья. А там губернатор приказ расклеит — отбирать, так вы и отбирать прикатите?

Зяблицкий взмолился:

— Да что вы, Григорий Наумыч, да что вы! Вы слишком ожесточились. Кто ж это осмелится — силою хлеб из амбаров отбирать?!

И правда, в голову даже невступно: кровнорощенный — и силой отымать? Да неужто мужики дадут?!

И этот хилой, нежный, шейка петушиная — ему ли хлеб у деревни отымать? Смешно.

И Плужников — ходом, уже от двери:

— А я скажу вам: армию мы, конечно, кормить согласны. А — город? да спекулянтов, да банки? — нет! не согласны! В русских городах ныне кого только не собралось — все западные губернии тут толкутся, ничего не робят — и всех корми, тамбовский мужик? Врёте! Вот поедете — передайте: хлеба мы так просто из рук не выпустим! Поймите: мужик, что рогатина, как упрётся — так и стоит. Армии мы хлеб конечно дадим, а Петербургу — не дадим!!!

Тут вошла Агаша — во всём праздничном, как в церкви была, лишь передник накинув, тоже цветистый чистенький, и в тех же литых галошах новеньких поверх туфель. Несла она полотняную скатерть, на стол накрывать, но и с известием:

— Евпатий Гаврилыч, сынок за тобой пришёл, кличет, гости к вам приехали.

Ну, значит, идти. Да он тут всё и молчал, как и нет его. А — за всем уследживал.

А у бабы своё соображенье:

— Коля, Коля, а поди-ка сюда! — позвала паренька из сеней.

Вошёл, стесняясь, 14-летний Коля, тёмно-русая голова вся в дыбистых завитках, для своего возраста крупен.

— Во кавалер хорош, и непричёсанный! — объявила Агаша. — А знаешь ты, Евпатий Гаврилыч, что он у тебя уже со взрослыми бабами спознался?

И Коля сразу залился краской, выдавая правду.

— Гляди, — одобрила Агаша, — всё же к стыду чулый.

А Евпатий посмотрел смышлёным быстрым взглядом на него, на неё, сказал только:

— Да ну?

Как и не доверяя. Но и не к спору.

Коля пылал, не отходил.

— А ты не доведомлен? — как обрадовалась Агаша, для баб слаще нет игры. — А пусть он тебе сам расскажет. Видели люди, как ходит.

— Ну, это исправить можно, — усмехнулся Бруякин. — К лавке лицом, по заду дубцом, вот тебе и под венцом.

Пошли.

Ну, бабы язвы! — напугался, рассердился Коля. И всё доглядят, подсмотрят, и на всё языки отточены. Уж так таились — как просочилось? Аж захолонул он, ждал, как отец сейчас обрушится, и уж не знал — отвираться или признаваться. Да хоть бы матке не говорил. Матка у Коли не родная, но лучше родной. Стыдно.

Но вышли — отец ни слова. Очень Коля удивился. Шли рядом, нога к ноге, — и ни слова. Или дома всё грянет? и правда дубцом? Ещё хуже. Теперь-то, после Маруси-солдатки, Коля Сатич переходил как бы во взрослые мужчины. Но против отца и против дубца — всё ещё был бессилен.

А отец — молчал, вот диво. Пронозистей того, что Агаша открыла, — и быть не может. А отец — не распахивал гнева.

У отца — своя думка была. Он ещё переверял своё решение — кончать торговлю. Это был — крушной поворот всей жизни, как бы измена и отцу, и себе, перебив родового дела. И ничто не показывало явно, что надо кончать: нестача товаров, того-другого? — наладится, как война кончится. Но какое-то внутреннее сжатие предупреждало Бруякина о неведомой тревоге, и даже так маячило, что ещё успеет ли он свернуться? Свернуться тоже нужен год, и два. А какие-то лучшие товары, не знающие порчи, оставить в запас на разживу, до доброго времени. Припрятать поглубже. И разговор с Плужниковым и даже с этим приезжим только убеждал его, неведомым образом, что жизнь — вся будет меняться, и прежняя вольная торговля кончилась.

А про мальчишку — да, это новость была ему, не знал. В четырнадцать лет? — рано. Но впрочем, узнавал в младшем сыне свою кровь (старший не таков, а отец, Гаврила, тоже был пристрастен, чинил бабам прялки, оттачивал веретёна — редко за деньги, а больше по любви). Имя Евпатий — и значило «чувствительный». Он и сам близ этого возраста стал шарить по бабам. И с той поры по последнюю — не переставал их любить, и при первой жене, и при второй, любил дарить им тайком красного товару, и не зря, любил свадьбы, ярмарочные балы, подпаивать женщин, сам спиртного ни капли не пил, и шутить с ними, пьяненькими. А Колька в четырнадцать? Здорово. Ну пусть, скорей мужиком станет, скорей и помощником, хотя уже и с десяти он боронил, жал, косил.

А Колька шёл, не чуя земли под подошвами — но и смелей: молчал отец!

Марусе-смуглянке двадцать два года, сама она с тамбовского Порохового, а вышла замуж в Каменку. От мужа её год были вести с войны, потом не стало. Знать, томилась, как все солдатки. И — сама наметила мальчика, и через подругу и подругиного парня — сама позвала. Могла ведь и старшего парня выбрать — а захотела его. И так впервые Коля Сатич опознался, что чем-то он особенный. Знать-то всё он знал с семи лет, с девочками играли в женитьбы, но только от Маруси — впервые отведал! Избёнка её была на краю села, к Савале, — и туда он пробирался к ней скрытно, выколачиваясь сердцем, — и полностью отдавался в её страстную власть. Она и раздеваться ему не давала самому, всё снимала сама и целовала, где хотела, и повелевала им, как только ей желательно, и без устали теребила, и всячески наслаждалась. Глаза её горели угольками, губы — кирпичного цвета, а в щеках — багровый румянец. Отесала мальчика и научила адским шалостям.

И стал Коля Сатич чувствовать себя взрослым. И хотя никто в селе не знал, вот первый раз прорвалось от Агаши, — а заметил он, что как будто и девки в нём что-то почуяли, — и он тоже теперь их как насквозь видел, и иначе себя с ними вёл, ласково. Замутилась его голова, и захотелось ему лихой, заблудной дороги. Как сказала ему Маруся, смеясь рассыпчато: «Ах, Коленька, это первое счастье, коли в глазах стыда нет. У тебя — тоже.» Уже очень ему досаждало, что отец всё слал его в земскую школу, и переростком. И никак он там не справлялся кончить науки.

И первое, чего он теперь добивался, — прильнуть к озорной компании парней, старше его на два и на четыре года, была такая, — во главе их Мишка Руль, первый дикий озорник, драчун и герой. Отец Руля пытался ещё драть его, но Мишка отбился: «Если ещё наскочишь — зарежу.» Чтобы войти в эту компанию, Коля уже воровал из отцовской лавки — папиросы ребятам, а другой товар менял на самогон и ставил парням бутылки. И с завистью и подобострастием слушал об их озорствах, уже учинённых или готовимых. Руль шутил надо всеми, кто ему замечал, или грозил укоротить. А теперь они издумывали, как бы разыграть, разъередить попа. Разинув рот, слушали парни рассказы Руля о его похождениях:

— А не помните, как у Мохея Лихванцева племенной жеребец срывался? А никто не знает, ведь это я. А зачем? А он много уставлять хотел по селу порядка, и решил я ему отомстить на его Липушке, а заодно и с Липушкой погреться.

Парни только ахали дерзости замысла: да как же всё умудрить?

— Подметил я, как они с Липой в баню пошли, уже смеркалось, покрался к нему во двор и жеребца на волю выпустил. А потом через дом стучу и его племяшке, Лушке: беги к дяде в баню, его жеребец в луга сорвался! А сам из-за кустов вблизи смотрю: оделся Мокей, побёг жеребца искать, ну это на два часа верных. Не торопясь вхожу в ихний предбанник, раздеваюсь, — Липушка за дверью плещется, думает, муж вернулся. Вхожу: «Это я, Руль, не бойся.» Плошка горит, увидела — ахнула, и на полок от меня карабкается: «Убирайся! я тебя кипятком оболью!» Я ей грожу: «Если плеснёшь — я твою голову сейчас в котёл суну, там и останешься!» — «Убирайся! Мокею скажу!» — «Когда уйду — говори. А пока — слезай сюда, Липушка, на пол.» — «Я тебя расцарапаю!» — «Да я тебя тогда раздеру!» И тащу её с полки, а мягкая, братцы! вот бабы мягкие бывают. Отбивается. «Если будешь барахтаться — я сам Мокею скажу, что это ты подговорила меня жеребца выпустить!» — «Ай, — стонет, — беда мне, пропала я, что ты наделал, изверг? Ну, грех — на тебе.» — «На мне, говорю, на мне.» И — распустилась, подалась.

Парни только завывали: ну, молодец! Ну, и нам бы так!

Колька изнывал от зависти, от лихости, от ревности.

А Руль поучал:

— Вот так, ребята, когда женитесь — своим бабам не верьте. Холостой всегда близ них поживится. Не стойкие они. И ведь — не сказала Мокею, нет.

46

В шитой рубахе и пузырчатых брюках, как офицерские, встретил Плужников Благодарёвых на переднем крыльце, пожал руку ещё раз отцу, ещё раз сыну, повёл в долгие сени. Тут они раздевались перед дверью в горницу, и сюда ж из избяной двери вышла им поклониться — Агафья бы Анастасьевна, коли б не попросту Агаша, не многим-то старше Катёны, на одни поседки с ней ходили. За ней и детишки из избы выглёдывали. Но хозяин приглашал гостей в горницу.

Там знакомили с приезжим гостем, городским, ручку мягкую бережно подавал:

— Анатоль Сергеич...

Благодарёвы пока на диван, Плужников к им кресло развернул, сел нога за ногу, и городской сел. А Агаша другою дверью, прямо из избы, носила на стол: забрякала блескавыми ложками, высыпала вилок с костяными чёрно-белыми ручками, городских ножей с посверком, расставила поставки́ тяжёлые глазированные, стакашки да рюмки, несла кувшины, графины и на вытянутом блюде зало́м, и кажись заливную стерлядь, и другое холодное, и помидорное, и грибы всех видов, сыр самоделковый, — как на дюжину человек. И уж кажется — едено, едено эти дни, некуда больше и толкать, а глаз между разговором всё замечает сам, и легчает беседа, распокладывает к хозяину.

Агаша — в праздничном голубом сарафане-суконнике с белыми тонкими рубашечными рукавами врасфуфыр. Туга, крепка, и в руках не перетончена. Ходит с подносами полными — спины не скривит, и не склонит головы с толстыми соломенными косами, закрученными вкруг лба, быстро ходит — а не спешит-семенит, быстро ходит — а в галошиках неслышно.

Плужников — приветливо и в открытую: де, таких молодцов, как Арсений, побольше бы нам в Каменку, война не бесконечная, а вот окончится — и все головы, и все руки, и весь тот нагляд, что в дальних странах добывается, — нам пригодится тут. Что, мол, после войны не прежняя жизнь и не по-старому пойдёт, а как после смертной болезни сдюжавший человек весь наскрозь новеет, и многое ему по-новому видится и по-новому он делает, — так и нам достанется.

Зорко смотрел на него Благодарёв-старший, такая у него поглядка зоркая, из-под пшеничных бровей, сроду: что на Байкале видел далёкий парус, что в поле за сто саженей мышь, а в комнате от избытка зрения прищуривался, чтоб лишнего не видеть. Или проглядывая, то́ ли человек думает, что говорит.

То. Основательно обмыслял Плужников жизнь, не только какую работу с утра зачинать. Думал он — за мір.

А — война как? — порасспросить хотел он Арсения. Деловито: с оружием как? со снарядами? правда ль, что теперь хватает всего? А — людей? Роты, батареи — полны ли?

Да переполнёхоньки. В пехотных окопах дюже и дюже толкаются, одной миной пятерых накрывает. Но, правда, нашего русского люда сильно повыбило, гонят на замен инородцев, иноверцев.

А что солдаты *думают*? О чём меж собой говорят?

О чём же говорят? Наши беседы и пересказывать ни к ляду: кто где дзвеча был при обстреле, при газах, как кого папануло; да про бабу

своё — не сбалует ли; да про хозяйство — как его там тянут без работников; да как лошадей немцы куют не по-нашенски; да как белорусы...

Правильно. Ну, а — обо *всей* войне? о мире? Есть ли мочь довоевать до концу?

Да вот, немцы в штабах одолеют. Каб измены у нас не было...

А — есть ли она?

Да так, природно рассудить, так может и нету. А больно уж обидно, ежели есть. Вот и на Гришку клепают.

На Гришку оба Благодарёва сердиты: ведь из мужиков, как же он-то? Вот так на нашего брата надейся. Пусти мужика наверх — захленётся тут же, своих забудет, и хуже всякого барина станет. Что ж, до такой выси добраться, саму, может, и царицу покрыл, — и за мужика не заступиться? Тут тебе твёрдые цены суют, тут гвоздя не достанешь, не то что косы, — а он там пирует-разливается?

— Да это всё бабий вздор, — отмахивался Плужников. Он до корня искал. Гришка-то Гришкой, но не согласен Григорий Наумович, что на мужика надёжи нет. *Только* на мужика! *именно* на него! Мужиков — только мужики сами и выручат, сами себя! — и пора к тому просыпаться.

В том месяце, в ноябре, какой-то, вишь, *съезд сельских хозяев* будет в Петербурге, так может хоть там какой прояснится толк.

А Григорий Наумыча туда не зовут?

— Да вот не знаю, жду. Из Тамбова билет сулили, пришлют ли.

Ну, и к столу! Каждому своя сторона, Арсений — супротив Плужникова, отец — супротив того гостёчка. Манер городской: перед каждым тарелка и большая, и малая, а ложки в яства на блюдах встромлены, значит смекай, где берег, где край, не черпай сразу к роту, а перегрузку делай на свою тарелку (то ж на то, лишь размазывать да студить), из отложенного ешь, а на новый раз приглашения жди — мол, берите, пожалуйста, что ж вы смотрите? Этот манер господский Арсений видал у офицеров, знал, а вот батька бы маху не дал. А ничего, батька как по льду пошёл: лишнего не подвинется, осторожкою, а глазами наперёд глядь, глядь. Однако забота как верёвками рот и голову вяжет.

А хозяин в руки — большой кувшин с сурёнкою, и полил, полил по поставкам — густую, коричневую, маслянистую брагу, и пошла брага в пену, только подхватывай.

— Ну, для почину выпить по чину. Агаша, ступай сюда! За нашего воина георгиевского! Чтобы славно довоёвывал да целый возвращался — к деткам, к жене, к родителям и к нам ко всем. Много повыбило — а молодцы нам нужны!

Поставки глухо устукиваются, по-гончарному. Не хлебная брага, медовая. Не пожалела Агаша трудов, за много дней готовила. Обопьёшься. И крепость ни-ча-во.

Агаша так и не присела — стоя выпила с сидящими мужиками и — поклонилась Арсению. Как старшему... А ведь равно гуляли когда-то. Во как война поворачивает.

Пошла-а брага по крови. И сил избыток, и почёта избыток, а куда эти руки, куда головы — сам Арсений ещё не понимает. Ну, куда-то-сь приснадобятся.

А городской гость, к столу-то сел, не перекрестясь, теперь на Благодарёвых смотрел через очки светленько и, перемежая с пустым ртом для речи, скусно так спрашивал:

— А как, господа, вы относитесь к кооперации?

Арсений помалкивал. Наворотили, наворотили на его молодой памяти — кооперация, мобилизация, тилигенция, революция, реквизиция, — только успевай продираться, как в еловом подсаде.

А отец — лучше тут натёртый, сразу и взялся:

— Да как? Гвозди до войны — два рубля за пуд, а теперь сорок? Ни бороны, ни плуга не починить, даже подковать нечем. Ось подмазать — нечем. А уж лобогрейку или веялку ни за какую цену не достать.

Приезжий выглядает как ребёнок, ещё не битый, не таканный, одного добра от жизни ждёт.

А Агаша сновала тихо — в избу к пече и назад, ещё стол подснарядить, инде на ходу приговорит кушать, а так чтобы мужскому разговору не мешать. А тут про цены услышала — и сорвалась, на городского, как он единый виноват:

— А сахар — полтора целковых за фунт, такое видано? Аршин ситца стоил 12 копеек, а щас 90! То и обидно, что городские вертят призвол цены, где-й-то там товары прячут.

Горяча Агашка. То мужней брови не пропустит движенья, то схватилась, её только выпусти, так и режет.

Посмеивается Плужников, как будто нравно ему. Чёрную бороду положил на крепкий свод рук и загудел, объясняя Арсению:

— Кооперация — это товарищество. И — кредитное, как у нас. И ссудо-сберегательное.

— Так-к... артель стало быть? — уяснял Арсений. Много сразу зацепить — быстро хорошо не бывает.

Городской — зубки белые кажет, и ещё сладчей и довольней, как бы и строгий взор Благодарёва-отца умягчить, да и сына вниманием не обходя:

— Артель, да, только — уездная, губернская, даже всероссийская. Григорий Наумович — попроще:

— Будь бы у нас сейчас сильная единая кооперация — знали бы мы, где закупить дёшево, хоть и в Нижнем, хоть и в Москве. И спекулянтам делать бы нечего. А каким товаром обменялись бы и артель с артелью, наша, Понзаря, Пановы Кусты. Артель может и военному ведомству прямо от себя поставлять — и уполномоченному тоже-ть-бы делать нечего. Артель может и запасы по своей местности учесть, чего уполномоченные никогда не добьются.

На *уполномоченных* отозвался Елисей Никифорович едва не стоном:

— В энту зиму скот забирали — так в самый тёл. И по глыбкому снегу отгоняли. И телился скот по дорогам. Зарезáли. А соли не досталo — и в оттепель туши погибли.

И с кем бы то говорить? противу кого спорить? С Плужниковым они высказывались не врозь, а зуёк этот несмышлёный — вовсе и не зарьялый, кусочками малыми всё режа да режа, ест, устёбывает, — по городам-то, грит, не разгуляешься. С него очки, сорочку крахмальную снять, обстричь по-нашему, по-деревенски, так и не мужик станет, а — парень хилой. И — не купец он городской, своего товару фабричного не готовляет, он кубыть с задушевностью сюда пришёл. Однако не за хлебцем ли заглёдывает?

Спорить нéпротив кого, а занялся Елисей Никифорович на разговор всем сердцем. Из груди так и выноснло, и Елисей смотрел грозно, остро, глазами слишком дальними для горницы, смотрел на городского вольными дальними глазами, поймёт ли:

— А начаё ж мы хлеб должны задаром отдавать? Болтуны городские ошатели, без ума уставили цены эти твёрдые, а мы — хлебушек отдай? Что деревня городу отдаёт — на то такса, а обратной таксы почему нет? Ежли скажете — война, и давайте нуметь по-братски, — а и что ж? Мы, мужики, не противляемся по-братски: берите хлеб хоть и весь без денег, но и нам же товары без денег дайте! Как покупали мы раньше: пуд железа за два пуда хлеба, косу за пуд хлеба, — так дайте! Твёрдые-не твёрдые, лишь бы нам спивушку гнуть не впустую! Крестьяне своё тягло потянут, пока ноги переступают. А этак ведь — печёнки отбиваются!

Отвык Арсений ото всяких этих цен, что почём — у него соображения не стало, из памяти вынесло: в армии всё достаётся бесплатно, и на побывке всё бесплатно. Что тут говорилось ими тремя, даже отцом родным, — сто всего он отбился. И туло его, и голова — там, на позиции, ещё сюда не вернулись, тут он — гость перекатный. Сидел да помалкивал, ел-наворачивал да молчал. А у мужиков-то надсажено.

А Агаша тихо сновала по гладкому, крепко сбитому полу, не пристукнув, не пришлёпнув, ещё поднесла пирог горячий с капустой и с яйцами, подкладывала, уносила опорожнённое, почти слова от неё больше не слышали.

А Плужников подливал кому браги, кому наливки, настойки, вот они стоят. Глазами меть на одного, меть на другого: так! так! А Елисей понёс как в гору рысак, грудь поднапрягши:

— Какие это деньга — бумажки в руках? Это — не богатства! Наши богатства — когда хлеб в амбаре, скот в хлеву и поля засеяны. А то вот весна накатит — обсеемся ли? Коли, не дай Бог, до весны в армию ещё призывать мужиков станут — так работать кому?

Городской до того разгорячился, есть-пить покинул, в пирожной корке вертит вилкою как сверлом, возражать желает.

А Агаша, как ходила без звуку, так теперь, не звукнув, стул приставила на тот бок, где сидит городской, места много он не занимает, — через угол от мужа, по правую руку его. И села достойно. Стакашек пригубила. И слушала.

И Плужников как раньше бровью не нахмурился ни на одно её движение, ни знаком её не осек, так и теперь присесту её не подивился: не проронила своего дела смышлёная баба — сиди и в мужской беседе. Своя жена — своя краса.

Поглядывал Арсений — и себе учился.

Когда Агашке было не боле восемнадцати, а уж тогда была фигурна и справна, — выцелил, выхватил её Плужников, незадолго возвороченный из Олонецкой губернии, прежде того овдовевший. Так что женился он лишь малость пораньше Сеньки, а превышал Агашу годков боле, чем на двадцать, и старшая дочка Плужникова от первой жены вышла замуж прежде Агаши. А сидели супруги вот рядом, и ростом под рост, и по всей одёржке, по всей осанке—не дочка ему, а полная жена, хоть на подпору, хоть и на замену. Плужников был мужик до того ядрёный и подхватистый — отчего ему с молодой женой не жить? — не сробеет. А каково на дому — таково самому.

Городской, может сам и неповинный, свой кусок пирога вовсе развертел, развалил, и вилку покинул:

— Нет, скажите вы мне, Григорий Наумыч, как же вы это представляете, что Петербургу хлеба не дадите? И почему именно Петербургу?

Агаша ему поросятинки, хренок подвинула.

Плужников подлил ему. И полегчил:

— Да это, конечно, только говорится — хлеба не дадим. Пока крестьянин всё на войну отдаёт, Анатоль Сергеич, сами знаете: Тамбовская губерния всегда вывозила с десятины по пятнадцать пудов, а сейчас — по двадцать пять, и кооперативы в этом помогли немало. А скота по нашему уезду взяли тридцать тысяч голов. Из четырёх голов брали пару, не разбирали, племенной или молочный. Это у нас не различали, а у помещиков племенной не трогают вовсе.

У городского — уже не такой горевой выгляд:

— Но это ж и правильно: лучшие экземпляры, лучшие породы...

— Правильно как будто. А вот пишут газеты: в нашем уезде граф Орлов-Давыдов, ещё и член вашей Государственной Думы...

— Н а ш е й, Григорий Наумыч, — жалобно гость упрашивает, — нашей с вами вместе...

— ...схоронил 240 голов скота, теперь открыли — и привлекли управляющего. Будто — граф не знал. Нет, уж если «всё для войны», так и давайте со всех, а что ж — с мужика да с мужика? Привыкли к нашему терпению.

Город! В городе, вот ездил Плужников, несодавна воротился, — молодых ещё сколько, толпа праздная! Заведующих, особо-уполномоченных — внатруску, и все от воинской повинности польгочены. Разве крестьяне слепые, не видят? И все эти рты безнадобные кормят. По базарам военнопленные тягаются — вереницами, вот бы в поле поработали славно! Так помещикам ещё присылают их в помощь, а нам разве когда? — редким бабам одиноким, у кого пятеро детей. Да в трактире, вон, бегает один. И в городе за работу деньги шальные стали платить, чернорабочий — пятёрку в день выколачивает, так стали и наши девки в город ухлёстывать. Всякий легче желает...

И опять Елисей:

— Скот, лошадей сдаём, упряжь, повозки — и всё ниже цены. И на нас подводную повинность кладут опять. Нет, неравно разложено. Деревню облупают, а в город тащат.

И Плужников опять:

— Дума ваша не кололась бы на левых да на правых, не искали б, как друг друга шпынять да переголосовать, а каждый депутат — будь себе от своей одной местности, и как твоя местность велит, какую нужду ты своими глазами видал — вот ту и говори. А на партии разделяться, да всё для своей партии тянуть — это только Россию разделять, людей морочить.

Во-как? А сам-то раньше не в е-серах был? В одном перье всю жизнь не переходишь. Елисей наслушался, да и от себя:

— Дума должна царю помогать. А царь жизнь устраивает.

И ещё Плужников:

— От такой Думы мы, мужики, правды не дождёмся. Да и вообще от Города правды не дождёмся.

Загоревал-загоревал, просто поник Зяблицкий. Загоревал, будто жена у него сбежала. Голову свесил, рукою подпёр, как бы очки не свалились. А может схмелел: брага-то наша крепкая, а в городе сей день не разопьёшься.

— А где же — ваша правда? — тонко так.

Плужников, костью широкий, а и мяса не мало, и пил, как не пил ни глотка, трезво и твёрдо глядит, глазища сочные, борода смоляная — однако и не цыган, много таких танбовских.

— Вот именно: где ж наша мужицкая правда?? Немало я об том думал. Волость наша? — она не наша. Волостной старшина — не вожак наш, а только знает приказы исполнять — урядника, станового, исправника. С него да с волостного правления начальство лишь требует да требует. Об том и писарские перья скрипят, за что им платят, кстати, грош. И куда ж наши волостные и земские сборы ухают? И на волостные сходы сгоняют нас не для нашего какого кровного дела, а — для ихнего, нам подчас и неухватного. Не допущены мы ни до какого распоряжения. Стоим да переминаемся, не так ли, Елисей Никифорыч?

— Так, так, — остро глядел, одобрял Благодарёв-старший.

А может Плужников к этому съезду сельских хозяев думы свои просвежал:

— Земство? Так разве ж это наше земство, если наши выборные — только кандидаты, на милостивый отбор земского начальника. Да на ту же команду во время войны и земство потянуло. Что они нам из уезда шлют? — только наряды: на скот, на лошадей, на подводы. И вы вот, Анатоль Сергеич, вам не в укор, вы хороший человек и к нам сочувственны, я знаю — сроду вы хлебом не занимались, а разогнали вас всех на хлеб, запасы учитывать, так?..

У городского гостя очёчки вот спадут, смотреть не может.

— А земства волостного, чтоб не господа, а сами мы сбирались да решали, как вот в кредитном обществе, как в кооперации, — такого нам не дозволят. А дозволят — так вывернут навродь волостного правления, не вольней.

— Всю жисть воли нет! — только махнул рукой Елисей

Как вывалил из груди за всю-то, всю-то жизнь — вот это малое слово.

Переждал Плужников, глазами обводя. Агаша вмиг подхватилась: может, надо что? упустила?

Нет. Легонько ласково руку на руку ей положил на миг.

Так и взялась Агаша румянцем, открытой мужней лаской горда. И головой подвозвысилась, а и хочет показать, что ни в чём не бывало.

— Община? — отряхнулся Плужников бычьей головой. — Так и полста лет её ладили, поворачивали, нет. Не та телега, чтоб от ноне да ещё на тысячу вёрст. Спасибо, Столыпин вызволил. Так — враз его убили. Кто? За что? Поди найди, там их целая сплотка, видать, была. Нашу жизнь он поднял, а помещиков лишил дешёвой силы — вот и убили. А царя Освободителя кто убил? Крестьяне никак не могли. А помещики — опять же даровой силы лишил, да менять своих рабов на гончих. Вот так, и город нам враг, и помещик нам враг.

И Елисей — со строгой вескостью:

— Благую царёву волю — извращают. Не исполняют.

Не гоголем Плужников, подпёр тяжкую голову обеими руками:

— Падает духом деревня. Мужиков наших на фронте бьют да бьют. Забивают нас мобилизации, реквизиции, твёрдые цены. Город там — свои съезды устраивает, совещания, комитеты, партии, — а у деревни ничего такого нет. И кто ж о нас подумает? Анатоль Сергеич вот, с друзьями? Не обижайтесь, Анатоль Сергеич, только сил у вас — гораздо немного, чтобы нас потянуть.

— Так ведь вот, так ведь вот, Григорий Наумович, господа, — Зяблицкий кживу ворачивался, и в улыбке поправился, и на каждого, и на каждого смотрел, как в гости приглашал, и на Арсения, даже и на Агашу: — Так ведь мы уже с вами достигли согласия, как много поможет вашей жизни кооперация.

— Да эт не то, — отвёл Плужников. — От кооперации мы не отказываемся, зачем же? Ещё будем после войны артелью дорогие машины покупать, не избежать, серпом да цепом дальше не обойдёшься. После войны рабочие руки уже никогда не будут так свободны, как прежде.

Вот эт Елисею Благодарёву не так в голову ложится: почему уж после войны круто всё переменится? Помним войны — не менялось.

— От турецкой, конечно, не менялось. А уж от японской — ой переменилось, разве деревню за десять лет узнать? Сколько земли докупили? Сколько настроились? Оделись как?

Оно верно.

— А после этой войны — ещё круче повернётся. Такой войны Россия сколько стояла — не вела. Я ж говорю: как от смертной болезни встанет государство другим. И нам — смышлять надо, и к тому готовиться.

И — на Арсения устависто поглядел.

Да в том — Арсений себя лишним не чувствовал. Ноги от хмеля отеплели, ослабели, а при руках — силушка вся. На что-й-то и я тут пригожусь, надоть учиться слушать да понимать.

Плужников выпрямился в стуле, дёрнул рубаху ко спине под жгутовым поясом. Был он на столько же моложе Благодарёва отца, на сколько старше сына, как раз посереди, что говорится — середовой мужик: и ума от жизни уже набрался, и сил ещё не теривал.

— А что такое есть наше крестьянское сословие? Как его содержат? Чуть кто возвысится через образование или служебную выслугу —

переводится в личного почётного гражданина, но и — потерял право на надел, и из крестьянства ушёл. Каждого, кто чего добьётся, — мы теряем. А кто лишён прав состояния и по отбытии уголовного наказания — того включают к нам. Чтобы получалось из нас — быдло. И мы несём повинности, на других не разложенные. И подчиняемся особым отдельным властям. Через земских начальников — опять же дворянам. — И подбоченился, крепок, да взятист, да умён. — Волю ту, говорят, нам пятьдесят лет назад дали, — а что ж мы её не берём??

Вдруг Елисей пробаснул, прокашлянулся, как и сын никогда не слышал:

— Брал. Не далась.

Когда ж эт ты, батя, я не знаю?..

Вживе на него Плужников метнул:

— И надо — брать. Как денег никому насильно в руки не сучат — так и воли. Была бы честь предложена. Подмоги нам не подступит. Ни от Петербурга, ни от Москвы. Ни от города, ни от помещика. Ни от эсеров. Потому что эсеры, как к мужику ни подлаживайся, а мысли у них не мужицкие, только в тон поют. А мы? А мы всё дремлем, ждём распоряжений от начальства. А они нам — бумаги да бумаги шлют. И никто не крикнет: Э-э-эй, Россия! — взял Плужников голосину, в горнице не поместилось, а стены бы не держи, так и до Князева леса, — берись сама-а-а!!

У Агаши губы раскрылись, зубы жемчужные, загляделась на мужа.

Зяблицкий сперва откинулся даже, испугаешься этакого рёву. Но Плужников — ничего дале. И Зяблицкий набрался перёку:

— Оч-чень, оч-чень вы меня огорчили сегодня, Григорий Наумович. Дума вам не нравится. Земгор не нравится. И партии. И кооперация слаба. Критиковать всегда легко. А что вы можете предложить положительного?

Плужников голосом больше не баловал. Руки в боки, пальцы за поясом, сказал:

— Ясно одно: чиновники, начальники, город, рабочие — пусть себе сами, как хотят. Равноправия мы нхнего не ищем, не спрашиваем, и они нас тоже пускай покинут...

Эх, бабья доля! — и вникнуть охота, и на столе замерло: отъедено, отпито, дальше не идёт, надо на чай менять. Поднялась, смекнула, что схватить, унесла.

— ...А вот по округе нашей кто живёт — те и возьмём в руки свои. И будем сами по себе. Волость? — сама управится. Уезд? — без города уездного, сам! И даже по губернии, без городов, — отчего б не иметь крестьянскую власть? Жить по себе, а город как хочет, мы не мешаемся. Почему ж не сами собой мы должны управлять, а кто-то нами? Кому власть и рассуждение? Кому хошь, только не крестьянам. Что ж мы — пеньки лесные вовсе? Грибы в деревне растут, а их и в городе знают!

Очами сочными лучил.

Эх, леший бы тя облобачил, во как задумал! — и наш деревенский.

А Елисей Никифорович зорко, строго смотрел, а не рассиялся. Прямо, ровно в стуле сидел — и ни слова.

А Зяблицкий повеселел, и ручкой маленькой замахал, и так это завыстилал, довольный:

— Вот у вас и типичная крестьянская утопия! Ей — пятьсот лет, и нигде никогда, ни в Европе, ни в Азии, она не осуществилась. Ну, подумайте сами, Григорий Наумович, — как это вы мыслите себе организационно? В рамках современного государства, при единстве государственных задач, хотя б вот войны с внешними врагами, при единой экономике, административной и транспортной системе, — какая может быть отдельная крестьянская власть? У-топия, вы понимаете?

— Какая — это пока неведомо, — отряхнул головой Плужников, жалости не принимая. — Какая — думать надо. Такой большой стране — многостройство нужно. Средь того многостройства уместится и крестьянское самоуправление.

Вот в это упёрся. И — верно. Что ж мы, пеньки?.. Это Арсений понимал чутко. Из того что-то будет, гле-ко-сь пробьётся?

Но отец никак не радовался. Поглядел на хозяина хмуровато. А тот ещё:

— Да мы и теперь не обезлюдели, у нас ещё сил и о такую войну — сколько у нас ещё мужиков с головой и руками? — хоть сейчас на руссуд, на совет собирай! Крыжников Парамон. Фролагин Аксён. Да Кузьма Ополовников. Да Мокей Лихванцев. А, Елисей Никифорович?

Арсений уж заметил по батьке, что ему — не в лад, не так. Но ни выскочить, ни дёрнуться отец никогда не спешил. И — степенно, головою стойкой не крутя:

— Средь нашего брата тоже дураков не мало. Среди господ есть — так и средь нас? А когда в Девятьсот Пятом году помещиков грабили, — ведь и по двадцать десятин сверх надела кто имел — и всё равно грабили. У Давыдова и щас, кому не совестно, самоволкою берут дрова, сено. На его лугах скот пасём. Он не ограждается — так мы и на голову? Нашему брату волю дай — ого-го-го-о!..

И ещё подумав, и Плужников не успел отозваться, Елисей присудил гулковато:

— Зашаталась вера у людей, вот что. Управлением не поправишь.

А гостёк городской до своего добирается:

— Ну хорошо, допустим, формы будут найдены. А какими *путями* вы предполагали бы это достичь?

Плужников, всё руки в боки:

— Путями? Да бомбы под губернаторов подкладывать не будем. Нет. Путями? Кому это открыто вперёд, тот выше людей. А как-то оно, смотришь, и само повернётся, только тогда момент не упускать.

А Агаша тем временем уже и самовар принесла, и плюшки сдобные и хворосты, и разливала по стаканам наваристый тёмный чай.

А Зяблицкий всё веселел:

— На таких надеждах нельзя строить реальных расчётов. Путей реальных — вы не имеете, Григорий Наумыч. И я рад, что это — не бомбы. И обернитесь вы к первому пути — живой кооперативной деятельности, в самом расширительном смысле!

Кстати было чайку попить, рыбку да убоинку залить, и сахар стоял на столе, колотый крепкий рафинад, и печево всякое. Но постучали с крыльца.

Сходила Агаша, воротилась и вполголоса:

— Панюшкин, писарь. К тебе.

Замялся Плужников. Выйти?

— Ну что ж, зови.

Вошёл Семён Панюшкин — без верхнего, в плисовом коротком пиджачке, чистый, подобранный, как всегда. До волостного писаря своими стараньями, ничьими, за много лет поднялся: летом — скотину пас, зимой учился. За разумливость — возвышен.

А ростом и телом — с Зяблицкого. Волосы — примажены, приглажены, скромен, начальника из себя не дмит. Поклонился. С праздничком. Его — к столу. Замялся. Видать, хотел с Григорием Наумовичем наособицу.

— А что, секрет? — готов был Плужников и в избу перейти.

Вздохнул писарь, хранитель тайн, первый их сообщник.

— Да нет, какой уж. Всё равно объявлять. Но вам — хотел первому.

Никакой Плужников не начальник. Но — *батька*. И пришёл писарь ему доложить первому. По уважению.

Усадили его, чаю ему внакладку, плюшку слоисгую.

Долго не тянул, открыл — из внутреннего кармана бумагу вынул. Только что привезли.

Указом от 23 октября объявляется призыв ратников второго разряда в возрасте от 37 до 40 лет, и всех пропущенных предыдущими призывами. И первый день призыва — завтра, 25 октября.

Во-о-о ка-ак!.. Да круто ка-ак!

Сегодня-то уже день к концу, выгулянный. Ещё час-другой, и опустится на деревню тьма спасённая. И хоть заголосят по избам, и долго не будут гасить, кто керосиновую лампу, кто слепушок, кто жирник, — а до утра уже никого не тронут, до утра — ещё не загружать черезплечные белые сумки с продуктами, не запрягать — с провожатыми бабами в Сампур, к воинскому начальнику. Ночь — наша. Ещё одну ночку горевую с жёнкой переспать. Да ей — не спать, ей — ту сумку шить. Ночь — наша, однако печь растевать? Да нет, у всех напечено.

Вот как она входит, война, — клином железным и прямо в грудь. Третий год идёт — и как-то уже вместилась в жизнь, вроде и устоялась. Кого убили — те убиты и уже схоронены. Вот вроде и праздники гуляли, прибасни, гармонь, — а развернётся бумага из писарского кармана — да на всю улицу!

Вот уж и начала свой развёрт, у Плужникова на столе.

Кого же?

По сорок лет отшибают, самый сок мужичий. С сорока одного пока не трогают.

Стал Плужников прочитывать имена. Какие быстрей, какие обмышляя. Написаны-то были имя-отчество-фамилия да год, а вокруг проступало: кто ж у него в семье останется? сколько детей? да как с хозяйством?

Чисто брил воинский начальник — мельника забирал! Мельника, вот тебе. А кто ж его заменит? Что же, жернова останавливать? Ведь это наука.

Афоньку Пинюгая берут. Для Каменки не так потеря велика, а всё же: тресту конопельную ему сдавали, и заботы нет — верёвки он тростит, а там разочтёмся. А теперь — каждому самому? Не займёшься.

Па-шёл и Нисифор Стремоух! Не усидел.

А Шныру? Кубыть возраста они одного. И Шныру берут, да.

А Дербу? Дербу — нет, перед ним год обрезан.

Но вот что — кузнеца берут! Кузьму Ополовникова!!

— Да что! — из Елисея вырвалось как огнём. — Ума у них нет?

— По возрасту.

— Дык не один же возраст соразмеривать, кошки в дубошки! Плуги-ти кто ж нам направит? Коней ковать — кто? Что ж нам, всем селом? Думают они?

До того эта дурость вздербила Елисея — встал. И заходил по горнице. Ну, что вот делать? Отдавать Кузьму Ополовникова — кажется, как сына родного. (Да он и родня был, Домахе троюродный.)

— Сенька! — закричал, кубыть тот виноватый. — Ты ж говорил, у вас народу полно?

— Да плечо о плечо в окопах сидят.

— И кузнецы?

— И кузнецов в бригаде хватает. Можем одного вам.

Их с Катёною кровать, спинки во многих завитках изощрённых, тем Кузьмою и кована, не покупная, как вот у Плужниковых, хоть и вшестером ложись и хоть медведь пляши. Этот Кузьма, по прозвищу Стукоток, весёлый да работной, повсегда в щетине, вчера за столом сидели рядом — редкий случай, щека чистая. Подсмеивался над ним Сенька, что надо бы воевать, — а без мысли той, без зависти.

Да никому Сенька не завидовал, кто войны избёг. Переменок тут всё равно не устроишь, всем идти — легче не будет, а уж кому выпало. Кузнеца — как не жаль? Кузнец — первейший, не у всех такой.

— А Лыву так и не берут?

Лыву — нет, не берут.

Лыва — Вася Таракин, моложе Арсения, и на действительную идти ему выходило как раз в Четырнадцатом году. А тут война. В первый же новобранческий призыв его и позвали. Пошёл он со всеми, но ближе месяца назад воротился. Что так? Ослобонили, нуметь. Да что ж, у тебя рук-ног нет? какая хворь? Никакая. Сказал я, что людей убивать не буду.

Вот тебе!.. Коли б его по мирному времени призвали и он бы отрёкся тогда — было более б с делом схоже. А то до войны молчал, не казался, а когда всем на войну — он в сторону. Не понравилось это Каменке. Не по-мирски: все идут — и ты иди, чем ты особенный? До того времени ничего дурного за Васькой Таракиным не замечали: старшим он был из шести детей, в 14 его лет умер отец, стал Васька и землю пахать и портяжить, вослед за отцом. Потом сестра подросла — мужа в дом взяла, и как уже кормильца не единственного — призвали Ваську. Конечно, в сочувствие можно войти, много ртов, — так и у всех немало, так и никому на войну расположения нет, но уж коль всех, так всех, — а чем ты выкрасовываешься? А он, вишь, с портняжеством прихватил — книжки читать, малые такие, по две-по три копейки. И вот, говорит, граф Толстой открыл мне глаза на идею Иисуса Христа. Все мы живём по воле Отца нашей жизни, и кроме Его никто лишить жизни не смеет.

Так и устроился Лыва — не пошёл на войну. И ещё дважды его призывали — и каждый раз ворочался вскорости. Так-то можно примоститься блаженненько, войну пересидеть, это б каждый мог!.. «Тогда ведь и поросёнка заколоть нельзя? и барана? Тоже-ть живое, от Отца нашей жизни», — ему дед Баюня. Признал Васька, перестал скотину колоть и мясо есть. Ну да зять егонный колет, семья не без мяса.

А теперь во как: и вовсе даже Лыву не призывали. На покой покинули.

Помрачился Плужников над списком, отняться не мог. Кого он тут называл давеча — Парамона ли Крыжникова, Кузьму Ополовникова да Мокея Лихванцева — силу деревни заметали вот. Недалёк уж был и он сам до метёлки, лишь несколько годов оставалось, ещё один такой набор. И кому же было — *волю* крестьянскую брать? через кого деревне на ноги становиться? Уносили в зубах как волки ягнят, и сколько ещё придут, через полгода или через месяц, и кого ни выхватят — отдай, Каменка!

И — некому крикнуть, что не разумно до такого края деревню испивать. Сходы собирать? депутатов слать к становому? Чем могла деревня противиться? где себя выявить?..

А Елисей с сыном — про родственников домахиных и дальних, и из соседних деревень, смекали — кого захватывают. Не чаи было распивать — идти домой, оборвался праздник.

А писарь Семён ещё подбавил, писарь ведь больше бумаг, наперёд знает: на днях, мол, будет указ о призыве 98-го года рождения. Брать будут к весне, а распубликуют ноне.

Это что ж, и до девятнадцати годков не допустят, ране того?

Этак что ж — и Зиновея Скоропаса?

И Тевондина Лёксу?

Эких какнх!

Ну, и Мишку Руля, стало быть. Пусть повоюет.

Уходить пора.

Агаша:

— Елисей Никифорыч! Сеня! Чайку же! Чайку!

Отец ей:

— Благодарим, Агаша, славно угощала. Но знаешь, гостей ко времени проводить — как с поля убраться.

Оборвался праздник.

За то время, что сидели они у Плужникова, — и схолодало, и притемнело, и ветер покрепчал. Посерёд улицы развороченную грязь густило, подмораживало, а утолоченные тропы вдоль домов и вовсе схватило. И пыль, и мелкие камушки ветер подхватывал, нёс, швырял, заметал вдоль села.

И сказал Елисей о хозяине:

— Нужный мужик. Однако, Сенька, вот замечай: в которой посудине дёготь бывал — уже и огнём не выжжешь.

Там и сям калитки, двери хлопали от ветра сильней. Или — люди бегали из дому в дом, новость несли — и от того крепче стукали.

Дурная весть на месте не лежит и не сочится помалу — так и несёт её по деревне, как этим ветром. Хоть двум, хоть одному шепнул же что Семён ещё до Плужникова — вот и понесло, и избы знают уже, и где-то воют уже. А где ещё только угадывают — нашего как?

Завтра это всё прорвётся, и задвижется, и потянется по почтовому тракту в Сампур, под бабье голошенье, под песни достопротяжные, да под скрип колёс.

Нету жизни. Не дают устояться.

Такая погода — тучно, заморозно, да с ветром заметающим — ко снегу бывает.

— Ежели ляжет снег на мёрзлую землю — в луга поедем, Сенька.

~~~~~~

Собирай-ко-тесь, ребята,
Кто к военной службе гож!
Зададим мы немцу перцу,
Пропадёт он ни за грош!

(«Биржевые Ведомости»)

47

С кем угодно можно установить прочную тайную связь, никогда не встречаясь прямо, если составить цепочку из постоянных посредников — двух, а лучше трёх. Твой посредник встречается кроме тебя ещё с двадцатью человеками, и только один из них — следующий в цепи; тот встречается ещё с двадцатью — уже четыреста возможностей, это проследить не может никакая полиция и никакой Бурцев.

У сверхосторожного Ленина существовало таких несколько линий.

Прошлым летом, после встречи с Парвусом в Берне, Ленин отпустил к нему Ганецкого в Скандинавию — директором его торгово-революционной конторы. Так развернул своё коммерческое призвание неутомимый изыскливый Ганецкий, и так установилась прямая неостывающая связь с Парвусом. Однако провисла линия между Копенгагеном и Цюрихом — и посредником определили Скларца, берлинского коммерсанта, тоже пайщика парвусовской конторы, который свободно мог ездить и в Данию, и в Швейцарию. Но условлено было, что когда приедет в Цюрих, всё по тому же правилу промежуточных звеньев он не должен встречаться с Лениным сам, а здесь подошлёт Дору Долину, подружку Бронского. И то, что вот пришёл прямо на

квартиру сам, значило или нарушение конспиративной дисциплины, или чрезвычайные обстоятельства.

Как же некстати! Не только — сил, но даже не было ясного соображения в голове, но даже перебои в груди. И отказывать поздно: уже всё равно пришёл, видели его на улице, на лестнице, в квартире.

Навстречу Скларцу подняться надо было не с кровати, надо было ослабевшими ногами подать вверх одуплевшее тело, как будто через целый колодец, — туда, наверх. И лишь там высунутой головой увидеть этого маленького энергичного еврея из юго-западных.

Однако с большим самозначением, всё богаче одетого, и пальто такое, и шляпа (на единственный обеденно-письменный стол положил, нахал, а впрочем куда её деть тут?), и в руке — коммивояжерский лёгкий баул из кожи крокодиловой или бегемотовой, как её.

Спасибо хоть без этих церемонийных немецких «Wie geht's?», без натянутой улыбки радости от встречи. Деловито поклонился, протянул маленькую ручку с важностью. Огляделся насчёт безопасности, свидетелей. А уже — и Надя вышла, никого.

Почему же всё-таки — прямо, сам?

А — вот. Из глубокого внутреннего кармана — конверт.

Богатой, бледнозеленой бумаги, с гербом продавленным. И толстый, пузатый.

Как не стесняется Парвус и в мелочах показывать богатство! Вот — конверт. А приезжал в Цюрих — останавливался в самом дорогом «Бор-о-ляке». В Берне по дешёвой студенческой столовой (обед — 65 раппенов) шёл, ища Ленина, и пыхал самой дорогой сигарой.

И с этим человеком начинали когда-то в Мюнхене «Искру»!..

Ну так что, что письмо? Нельзя было через Дору? Эти визиты-мелькания приходится объяснять товарищам.

Скларц даже удивляется, как это плохо воспитан господин Ульянов. *Дела* — так не делаются. Сказано: уничтожить, не уходя.

И показывает пальцем: мол, чирк — и к конверту.

Удивил! Мы иначе и не делаем. Уж мы-то в жизни сожгли!..

Значит, читать. Ситуация для подпольщика привычная. Ленин и сам должен обеспечить, чтобы его ответное письмо не сохранилось после прочтения. Такой один клочок бумажки может быть смертелен для целой жизни политического деятеля.

Ни ножа, ни ножниц под рукой, стол голый. А Надя на кухне. Оторвав уголок, Ленин всунул толстый указательный и повёл как разрезным ножом. Рвалось с лохматыми закраинами в одну и в другую сторону, как собака зубами, — и чёрт с вами, вот так вашему богатству! Насколько приятней держать в руках самый дешёвый конверт, писать — на самой дешёвой бумаге.

Вынул. Оттого и толстый, что бумага — еще богаче и толще. И написано — с размашистыми прописными буквами, разведенными строчками, да с одной стороны. Вот так-то дела и не делаются. Уже забыл, как «Искру» посылали в Россию — на сверхтонкой бумаге.

Внимание. Стянуть нервы, прояснеть головой (так и не ел ничего после утреннего чая). Вникнуть.

Скларц — не хочет мешать, нет, он не развязен. Не болтая, пальто не снимая, идёт к тому стулу у окна. И только шляпу мягкую серую, с фигурно продавленной тульей, оставил на столе.

Да свой баул не донёс до окна, опустил посередине комнаты на пол.

Вежливо-то вежливо, но в пасмурный день как раз и читать бы там, у окна. А Скларц уже занял тот стул, достал из кармана мятый иллюстрированный журнал, развернул важно.

А тут, что ж, лампу зажечь? Спичек не видно. И Надя на кухне.

Ба, лампа уже горит! Сбоку шляпы — стоит и горит малым прикрученным фитилём. Надя? Как будто не зажигала. Разве когда чиркнул Скларц? Так он же... ? Странно.
~~~~~~

Толстая веленевая бумага с гербами. А всего — три страницы. И — строчка на четвёртой, пустая четвёртая.

И ничего не было особенного — враждебного, властного или наглого, в почерке Парвуса, и вполне безлична подпись — «д-р Гельфанд».

Но из письма как током била в горячеющие руки, вливалась а жилы, сплескивалась с ленинской кровью и боролась с ней бегемотская кровь Парвуса. Дальше локтей не пуская её, Ленин обронил письмо на стол, как тяжёлое. И сам опустился на кровать, еле держась.

За двадцать лет своей жизни-борьбы переиспытал Ленин все виды противников — высокомерно-ироничных, язвительных, хитрых, подлых, упорных, стойких, уж там не считая риторично-захлёбчивых, дон-кихотствующих, вялых, ненаходчивых, слезливых и всякого дерьма. И с некоторыми возился по многу лет, и не всех сбил с ног, не всех уложил наповал, но всегда ощущал неизмеримое превосходство своего ясного видения обстановки, своей хватки и способности в конце концов перевалить любого.

И только перед этим одним не ощущал уверенности. Не знал, устоял ли бы против него как против врага.

А Парвус и не был противником почти ни дня, он был естественным союзником, он много раз за жизнь предлагал, навязывал, настаивал себя в союзники, и год назад особенно, и вот, конечно, сейчас.

Но и союза этого почти никогда Ленин принять не мог.

Читал. Ходили глаза по строчкам, но почему-то смысл никак не вкладывался в голову. Плохое состояние.

Всех социал-демократов мира знал Ленин или каким ключом отомкнуть, или на какую полку поставить — только Парвус не отмыкался, не ставился, а дорогу загораживал. Парвус не укладывался ни в какую классификацию. Он никогда не был ни в большевиках, ни в меньшевиках (и даже наивно пытался мирить их). Он был русский революционер, но в девятнадцать лет приехал в Европу из Одессы — и сразу избрал западный путь, стать чисто-западным социалистом, в Россию уже не возвращаясь, и шутил: «Ищу родину там, где можно приобрести её за небольшие деньги». Однако за небольшие он её не приобрёл, и 25 лет проболтался по Европе Агасфером, нигде не получив гражданства. И только в этом году получил германское — но слишком большой ценой.

Случайно скосились глаза на скларцев баул — тяжёлый, набитый, как он его таскает? Сам маленький, зачем?

А вот что, света мало, потому и не читается. Подвинул лампу к самому письму.

Тут в конце два отдельных пункта ясны. Две жалобы. Одна — на Бухарина-Пятакова за их чересчур усердное следствие о немецкой сети в Швеции, нельзя же распускать дураков-мальчишек, надо сдерживать. И вторая — на Шляпникова: очень своеволен, сотрудничать не хочет, отбивается, а в Петербурге нашим силам нужно единство. Пусть не отвергает наших представителей, напишите ему.

Он назвался Parvus — малый, но был неоспоримо крупен, стал — из первых публицистов германской социал-демократии (был работоспособен не меньше Ленина). Он писал блестящие марксистские статьи, вызывая восторг Бебеля, Каутского, Либкнехта, Розы и Ленина (как он громил Бернштейна!), и подчинил себе молодого Троцкого. Вдруг — покидал свои газеты, завоёванные публицистические посты, уезжал, бежал, то начинал торговать пьесами Горького (и обокрал его), то опускался в ничтожество. У него был острый дальний взгляд, он первый, ещё в XIX веке, начал борьбу за 8-часовой рабочий день, провозгласил всеобщую стачку как главный метод борьбы пролетариата, — но едва предложения его превращались в движения, находили сторонников — он не организовывал их, а отлипал, отпадал: он умел быть только первым и единственным на своём пути.

Всё письмо прочёл до конца, а не воспринял даже, на каком оно языке — на немецком или на русском? На обоих, фразы — так, фразы — так. Где на русском — с орфографическими ошибками.

И многое в Парвусе противоречило. Отчаянный революционер, не дрожала рука разваливать империи, — и страстный торговец, дрожала рука отсчитывать деньги. Ходил в обуви рваной, протёртых брюках, но ещё в Мюнхене в 901-м, когда Ленин скрывался у него на квартире беспаспортным, твердил: надо разбогатеть! деньги — это величайшая сила! Ещё в Одессе при Александре III сформулировал задачу, что освобождение евреев в России возможно только свержением царской власти, — и уехал на Запад, лишь раз возвращался нелегально, спутником немецкого врача, напечатал: «Голодающая Россия, путевые впечатления». А сам между тем разбросал по России всю будущую сеть им же придуманной «Искры». И как будто же ушёл в германскую социал-демократию. Но едва началась японская война, почти не замеченная в женевской эмиграции, — Парвус первый объявил: «Кровавая заря великих событий!»

Света мало. Фитиль выкручивал — а он только калился и коптил. А-а, пустая, керосина нет, не налила.

И в том же 904-м предсказал: промышленные государства дойдут до *мировой* войны! Парвус всегда выскакивал, — нет, по грузности тела его выступал, — предсказать раньше всех и дальше всех. Иногда очень верно, как то, что промышленность взорвёт национальные границы. Или: что в будущем неразлучны станут война — и революция, а война мировая — и революция мировая. И об империализме он, по сути, успел сказать всё раньше Ленина. А иногда — чушь какую-нибудь: что вся Европа ослабнет и зажмётся в тисках между сверхдержавами Америкой и Россией: что Россия — новая Америка, ей только не хватает школ и свободы. То, пренебрегая самой сутью марксизма, предлагал не национализировать частную промышленность, будто окажется это невыгодно. Или неосмотрительно ляпал, что социалистическая партия свою выигранную власть может обратить против большинства народа и подавить профсоюзы. Но и в удачах и в неудачах всегда необычностью своей позиции и массивностью своей слоноподобной фигуры он загораживал половину социал-демократического горизонта и, как-то оказывалось, всегда загораживал Ленину — не всю дорогу, не весь истинный путь, но половину его, так что нельзя было обойти Парвуса, не столкнувшись. Он был — не противник, он всегда был союзник, но такой, что, смотри, не обомнёт ли тебе бока. Он был единственный на Земле несравненный соперник — и чаще всего успешливый, всегда впереди. Никак не враг, всегда с протянутой рукой союзника — а руку принять не бывало возможно.

Что за баул? Величиной как будто со свинью.

Да между ними многое пошло бы иначе, если бы не Девятьсот Пятый. Во всей революции Пятого года не участвовал Ленин и не сделал ничего — исключительно из-за Парвуса: тот топал всю дорогу впереди и топал верно, не сбиваясь, — и отнял всякую волю идти и всякую инициативу. Едва прогремело Кровавое Воскресенье, Парвус тут же объявил: создавать **рабочее правительство**! Эта быстрота взгляда, эта стремительность предложения перехватила дыхание даже у Ленина: не могло решаться уж так быстро и просто! И он возражал Парвусу во «Вперёде», что лозунг — опасный, несвоевременный, нужно — в союзе с мелкой буржуазией, революционной демократией, у пролетариата мало сил. А Парвус и Троцкий скропали брошюрку и кинули её женевской эмиграции, большевикам и меньшевикам вместе, как вызов: в России нет парламентского опыта, буржуазия слаба, бюрократическая иерархия ничтожна, крестьянство невежественно, неор-

ганизованно, и пролетариату даже не остаётся ничего другого, как принять руководство революцией. А те социал-демократы, кто удалятся от инициативы пролетариата, превратятся в ничтожную секту.

Но вся женевская эмиграция осталась на месте, коснея, как будто чтобы сбылось над ней это пророчество, и только Троцкий кинулся в Киев, потом в Финляндию, всё ближе для прыжка, а Парвус ринулся по первому сигналу всеобщей октябрьской стачки, какую опять-таки он и предсказывал ещё в прошлом веке. Не большевики и не меньшевики, они оба были свободны от всякой дисциплины и дерзко действовали вдвоём.

С большую свинью. Напрягся, перегородил комнату. А Скларц у окна как будто уменьшился?

Ну что ж, чего не выразишь печатно и не скажешь на самой узкой конференции: да, я тогда ошибся. И вера в себя, и политическая зрелость, и оценка обстановки приходят не сразу, лишь с возрастом, с опытом. (Хотя и Парвус только на год старше.) Да, я тогда ошибся, не всё видел, и дерзости не хватило. (Но даже близким сторонникам так нельзя говорить, чтоб не лишить их веры в вождя.) Да как было не ошибиться? Тянулись месяцы, месяцы того смутного года, всё бродило, погромыхивало вокруг, а настоящая революция не разражалась. И ехать было всё ещё нельзя, и отсюда, из Женевы, разбирало негодование: что́ они там, олухи, не поворачиваются, что́ они революции как следует не начинают? И — писал, писал, посылал в Россию: нужна бешеная энергия и ещё раз энергия! о бомбах полгода болтаете — ни одной не сделали! пусть немедленно вооружается каждый кто как может — кто револьвером, кто ножом, кто тряпкой с керосином для поджога! И пусть отряды не ждут, никакого отдельного военного обучения не будет. Пусть каждый отряд начинает учиться сам — хотя бы на избиении городовых! А другой пусть убьёт шпика! А третий взорвёт полицейский участок! Четвёртый — нападёт на банк! Эти нападения, конечно, могут выродиться в крайность, но ничего! — десятки жертв окупятся с лихвой, зато мы получим сотни опытных бойцов!..

Нет, не бралось усталым умом несвоевременное письмо, не понималось. Читал — и не понимал.

...Казалось, так ясно: кастет! палка! тряпка с керосином! лопата! пироксилиновая шашка! колючая проволока! гвозди (против кавалерии)! — это всё оружие, и какое! А отбился случайно отдельный казак — напасть на него и отнять шашку! Забираться на верхние этажи — и осыпать войско камнями! и обливать кипятком! Держать на верхних этажах кислоты для обливания полицейских!

А Парвус и Троцкий ничего этого не делали, но просто приехали в Петербург, просто объявили и собрали новую форму управления: Совет Рабочих Депутатов. И никого не спрашивали, и никто не помешал. Чисто рабочее правительство! — и вот уже заседало! И всего-то приехали на каких-нибудь две недели раньше остальных — а всё захватили. Председателем Совета был подставной Носарь, главным оратором и любимцем — Троцкий, а изобретатель Совета Парвус управлял из тени. Захватили слабенькую «Русскую газету» — однокопеечную, вседоступную, народную по тону, и на какие-то деньги стал тираж её полмиллиона, и идеи двух друзей полились в народ. Учись!

Скларц у окна в своём стуле сидел всё дальше, всё мельче, как птица с опущенным носом, в иллюстрированный журнал.

В последние женевские дни Ленин писал, писал пером торопливым — всю теорию и практику революции, как он находил её в библиотеках по лучшим французским источникам. И гнал, и гнал в Россию письма: надо знать, по сколько человек создавать боевые группы (от трёх до тридцати), как связываться с боевыми партийными комитетами, как избирать лучшие места для уличных боёв, где складывать бомбы и камни. Надо узнавать оружейные магазины и распорядок работы в казённых учреждениях, банках, заводить знакомства, которые

могут помочь проникнуть и захватить... Начинать нападения при благоприятных условиях — не только право, но прямая обязанность всякого революционера! Прекрасное боевое крещение — борьба с черносотенцами: избивать их, убивать, взрывать их штаб-квартиры!..

И, нагоняя последнее своё письмо, сам поехал в Россию. А там — ничего похожего. Никаких боевых групп не создают, не запасают ни кислот, ни бомб, ни камней. Но даже буржуазная публика приезжает послушать заседания Совета Депутатов. И Троцкий на трибуне взвивается, изгибается и самосжигается. И будто для этой открытой жизни и родясь, они с Парвусом блещут по всему Петербургу — в редакциях, в политических салонах, всюду приглашены и везде приняты под аплодисменты. И даже создавалась какая-то фракция «парвусистов». И не то, чтобы тряпку обмачивать в керосин и красться за углом здания, — но Парвус готовил собрание своих сочинений или закупал билеты на сатирическое театральное представление и рассылал своим друзьям. Хороша тебе революция, если вечерами не чеканка патрулей по пустынным тротуарам, но распахиваются театральные подъезды...

Пробежаться бы до окна и назад — так пятнистый раздутый баул стоял как сундук, не пройдёшь. Да и сил нет в ногах.

В ту революцию Ленин был придавлен Парвусом как боком слона. Он сидел на заседаниях Совета, слушал героев дня — и висла его голова. И лозунги Парвуса повторялись и читались, правильные вполне: после победы революции пролетариат *не должен выпустить оружия из рук — но готовиться к гражданской войне! своих союзников-либералов рассматривать как врагов!* Отличные лозунги, и уже не с чем выступить с трибуны Совета самому. Всё шло почти как надо, и даже настолько хорошо, что вождю большевиков не оставалось места. Вся жизнь его была спланирована к подполью, и уже трудно было переселиться, подняться на открытый свет. Он не поехал и на московское восстание, уж там восставали по его ли женевским инструкциям, или не по его. Упала уверенность в себе — и Ленин как продремал и пропрятался всю революцию: просидел в Куоккале — 60 вёрст от Петербурга, а Финляндия, не схватят, Крупская же ездила каждый день в Петербург собирать новости. Даже сам понять не мог: всю жизнь только и готовился к революции, а пришла — изменили силы, отлили.

А тут ещё Парвус выдвинул из тени (он всегда старался действовать из тени, не попадать на фотографии, не давать пищи биографам) и подсунул Совету безымянно, как бы его, Совета, резолюцию, — Финансовый Манифест. Под видом заскорузло-стихийных требований неграмотных масс — программу опытного умного финансиста: единый удар по всем экономическим устоям российского государства, чтоб рухнуло проклятое разом! Не откажешь — величайший, поучительный революционный документ! (Но и правительство поняло и через день арестовало весь петербургский Совет. Случайно Парвус не был на заседании, уцелел, и тут же создал второй Совет, другого состава. Пришли арестовывать второй — а Парвус снова не попал.)

Керосина в лампе не было — а горела уже час, не уменьшая света.

Надо было годам пройти, чтобы рёбра, подмятые Парвусом, выправились, вернулась уверенность, что тоже на что-то годишься и ты. А главное, надо было увидеть ошибки и провалы Парвуса, как и этот слонобегемот опрометчиво ломил по чаще, и обломки прокалывали ему кожу, как он оступался в ямы на бегу, исключался из партии за присвоение денег, занимался спекуляцией, открыто кутил с пухлыми блондинками, — и наконец открыто поддержал немецкий империализм: откровенно высказывался в печати, в докладах, и явно поехал в Берлин.

Шляпа позади лампы — качнулась, показав атласную подкладку. Да нет, лежала спокойно, как оставил её Скларц.

Через Христю Раковского из Румынии, через Давида Рязанова из Вены уже доходили до Ленина слухи, что Парвус везёт ему *интересные*

предложения, так развязно не скрывался он. Но слава открытого союзника кайзера опередила Парвуса, пока он вёз эти предложения, пока кутил по пути в Цюрихе. Все привыкли бедствовать годами, а тут прежний товарищ явился восточным пашой, поражая эмигрантское воображение, раздавая впрочем и пожертвования. И когда нашёл он Ленина в бернской столовой, втиснулся непомерным животом к столу и при десятке товарищей открыто заявил, что им надо беседовать,— Ленин, без обдумывания, без колебания, в секунду ответил резкими отталкивающими словами. Парвус хотел разговаривать как вояжёр мирного времени, приехав из воюющей Германии?? (и Ленин хотел! и Ленин хотел!) — так Ленин просил его убраться вон! (Верно! Только так!)

На бауле ручка перекинулась с одной стороны на другую — хляп!

Но увидеться — надо было! Не бумагами же всё переписываться, какая-нибудь да попадёт к врагам. И Ленин шепнул Зифельду, а тот нагнал толстяка, по какому адресу ему идти. (А Зифельду Ленин потом сказал: нет, отправил акулу ни с чем.) И в спартанско-нищей комнатке Ульяновых толстозадый Парвус с бриллиантовыми запонками на высунутых ослепительных манжетах, сидел на кровати рядом и не помещался, и наваливался, толкал Ленина к подушке и к спинке железной.

Тр-ресь!! — распёрло наконец баул — и, освобождая локти и выпрямляя спину, разогнулся, поднялся в рост во всю свою тушу, в синей тройке, с бриллиантовыми запонками,— и разминая ноги, ступнул, ступнул сюда ближе.

Стоял — натуральный, во плоти — с непотягаемым пузом, удлинённо-купольная голова, мясисто-бульдожья физиономия с эспаньолкой — и блеклым внимательным взглядом рассматривал Ленина. Дружелюбно.

Да ведь и правда! — давно же надо поговорить. Всё мельком, всё некогда, или в отрыве или в противоположности, и так трудно встретиться, следят враги, следят друзья, нужна тайна глубочайшая! Но уж если пробрался, какие тут письма, пришёл момент критический, поговорить накоротке:

— Израиль Лазаревич! Я удивляюсь, куда вы растратили свой необыкновенный ум? Зачем всё так публично? Зачем вы поставили себя в такое уязвимое положение? Ведь вы же сами закрываете все пути сотрудничества.

Ни — «здравствуйте», ни — руки не протянул (и хорошо, потому что и у Ленина не было сейчас сил подняться и поздороваться, рука как в параличе, и «здравствуйте» тоже горло не брало),— а просто плюхнулся, да не на стул, а на ту же кровать, впритиску, неуклюжей тяжестью навалившись, боком вытесняя Ленина по кровати.

И наставляя прямо к лицу бледно-выпуклые глаза, речью неясной, не оратора, но собеседника ироничного:

— Удивляюсь и я, Владимир Ильич: вы всё агитацией да протестами заняты? Что за побрячушки? — конференции какие-то, то тридцать дам в народном доме, то дюжина дезертиров?

И толкал бесцеремонно по кровати, нависал болезненно раздутой головой:

— С каких пор вы вместе с теми, кто хочет мир изменить пером рондо? Ну что за дети все эти социалисты с их негодованием. Но вы-то! Если серьёзно делать — неужели же прятаться по закоулкам, скрывать, на какой ты воюющей стороне?

Хоть горлом речь не выходила, но прояснела голова, как от крепкого чая. И без языка было всё взаимопонятно.

Ну конечно же, это был не жалкий Каутский — демонстрировать «за мир», а в войну не вмешиваться.

— Мы же оба не рассматриваем войну с точки зрения сестры милосердия. Жертвы, кровь и страдания неизбежны. Но был бы нужный результат.

Ну, конечно же, Парвус был основательно прав: надо, чтобы Россия была разбита, а для этого надо, чтобы Германия победила, и надо искать поддержки у неё,— всё так! Но — только до этого пункта. А дальше — Парвус зарвался. Увлекшись своими успехами, он оступается, это не первый раз.

— Израиль Лазаревич, если у социалиста что-нибудь реально имеется, то это — революционная честь. Чести — мы не можем терять, мы тогда всё теряем. Говоря между нами, по расположению наших с вами позиций — ну конечно союз. И конечно мы ещё очень понадобимся и поможем друг другу. Но по вашей теперь политической одиозности... Один какой-нибудь Бурцев найдётся — и всё погибло. Так что придётся допустить между нами публичные разногласия, газетную полемику. Ну, не настойчивую... спорадически так, иногда... Так что если...— Ленин никогда не смягчал и в глаза, жёстче сказать, крепче будет,— ...если там, например... морально опустившийся подхалим Гинденбурга... ренегат, грязный лакей... Поймите сами, вы же не оставляете другого выхода...

— Да смешно, да пожалуйста,— горькая усмешка перерезала одутловатое лицо Парвуса.— Вот я весной в Берлине получил миллион марок, из того миллиона сразу перевёл Раковскому, Троцкому с Мартовым, да и вам в Швейцарию, не получали? Ах, не вникали? Проверьте, проверьте у своего кассира, если не растратил... И Троцкий деньги принял — а от меня уже и отрёкся публично: «политический фальстаф»... Написал мне живому — некролог. Я ничего не говорю, это можно конечно, я понимаю.

И застыло-стеклянно смотрел из-под поднятых редковолосых бровей.

Разошлись они с Троцким раньше, на перманентной революции. А любил он его как младшего брата.

Но на Ленина — он очень надеялся, и толкал, толкал его по кровати своею массивной рыхлостью, заставляя двигаться к подушке, уже локтем ощущать спинку сзади.

— А ваши лозунги голые не лопнут без денег, а? Нужно деньги в руках иметь — и будет власть! А чем вы будете власть захватывать? — вот неприятный вопрос. Да хотя позвольте, в 904-м на III съезд и на «Вперёд» вы же, кажется, приняли деньги, очень похожие на японские,— ничего, пошли? А я теперь — лакей Гинденбурга? — пытался смеяться.

Всё было — точно, как прошлый раз, или это и было — прошлый раз?..— в комнате бернской мещанки? или в комнате цюрихского сапожника? или — ни в какой комнате? Как будто всё это говорилось уже раз, и вот по второму. Ни стола, ни Скларца,— а только кровать железная швейцарская массивная с ними могучими двумя — плыла над миром, беременным революцией, ожидавшим разрешенья от них двоих, с ногами свешенными,— неслась по тёмному кругу, опять. И ровно столько было невидимого света, чтобы видеть собеседника, и ровно столько звука, чтобы слышать его:

— Ничего, это можно... Я понимаю...

Он — презирал мир. Тамошний, далеко внизу, под кроватью.

— А по-моему, если *войну превращать в гражданскую* — так любой союзник хорош. Ну, у вас сейчас сколько? — издевался.— Не спрашиваю, не принято. А у меня — не у меня, а для дела — вот, миллион весной получил, этим летом ещё пять миллионов получаю. И будет ещё не раз. Как?

Вместе с Парвусом они всегда презирали эмиграцию за призрачность, за недельность, за интеллигентскую слюнтявость, всё слова, слова. А деньги — это не слова. Да.

Душила Ленина его самоуверенность. И восхищала реальность силы.

Вытаращивал бледные глаза, похлопывал губой с неровными усами:

— План! Я составил единый великий план. Я представил его германскому правительству. И на этот план, если хотите, я получу и двадцать миллионов! Но главное место в этом плане я отвёл — для вас. А вы...

Дышал болотным дыханием, близко в лицо:

— А вы?.. ждать?.. А я...

Этот купол — не меньше ленинского, пол-лица — голый лоб, полголовы — темя со слабыми волосами. И — беспощадный, нечеловеческий ум во взгляде:

— А я — назначаю русскую революцию на 9 января будущего года!!!

48

Как рождаются простые и великие планы? Подсознательным вынашиванием мыслей, когда ещё никуда определённо не предназначаешь их. Потом элементы давно известные, может быть и не тебе одному, вдруг проступают дружно к центру и именно в твоей голове соединяются в единый план — и до того же простой и ясный, что удивляться надо, как он не сложился ни у кого прежде.

Как не сложился прежде у германского генерального штаба, хотя ему-то и думать бы первому?

Правда, у них не хватало понимания России. И от осени 14-го года, после Марны, осознав неудачу быстрой победы, они до осени 15-го всё надеялись на сепаратный мир с Россией, тыкались попытками контактов, никак не думали, что Романовы всё отвергнут. Это их и отвлекло.

А Парвус, отъединённый от главных событий, отброшенный в бронзово-голубой Константинополь, достигнув жажданного богатства, а с ним — всех вообразимых телесных нег на Востоке, умеющем насытить мужской дух и мужские желания, в стороне от великой битвы («в социалистическом резерве», как советовал ему Троцкий) и обеспеченный никогда не узнать последствий этой битвы,— ни в каком насыщении, ни в каком расслаблении ни на миг не покидал своего поиска, рождённого в дальней юности тут же, на черноморском берегу, по диагонали.

Он не покидал его, ещё когда ехал на Балканы, где книги его читались шире, чем Маркса и Энгельса. Не забывал, когда кормился в константинопольских притонах и собирал портовых голодранцев на первомайскую демонстрацию. Тем более не забывал, возвышаясь при младотурках, обратив свой финансовый гений из топора, подрубавшего русский ствол, в лопату садовника, подпитывающего турецкий. Не ошеломился, не забыл и от миллионов, так наплывно, и для всех таинственно, понесших его. Не забывал, основывая банки, торгуя с Одессой-мамой и с мачехой Германией. Он как хлыстом был протянут от сараевского выстрела: обладал Парвус сейсмическим чувством недр и уже знал, что — поползут пласты! что — попадётся старый глупый медведь! Наконец-то она пришла, наступила Великая, Мировая! Он давно её предсказывал, называл, вызывал — самый мощный локомотив истории! самую первую колесницу социализма! Пока там, по всей Европе, бушевала социал-демократия вокруг военных кредитов — Парвус ни речи не произнёс, Парвус ни строчки не напечатал, он не тратил времени, минуты не ждали, он сновал своими тайными ходами, убеждая стамбульских правителей, что только на стороне Германии вырвется Турция из нескончаемых своих капитуляций, он спешил доставать оборудование и запасные части для турецких железных дорог и мельничного дела, снабдить зерном турецкие города, обеспечить, чтобы Турция осенью не просто объявила войну, но как можно скорее могла бы начать реальные боевые действия на Кавказе. (И такие же заботы нагоняли его с Болгарией, он успел подготовить к войне и её.) Лишь после этих существенных свершений мог позволить себе Парвус откинуться в заброшенную любимую публицистику, в балканскую прессу, с лозунгом: «За демократию! против царизма!».

Это надо было объяснить, обосновать, чтоб убедить как можно многих,— и неотупевшее перо легко разбрызгивало искры: не надо ставить вопроса о «виновниках войны» и «кто напал», мировой империализм десятилетиями готовил эту схватку, и кто-то должен был напасть, неважно. Не надо искать этих пустых причин, но надо думать социалистически: как нам, мировому пролетариату, использовать войну, значит: на чьей стороне сражаться? У Германии — самая мощная в мире социал-демократия, Германия — твердыня социализма и поэтому для Германии эта война — оборонительная. Если социализм будет разгромлен в Германии — он будет разбит везде. Путь к победе мирового социализма — военное укрепление Германии. А то, что царизм на стороне Антанты, ещё более открывает нам, где истинный враг социализма: значит, победа Антанты принесёт новое подавление всему миру. Итак, рабочие партии всего мира должны воевать против русского царизма. А советовать пролетариату принять нейтралитет (Троцкий) — значит самоисключиться из истории, революционный кретинизм. Итак, задача мирового социализма — уничтожающий разгром России и революция в ней! Если Россия не будет децентрализована и демократизована — опасность грозит всему миру. А Германия несёт главную тяжесть борьбы против московитского империализма, и революционное движение в ней должно на время прекратиться. А потом победа в войне принесёт и классовые завоевания пролетариату. *Победа Германии — победа социализма!*

На эту публикацию первые приехали к Парвусу посовещаться — «Союз вызволения Украины» из Вены (среди них были знакомые по «искровским» временам), потом армянские, грузинские националисты,— всем борцам против России открывались двери его константинопольского дома.

Так напряжённый поиск Парвуса магнитно притягивал опыт других, а сопоставленный этот опыт, социалистов и националистов, стянутый во взрывную точку, рождал и План. До сих пор болтали социалистические программы всё об автономии — нет! Только разрывом и расчленением России можно было свалить абсолютизм, дать нациям сразу — и свободу, и социализм.

Пока проваливались первые экспедиционные группы украинцев и кавказцев (второпях набрали и хвастунов и авантюристов, конспиративная затея вдруг разгласилась в эмигрантской прессе, и Энвер-паша остановил экспедиции), в раздутой ёмкой голове Парвуса досовершалось магнитное соединение железных элементов в единый План. Как любит механика треугольные скрепы за их устойчивость к деформациям, так элементам националистическим и социалистическим не хватало третьего союзника — германского правительства: цели всех троих ближайшие — совпадали!

Вся предыдущая жизнь Парвуса была как нарочно состроена для безошибочного создания этого Плана. И оставалось теперь ему — тому счастливому, чем Парвус был, скрещению теоретика, политика и дельца,— сформулировать план по пунктам в декабре Четырнадцатого, в январе приоткрыть его германскому послу, получить гостеприимный вызов в Берлин, на личном свидании поразить верхушку министерства (19 лет эта страна не кинула ему простого гражданства, закрывала его редакции, гоняла из города в город, могла выдать русской охранке,— теперь высшие правительственные глаза предусмотрительно за-

сматривали в его пророческие), в марте Пятнадцатого представить окончательный подробный меморандум и получить первый миллион марок аванса.

План был: собрать под единое руководство все возможности, все силы и все средства, вести из единого штаба — действия центральных держав, русских революционеров и окраинных народностей. (Он знал этого быка — но и обух достойный готовил ему.) Никаких разрозненных частных импровизаций. План убеждал настойчиво, что никакая германская победа не окончательна без революции в России: неразрезанная Россия останется неугасающей постоянной угрозой. Но и никакая отдельная сила не может разрушить русскую крепость, а только единонаправленный их союз: совместный взрыв революции социальной и революции национальной при германской денежной и материальной поддержке. Опыт революции 1905 года (уж автор-то знал её! и в глазах имперского правительства гарантией солидности советчика то и было, что он — не приблудный коммерсант, но Отец Первой Революции) позволяет видеть, что все симптомы повторяются, все данные для революции сохранились, и даже, в условиях мировой войны, она потечёт ещё быстрей, но если умело её толкнуть, воздействием извне ускорить катастрофу. Центрами социального восстания будут подготовлены Путиловский, Обуховский и Балтийский заводы в Петербурге и кораблестроение в Николаеве (на юге России у автора особо прочные связи). Назначается дата, уже есть такая наболевшая в России: годовщина Кровавого Воскресенья, сперва только — для однодневной забастовки в память погибших, для одноразовой уличной манифестации — 8-часовой рабочий день, демократическая республика, но когда будут разгонять, то оказать сопротивление, прольётся хотя бы малая кровь — и огонь побежит, побежит по всем бикфордовым шнурам! Однодневные стачки сливаются во всеобщую забастовку «за свободу и мир!». Листовки на главных заводах — и к тому времени уже подготовленное оружие в Петербурге и в Москве! В 24 часа будет приведено в действие сто тысяч человек! К забастовке тотчас присоединяются железнодорожники (подготовлены будут и они), останавливается всякое движение на линиях Петербург — Москва, Петербург — Варшава, Москва — Варшава и на юго-западных. Для всеобщности и дружности взрываются некоторые мосты и на сибирской магистрали, для чего послать туда экспедицию из опытных агентов. О Сибири отдельная часть плана: дислоцированные там войска чрезвычайно слабы, города под влиянием ссыльных настроены революционно. Это облегчает устройство диверсий, а когда уже беспорядки начнутся — произвести массовое перемещение ссыльных в Петербург, чтобы впрыснуть в столицу тысячи действенных агитаторов, успеть захватить пропагандой миллионы русских рекрутов. Пропаганда будет вестись и всей левой прессой в России и поддержится потоком пораженческих эмигрантских листовок (их печатанье нетрудно развернуть например в Швейцарии). Будет полезна всякая публикация, которая ослабляет волю к сопротивлению у русских и указывает на социальную революцию как выход из войны. Остриё пропаганды будет направлено в действующую армию. (Рисовалось и восстание в Черноморском флоте. Проезжая Болгарию, уже Парвус завязал связи с одесскими моряками. Он сильно подозревал всегда, что «Потёмкина» сделали японцы. Во всяком случае можно будет взорвать один-два броненосца.) Опытные агенты посылаются также и — поджечь нефтяные промыслы в Баку, что не представляет трудности при их слабой охране. Динамика социальной революции должна быть усилена и финансово: с немецких самолётов разбрасывать русскому населению фальшивые рубли, одновременно — пустить в международное обращение, в Петербург и в Москву банкноты с одними и теми же номерами и сериями,— подорвать международный курс рубля и создать панику в столицах.

Со всеми их Клаузевицами, Мольтке-старшим и Мольтке-младшим, со всей их самоуверенной стратегией и надменной чёткостью штабов — никогда не вырастали узкие прусские лбы до такого размаха! до такого замысла!!!

Никогда не имела Германия такого советчика по России, по всем слабостям её. (Настолько никогда не имела, что даже и теперь оценить не могла.)

И это же — далеко не всё! Одновременно начнётся революция национальная. Главный рычаг — украинское движение, без украинской подпоры быстро опрокинется русское здание набок. Украинское движение перебросится дальше на кубанских казаков, а может заколеблются и донские. Естественно сотрудничество и с наиболее созревшими, почти уже свободными финнами: легко посылать им оружие, а через них — в Россию. Польша — всегда за пять минут до антирусского восстания и только ждёт сигнала. Между восставшими Польшей и Финляндией всколыхнётся и Прибалтийский край. (По другому варианту предусмотрел Парвус, что остзейские губернии охотно присоединяются к Германии.) Националисты Грузии и Армении — уже и сегодня в реальном и денежном сотрудничестве с правительствами Центральных держав. Кавказ — раздроблен, и возбудить его будет трудней, но посредством Турции, через мусульманскую агитацию, подымем его на газават, священную войну. И в том окружении вряд ли терские казаки захотят класть головы за царя, а не отделиться тоже.

И централизованная Россия — рухнет навсегда! Внутренняя борьба сотрясёт Россию до основания! Крестьяне станут силой отбирать землю у помещиков! Солдаты толпами побегут из окопов обеспечивать свою часть в земельном разделе. (Восстанут против офицеров, перестреляют генералов! — но эту часть перспективы прикрыть, она может вызвать у пруссаков неприятные предчувствия.)

Однако (захватывая дыхание) — и это не всё! и это — не всё! Сотрясши Россию разрушительной пропагандой изнутри — обложить её и извне враждебностью мировой прессы! Антицарскую кампанию поднимут социалистические газеты разных стран — однако, захватывая слева направо, эта травля увлечёт затем и либеральную, то есть подавляющую прессу всего мира! Газетный крестовый поход на царя! И особенно важно при этом — захватить общественное мнение Соединённых Штатов. А разоблачением царизма будет одновременно демаскирована и подорвана вся Антанта!

Вот что предложил Парвус Германии: вместо безнадёжной пехотно-артиллерийской мясорубки — одним только впрыскиванием денег, без немецких жертв — в несколько месяцев из Антанты вырывался многолюднейший член её! Ещё бы не схватилось германское правительство за эту программу!

Да в этом Парвус не сомневался. Он тревожился, как примут её другие в Берлине: социалисты. Как примет его проект мачеха-партия, которой идеи его и всегда были слишком глубоки, чтобы применить их для массовой агитации, слишком залётны вперёд, чтобы казаться реальными даже вождям; партия, где колотился он 19 лет, рассыпая идеи, — и не получил никогда ни единого партийного поста, ни на одном съезде не имел права голосовать. Короткое время он был в ней героем — вернувшись из Сибири, и все зачитывались его мемуарами «В русской Бастилии». Затем измазался он в несчастном горьковском деле, и тайная партийная комиссия обрекла его на изгнание — и пятно не отмылось даже теперь, 5-летней отлучкой. Но главное — необъяснимое легендарное, в один год, обогащение, которого по ограниченности не могут простить люди, а *соци* — особенно. (Странная психология: будь это же богатство наследственным — никто б и не укорил никогда.) За одно богатство должны были его возненавидеть и отвергнуть — но нашли для возмущения более благородный повод: он стал пособником империалистов! Уж конечно там Клара и Либкнехт, но — Роза! когда-то близкая женщина (впрочем, и в близости стыдилась — его на-

ружности? — всегда скрывала связь),— и Роза показала ему на дверь. Бебель за это время умер, Каутский и Бернштейн — отъединились, слабели, новое же самодовольное руководство искало слабостей в позиции перекатного социалиста: а как поведёт себя прусское правительство после победы? а почему оно от русской революции смягчится и подобреет к социализму? а не накроет оно заодно и демократию Англии и Франции?..

И в возражениях этих — истина была, и сомнения — лежали там, — но никому из них не доставало той захватывающей цельности, которая одна и сотрясает миры и творит их! Никто, почти никто в Европе не мог перескочить и увидеть: что *ключ мировой истории лежит сейчас в разгроме России!* асё остальное — второстепенно.

А социалисты Антанты уже поднимали против Парвуса разоблачительную кампанию.

Острота социалистических упрёков ему отравляла всю радость успеха, хотя большинство социалистов Европы не были ни люди науки, ни люди реального дела. Они не могли подняться ни на высоту обзора, ни смекнуть живой поворот действия по живому повороту дела. Это были уже — чиновники от социализма, заклиненные в коридорах догм как в гробах: они даже не ходили, не ползали по этим коридорам, но — лежали вдоль них и не смели представить себе никакого поворота. Первые же открытые призывы Парвуса помогать Германии вызвали у них девственный ужас. Как хорошо бы им просидеть войну в невинной нейтральности и отделываться моральным негодованием — на войну и на тех, кто смелость имеет вмешаться в неё!..

Но — решительна для Плана была роль социалистов русских, и им отводилась в плане существенная разработка, представленная германскому правительству. Они все раздроблены, рассеяны на мелкие группы, бессильны — а ни одну из них нельзя упустить, всех использовать. Для этого надо привести их к единству — устроить объединительный конгресс, удобно в Женеве. Одни группы, как Бунд, Спилка, поляки, финны, безусловно поддержат План. Но нельзя создать единства, не помирив большевиков и меньшевиков. А всё это будет зависеть — от вождя большевиков, живущего сейчас в Швейцарии.

Тут могли быть разные трудности, и даже та, что часть русских социалистов окажется патриотами и не захочет раздела русского царства. Но была и обеспеченность: нищие эти эмигранты десятилетиями нуждались в деньгах: и для обычной простой жизни, что-то класть в рот, а заработать они не умели никогда; и для своих непрерывных поездок и съездов, и для своих нескончаемых брошюрных-журнальных-газетных писаний. Не устоят они перед протянутым набитым кошельком. Уж если крепкие легальные западные партии и профсоюзы всегда податливы на денежную поддержку, скажем, для своих трудящихся, всё равно,— кому в мире не хочется жить сытей, теплей, просторней? (незаметная тихая помощь скромно живущим вождям тоже очень укрепляет с ними дружбу) — как могут отказаться эмигранты?

Однако едучи в Швейцарию, более всего предсмаковал Парвус успех от встречи с Лениным. Давно состарилось их мюнхенское сотрудничество, годами не виделись они,— но зоркий глаз Парвуса никогда не упускал этого единственного неповторимого социалиста Европы — совершенно непредвзятого, свободного от предрассудков, от чистоплюйства, в любом повороте дела готового принять любой нужный метод, приносящий успех: единственного жестокого реалиста, никогда не увлечённого иллюзиями, второго реалиста в социализме после Парвуса. Чего не хватало Ленину — это широты. Дикая, нетерпимая узость раскольника гнала попусту его огромную энергию — на дробление, отмежевание, мелкое шавканье, перебранку, драчку, газетные уколы, изводила его в ничтожной борьбе, в кипах исписанной бумаги. Эта узость раскольника обрекала его быть бесплодным в Европе, оставляла ему

только русскую судьбу, но значит и делала незаменимым для действий в России. Сейчас!

Сейчас, когда младший сподвижник Троцкий, сердца кусок, отрёкся навсегда, когда Троцкому изменила жизненная сила и точность взгляда,— как призывно вспыхивала Парвусу жестокая ленинская звезда из Швейцарии: независимо, он высказывал всё то же: что не надо искать, кто первый напал; что царизм — твердыня реакции и должен быть сокрушён первым; что... По оттенкам побочных замечаний, потерявшихся в придаточных предложениях и не заметных более никому, Парвус видел, что Ленин не изменился ни в своей нетребовательности, ни в своей требовательности, что он не перекривится взять в союзники хоть и Вильгельма, хоть и сатану,— только бы сокрушить царя. Оттого уже заранее слал Парвус ему вести об *интересных предложениях:* что союз заключится — сомнений не было. Лишь вот эти несчастные придуманные разногласия с меньшевиками, где Ленин был особенно глупо-непреклонен. Но и миллионы марок в поддержку — весили же что-то? В меморандуме германскому правительству Парвус прямо назвал Ленина с его подпольной организацией по всей России — как свою главную опору. Взять Ленина своею правой рукой, как в ту революцию Троцкого,— был верный успех.

На верный успех и ехал Парвус в Берн, и шёл по столовой с сигарой во рту, и был удивлён шумным отказом, но потом оценил разумность приёма. И на скудной кровати теснил, теснил легковатого Ленина — своими пудами:

— Да вам к а п и т а л нужен! Ч е м вы будете власть захватывать? Вот неприятный вопрос.

Эт-т-то-то Ленин понимал прекрасно! Что на одних голых идеях не прошагаешь, что революцию нельзя делать без силы, а в наше время начальная сила — деньги, а уже из денег рождаются другие виды силы — организация, оружие и люди, способные этим оружием убивать,— всё верно, кто ж возразит!

Со своей бесподобной схватчивостью ума, без нужды на обдумывание, со своими мгновенными переменами в лице, вот уже усмешка соучастника обещающего, безо всякого задора отступая, прикартавливая:

— Почему — неприятный? Когда к деньгам относятся партийно — партии это приятно. Неприятно, когда из денег делают оружие *против* партии.

— Ну да впрочем, у вас же там что-то сочится,— дружелюбно-усмешливо вспоминал Парвус,— на что-то же «Социал-Демократ» выпускаете. Или,— фальстафовский живот его подрагивал от смеха,— или вы, положим, швейцарским налоговым агентам пишете, что, наоборот, живёте гонорарами с «Социал-Демократа»?..

Усмешка — часто была у Ленина, улыбка — очень редко,— вместо того он прищуривался, ещё пряча, пряча природой запрятанные глаза. И осторожно выбирал слова:

— Филантропические фонды всегда откуда-нибудь идут. Принимать благотворительность — вполне партийно, отчего же?

(Да денег не так уж скудно, можно бы всем жить посвободнее, как по бесстыдству и делают некоторые, через кого течёт. До неприличия швыряет деньгами Багоцкий, и никто не возьмётся проверить австрийские деньги у Цивина. Но тут — нельзя давить, можно всё испортить. Уж как течёт.)

Глазу не на чем остановиться — ни на обтрёпанном ленинском пиджаке, ни на латаном воротнике, ни на скатерти протёртой, ни в голой комнате, где вместо книжной этажерки — два ящика один на другой. Но Парвус — ничуть перед ним не стыдился своих бриллиантов, ни — шевиота, ни английских ботинок: всё это ленинское нищенствование — игра, партийная линия, чтоб задавать тон, служить примером, «вождь без упрёка». В этой задуманной, много лет исполняемой роли — в ней-

то и ограниченность, и убогость мышления. Но она — поправима, и Ленину тоже можно будет придать размах.

(А — нет! а — нет! По внутреннему протесту, по противоположности вело Ленина — самому во всяком случае и всегда отгородиться от всякого доступного близкого избытка. Достаток — другое дело, достаток — разумеи, но избыток — начало разложения, и Парвус на этом попался. Деньги пусть текут и миллионами, но — на революцию, а самому — держаться в границах необходимого, самому считать даже раппены и гордиться этим. Совсем не для маскировки и лишь отчасти для примера другим, кого нельзя заставить.)

Быстрым взглядом искоса, снизу вверх, Ленин не враждебно, не обиженно:

— Израиль Лазаревич! Ваша вечная вера во всевластие денег — вас и подвела. Поймите, подвела.

(То ли при малых тратах — как в замкнутой комнате, как при полной секретности: ничего не утекает, твёрже себя чувствуешь, никогда не распустишься, всё сковано и связано. А богатство — подобно распущенной болтовне. Нет! Дисциплина во всём, и в этом тоже. Только в ограничениях развивается и движется настоящий напор. И даже: залог за то, чтобы жить в Швейцарии, основа безопасности и всей деятельности, 1200 франков,— есть, но: нет! не платить! — хлопотать — писать — подавать заявления о несостоятельности — просить персонального снижения в 10 раз — тратить золотое время на проходки к полицей-президенту и даже вместе с Карлом Моором, у кого свой бумажник в кармане раздутый и только руку протянуть, ассигнацию вытянуть. И получив наконец снижение до трёхсот — уплатить только сто и ещё потом долго торговаться, а переехавши в Цюрих — и вовсе не платить, но писать и просить, и переписываться с Берном: ту сотенку перевести в здешний кантон. Это умел Ленин: сжиматься — умел. Только сжатый — дышал хорошо.)

Смысл каждой беседы: себя без надобности не открыв — собеседника понять, понять до дна.

Колким прощупывающим взглядом, с усмешкой скептической:

— Ну — зачем вам собственное богатство? Ну, скажите! Ну, объясните.

Вопрос ребёнка. Из тех «почему», на которые даже отвечать смешно. Да для того, чтобы всякое «хочу» переходило в «сделано». Вероятно, такое же ощущение, как у богатыря — от игры и силы своих мускулов. Утверждение себя на земле. Смысл жизни.

Вздохнул:

— Да это просто человечески: любить быть богатым. Неужели вы не понимаете, Владимир Ильич?

И — посмотрел. И вдруг в этой плешатё, и старой коже на висках, и уж слишком заострённом, уж слишком напряжённом изломе бровей заподозрил: а — не понимает, не притворяется. Всепронизывающий взгляд, а сбоку — совсем не видит...

Помягче ему:

— Ну как вам сказать... Как приятно иметь полное зрение, как приятно иметь полный слух,— вот так же и богатство...

Да разве Парвус из головы придумал, да разве это было его теоретическое убеждение — стать богатым? Это была — врождённая потребность, а порывы торговли, гешефта, не упустить возникающую в поле зрения прибыль, были не планомерным программным, а почти биологическим действием его, происходящим почти бессознательно — и безошибочно! Это был — инстинкт его: всегда ощущать, *как* вокруг происходит экономическая жизнь и где возникают в ней диспропорции, несоответствия, разрывы, так сами и просящие, кричащие — вложить туда руку и вынуть оттуда прибыль. Это было настолько его существом, что все свои разнообразные финансовые дела, теперь уже раскинутые на десять европейских стран, он вёл без единой бухгалтерской книги, весь подвижный дебет-кредит — в одной голове.

(Ну, в конце концов, личное богатство — это Privatsache, частное дело, верно. Но глаза бурлили и добывали: вообще ли он — социалист? Вот догадка: 25 лет социалистической публицистики — а социалист ли он?..)

Но если ближе к предмету разговора:

— Я же говорю вам! богатство — это власть! Пролетариат к чему стремится — к власти? Имя — у меня было двадцать пять лет, и побольше вашего, и оно ничего мне не дало. А богатство — открывает все пути. Да хоть вот и эти переговоры. Какое же правительство поверит нищему — и даст ему миллионы на проект? А богатый — себе не возьмёт, у него свои миллионы.

Несоразмерная, несимметричная голова доверчиво свисала набок, и дружелюбно, мирно смотрели на Ленина бесцветные философские глаза:

— Не теряйте момента, Владимир Ильич. Такие предложения жизнь подносит — один только раз.

Да, это понятно. Ещё в первые дни войны, испытав непривычное удобство — благоприятствующее, подхватывающее крыло (тогда — австрийское), во мгновение перенесшее, куда заказано (не было к Швейцарии пассажирского движения — понёс семью Ульяновых воинский эшелон), захвачен был Ленин открытием такого преимущества: не зависать, не плавать среди слов и понятий, слов и понятий, но раз навсегда покончить с беспомощным зябким эмигрантством, прильнуть и соединиться с движением настоящих материальных сил. Как всегда и во всём — и в этом Парвус опять его опередил.

— Чтобы сделать революцию — нужны большие деньги,— убеждал Парвус, налегши плечом на плечо, дружески.— Но, чтобы к власти придя, удержаться — ещё бо́льшие деньги понадобятся.

С другого конца — а поражало верностью.

По высшему центру своей мысли Парвус был несомненно прав.

Но по высшему центру мысли своей — несомненно прав был Ленин.

— Вы подумайте, если соединить мои возможности — и ваши. И при такой поддержке! При вашем несравненном таланте к революции! — сколько ж можно околачиваться по этим дырам эмигрантским? Сколько ж можно: ждать революцию где-то там впереди, а когда она уже вот пришла, за плечо берёт — не узнать?..

Э, нет! Ничем! Ничем — ни совместной радостью, ни жаркой надеждой, ни уж, конечно, лестью, нельзя было на пелену ослабить зоркость ленинского взгляда! Самая узенькая трещина расхождений замечалась им прежде и больше, чем массивы сдвинутых платформ. Пусть — отодвинутый, пусть — неудачник, но во всех удачах Парвуса, и в пророчествах Парвуса постоянно зная: нет, не так! или: нет, не полностью так! А хоть я — ничего не достиг, а правота у меня!

Да Парвусу — смешно, сотрясает смех грузное тело, любящее бутылку шампанского натощак, и ванну принять, и с женщинами поужинать, когда ревматизм не куёт к одру:

— Так и дальше думаете — деньги через налётчиков добывать? Теперь — «Лионский кредит» будете грабить? Так вас же в Каледонию сошлют, товарищи! На галеры!

Смех одолел.

В несогласии тонко шевельнулись брови Ленина. Но взгляд испытующий — беспристрастно смотрит на проблему.

Налетать на банки ещё прежде законной всеобщей экспроприации капиталов — теоретически здесь никакой ошибки нет, это — как бы взять взаймы у самих же себя из будущего. А практически — ну, как удастся. В чём за революционные годы большевики несомненно успели — именно в эксах. Начинали с налётов на билетные кассы, на поез-

да. А уж первые 200 тысяч из Грузии преобразили жизнь партии. А если бы в 907-м взяли в Берлине в банке Мендельсона 15 миллионов (Камо по пути арестовали, сорвалось) — так о-о-о! Метод рискованный, но очень эффективный, и во всяком случае не мараст партию, как связь с иностранными штабами.

— Марает? Попасться боитесь? — тоже в щёлки сдвинул глаза, нарочно, стыдит, презирает и поучает Парвус.— А я вам скажу из верного опыта: на больших... предприятиях — никогда не попадётесь. А вот кто на маленьких жмётся — вот тот и попадается.

Толстокож! Что говорят — ему наплевать, прёт по миру тумбами-стопами, давит.

Косит у Ленина правый глаз. Сердится.

Парвус — в сочувствии. Он студенистыми руками берёт Ленина за обе руки, неприятная манера, он говорит как глубокий друг (с ним когда-то чуть не стали на «ты»):

— Владимир Ильич, не упускайте анализировать! Надо же проанализировать: отчего вы уже проиграли одну революцию? Не от ваших ли собственных недостатков? Это важно на будущее. Смотрите, не проиграйте вторую.

Да какая же наглая самоуверенность! Какого чёрта лезет в учителя? Опять себя навязывает в новые вожди? Уже ослеп от самолюбования!

Вырвал руки! И — с усмешкой, с прорезающей своей усмешкой при вздёрнутых бровях, в издевательской естественной стихии усмешки, когда краснеет радостно в глазах, наслаждённый торжествующей издёвкой:

— Израиль Лазаревич! Вы бы больше недостатки анализировали — свои. Ту революцию я не проигрывал, потому что я её не вёл. А проиграли её — в ы! Как же вы сорвались?

И ещё тут — ничего не сказано, ещё остановиться можно. Но всё задыханье от этой туши, давившей рёбра столько лет, но сама стихия издёвки прорывает дальше нужного (и что́ у него кроме честолюбия? кроме жажды власти? кроме богатства?):

— А в Петропавловке — что вы так быстро упали духом, от одиночки, от сырости? Что за жалость над своим трупом? Что за патетический дешёвый дневничок на вкус немецкого филистера? Да бред об амнистии! Да без пяти минут жалоба царю? Да разве это похоже на вождя революции?

А сам? — маленький, плешатый, остробровый, остроглазый, с движеньями ёрзкими, суетливыми?

Но кроме них двоих — никому не оставалось быть.

Парвус никогда не краснел, как будто не было в нём той приливающей жидкости красной, а — водозеленистая, и такая же кожа. И — никак бы ему сейчас не гневаться, но когда Ленин выпячивался в издевательскую насмешку и ещё подрагивал при этом, и ещё подрагивал — бросало забыть обо всех его достоинствах! И неразумно отбрить:

— Можно подумать — вы дрались на баррикадах! Можно подумать — вы хоть один раз прошлись в уличной демонстрации, когда ждались нагайки! Я по крайней мере бежал со ссыльного этапа! А вам — зачем бежать, если вы по ложному свидетельству вместо севера Сибири получаете Сибирскую Италию?

(Да тут чего только не вырвется: хорошо вам призывать к войне, из нейтральной Швейцарии да всю жизнь без воинской повинности!)

Если вот такое оскорбление выслушать публично — то надо политически убивать, шельмовать до уничтожения. Когда не публично — можно разные решения принять. Может быть, допустить и сочувственность в этой критике. Может быть, и сам забрал острее нужного, такая дискуссионная привычка.

Ах, неразумно было так говорить! Не за тем ехал в Швейцарию, чтобы ссориться.

Парвус — очень может быть полезен, занял исключительные позиции, зачем же ссориться с ним?

Ленин — основа всего Плана. Если он отшатнётся — кто же будет революцию делать?

И — опять усмешка ленинская, но совсем другая, не кусачая, а — проницательнейшая между умнейшими в мире людьми, и руку на плечо, и полушёпотом:

— А знаете? А хотите знать вашу главную ошибку Пятого года? Из-за чего проигралась революция?

Со встречной самоотверженностью учёного, готовый любое тяжкое признание принять:

— Финансовый Манифест? Поторопился?

Между сдвинутыми их головами — покачал Ленин, покачал пальцем, и улыбнулся как калмык на астраханском базаре, хваля арбуз:

— Не-ет! Финансовый Манифест — гениальный! Но ваши Советы...

— Мои Советы — объединяли весь рабочий класс, а не дробили его как социал-демократы. Мои Советы уже постепенно становились властью. И если б мы добились тогда 8-часового рабочего дня, только его одного! — в подражание нам начались бы восстания по всей Европе—и вот вам *перманентная революция!*

Ленин хитро, щёлками глаз смотрел, как самолюбие Парвуса само себя выгораживало, и не торопился перебивать. Ещё эта проклятая путаная перманентная революция всех их троих рассорила: в разные годы, как по карусели, друг другу в затылок, они занимали её положение, а выйдя из тени её — настаивали, что двое других неправы. Двое других всегда были или ещё или уже несогласны.

— Да нет! — отмахивался Ленин заговорщицким шёпотом, и всё с тем же хитро-добродушным азиатским оскалом.— Вы же сами так верно писали тогда: непрекращаемая гражданская война! пролетариат не должен выпускать из рук оружия! — а где же было ваше *оружие?*

Парвус насупился. Никому не нравится вспоминать свои промахи.

Всё так же держась за плечо собеседника, приклонясь, со щёлками глаз и проницанием (он много думал об этом! да больше всего об этом и думал он!), и в расположении теперь поделиться:

— Не надо было ждать никакого Национального Собрания, ещё другого, помимо Советов. Собрали Петербургский Совет — вот вам и Национальное классовое собрание. А надо было...

Ещё доверительней, вперёд как на конус, как в фокус, всем острым лицом, и взглядом, и мыслью, и словами:

— А надо было со второго дня завести при Совете — вооружённую карающую организацию. И вот—это было бы ваше *оружие!*

И — замолчал, в свой конус упёртый. Уже больше ничто не казалось ему столь важно.

Парвусу обидно:

— Ну раз вы так знаете хорошо — вот и делайте.

Особенность кабинетного мыслителя, мечтателя — он думал годами, и вот открыл, и вот ничто не казалось ему и через десять лет сравнимо по важности. Разрушительное эмигрантство, далёкое от действия, от истинных сил! — жалкая участь. Вся энергия лет и лет ушла на раздоры, на споры, на расколы, на грызню — и вот распахивал ему Парвус всемирное поле боя! — а он сидел на кровати сжатым сусликом и усмехался в конус.

Второй по силе ум европейского социализма — погибал в эмигрантской дыре. Надо было спасать его — для него же самого.

Для дела.

Для Плана.

— Да вы — п л а н понимаете мой? Вы — План мой принимаете?!?

Пробить это его окостенение: он задремал? он коркой покрылся? он ничего не воспринимает.

Ещё придвинулся — и вплотную к уху, должен же вобрать:
Как глухонемой. Глаз — не прочтёшь. Язык не отвечает.
— Владимир Ильич! Вы — в союз наш вступаете?
Рукой повиснув на его плече:

— Владимир Ильич! Пришёл ваш час! Пришло время вашему подполью — работать и победить! У вас не было сил, то есть не было денег,— теперь я волью вам, сколько угодно. Открывайте трубы, по которым лить! В каких городах — кому платить деньги, назовите. Кто будет принимать листовки, литературу? Оружие перевозить трудней — но повезём и оружие. И как будем осуществлять центральиое руководство? Отсюда, из Швейцарии, удивляюсь, как вы справляетесь? Хотите, я перевезу вас в Стокгольм? это очень просто...

Навязывал, вкачивал свою бегемотскую кровь!
Вывернул из-под него плечи.

49

Прекрасно он всё слышал и всё понимал. Но заслонка недоверия и отчуждения перегородила грудь Ленина для откровенности.

Довольно он уже ему о Девятьсот Пятом годе раскрыл.

Ещё бы мог он не оценить этого Плана, кто же бы другой тогда мог оценить? Великолепная, твёрдая программа! Удары — осуществимы, избранные средства — верны, привлечённые силы — реальны.

Теперь уже можно было признать: такого третьего сильного ума, такого третьего проницающего взгляда — не было больше в Интернационале, только их два.

Так пятикратно осмотрительным надо было быть. В политических переговорах на самом даже гладком месте — подозревай! ищи западни.

Что ж, Парвус — опять впереди! Нет, теоретически, в общем виде, Ленин это самое и сформулировал ещё в начале войны. В общем виде — Ленин так и хотел, того и добивался. Но у Парвуса поражали деловые коикретности. Финансист.

Против этой грандиозной программы Ленин не мог выдвинуть ни довода неверности, ни довода нежелания.

Всё так. По простому расчёту — главный враг моего врага — первым союзником во всём мире оказывалось правительство кайзера. В допустимости такого союза Ленин и не колебался ни мига: последний дурак, кто пренебрегает серьёзными средствами в серьёзной борьбе.

Союз — да. Но выше союза — осторожность. Осторожность — не как предупредительная мера, но как условие всего действия. Без архи-архи-осторожности — и к чёрту весь ваш союз, и к чёрту весь ваш план! Нельзя же давать ахать и плеваться хору социал-демократических бабушек по всей Европе. Подпускал и Ленин в пользу Германии осторожно, что, там, Франция — республика рантье, её не жалко. Но он всегда знал меру, где не договорить и сколько запасных выходов оставить. А Парвус — афишированно кинулся и безвозвратно потерял политическое лицо.

Вот когда Ленин понял слабость его и своё превосходство. Парвус всегда успевал выйти на открытие первым, и топал впереди, загораживая дорогу. Но у него не хватало выдержки на дальний бег: он не мог вести Совет больше двух месяцев, переубеждать немецких *соци* больше двадцати лет,— срывался, отваливался. А Ленин чувствовал в себе выдержку — на вечный бег, никогда не сорвать дыхания, бежать, сколько помнил себя,— и до гроба, и в гроб свалиться, никуда не добежав, А — не сорваться.

Союз — да, охотно, пожалуйста. Но в этом союзе быть переборчивой невестой, а не настойчивым женихом. Пусть ищут — тебя. Держаться так, чтобы и при слабости иметь позицию преимущественную, независимую. Даже кое-что такое Ленин уже и сделал в Берне. Конечно, он не пошёл стучаться к немецкому послу Ромбергу, как Парвус в Константинополе. Но Ленин разглашал свои тезисы, отлично зная, чьим ушам они могут понравиться,— и тезисы до ушей дошли. И Ромберг сам прислал к нему революционного эстонца Кескулу на переговоры, узнать намерения. Что ж, оставаясь в пределах своей истинной программы — свержение царизма, сепаратный мир с Германией, отделение наций, отказ от проливов,— допустимо было чуть-чуть и подмазать: не изменяя себе, не искажая линию, можно было пообещать Ромбергу и вторжение русской революционной армии в Индию. Измены принципам тут не было: ведь надо же штурмовать британский империализм, и кому ж ещё другому? когда-нибудь и вторгнемся. Но, конечно, была уступка, подачка, извив, колёса затягивали, однако случай не опасный. Да и Кескула был со взглядом и повадками волчьими, характером и деловитостью куда посильней размазанных российских с-д — но и тут не чувствовал Ленин опасности: Эстонию так и так отпускать, как и все народы, из российской тюрьмы, искривления линии не было: каждый использовал другого, не оступаясь. Вставили в цепочку Артура Зифельда и Моисея Харитонова, Кескула уехал в Скандинавию, и очень-очень там помог, особенно в издательской деятельности, добывал деньги на наши брошюры, помог наладить связь со Шляпниковым, а значит — и с Россией.

Во всём этом не было грандиозности парвусовского плана, но малая тихая верность — была. А зато политическое лицо — чистое.

И всё чаще в Парвусе — нетерпение. Уже видя, что разговор идёт не так, он кандидата своего упускает,— с горечью, с презрением (а это помочь не может):

— Значит — и вы?.. Как все? Боитесь носик замазать? Ждёте?

А он так надеялся на Ленина!—уж *этот*-то, думал, с ним!

И вытягивая последние доводы, волновался, потерял своё миллионерское самодовольство:

— Владимир Ильич. Не отставайте от времени. Кому бы-кому, но вам это непростительно. Неужели вы не видите, не поняли: эпоха революционеров с пачкой нелегальщины или с самодельной бомбой — отошла безвозвратно. Такие — ничего уже сделать не могут. Новый тип революционера — это гигант, как с вами мы. Он взвешивает миллионами — людей, рублей, и ему должны быть доступны те рычаги, какими государства переворачиваются и ставятся. А к тем рычагам дойти нелегко, вот приходится попасть и в шовинисты.

Тоже верно. Верно. Но...

(Можно бы спросить: а что заплатит русская революция за немецкую помощь? Не спросил, избежал, только выхватил для себя, для памяти. Было бы наивно ожидать бесплатно.)

Но... Вступая в союз, прежде всего не доверяй союзнику. Не зыби дипломатических игр — в каждом союзнике прежде всего подозревай обманщика.

Ленин нисколько не дремал — он взвешивал. Если кто дремал — только не он, может быть Парвус в берлинских переговорах? Ленин вот открыл глаза и насылал допытчивую тревогу. И допрашивал, как достукивался в барабан:

— Да разве захочет правительство Вильгельма свергать русскую монархию? Зачем это им? Им нужен только мир с Россией. А с русской монархией они будут охотно и дальше жить и дружить. И все наши забастовки им только нужны, чтобы напугать царя и вынудить к миру, не больше.

Да Па-арвусу ли надо объяснять! Это вид у него такой — богатый, упитанный, холёная эспаньолка с оплывшего двойного подбород-

ка. А если сказать откровенно (а когда-то же, кому-то же и откровенно), тень сепаратного мира замучала все его переговоры с германским правительством. Русско-германский мир был бы могилой всего Великого Замысла. Всё время это подозрение, что немцы вот уже и деньги платят на революцию, а в душе только и думают о сепаратном мире с царём, кого-то невидимого посылают на контакты. Глухо, тайно такие попытки роются, и надо о них догадываться — и вовремя высмеять, опрокинуть: да царь уже и *не в состоянии* заключить мир! если он вдруг и заключит с вами мир — то тогда власть в России может перенять сильное национальное правое правительство, которое не посчитается с обязательствами царя,— и вы только усилите их позиции!.. Втолковывать пруссакам: нет уж, нет, *реальный* мир с Германией может подписать только правительство социалистическое. Дайте же «миру» быть первым лозунгом революции, первой заботой нового правительства! Ему будет и легче идти на уступки: потому что оно не виновно в войне. От такого правительства Германия получит значительно б о л ь ш е...

Он уже *видел* тот договор, и готов был бы сам его подписать, обгоняя время.

И перехватил вспышку ленинского взгляда, что и он видел.

Всех подробностей не скажешь (не надо!): там есть разные направления у немцев. Большинство-то склоняется, что Англия — главный враг, и готовы к миру с Россией. И, по несчастью, даже статс-секретарь Ягов, пруссак из пруссаков, хотя считает натиск славянства большей опасностью, чем Англия, но ему, видите ли, неприятен план разложить Россию революцией. (Этого совсем объяснить нельзя, выверты аристократической традиции, скептическая интеллектуальная расслабленность, он не скрывает брезгливости к дипломатии агентов, доверенных лиц и маклеров. Что таков — глава министерства иностранных дел, конечно, задерживает очень.)

Но при своём изысканном уродстве Парвус умеет и покорять людей. И германский посол в Копенгагене граф Брокдорф-Рантцау — это уже взятый человек, очарованный несравненностью парвусовского ума.

Всеми аргументами против катастрофы сепаратного мира! Напряжённо убеждать: революция в России неизбежна, брожение пошло уже по всей стране, оно уже и в армии, затронуло и офицерство, а образованное общество всё кипит, что ж говорить о рабочих, и даже военной промышленности,— довольно бросить спичку и всё взорвётся! Вот можно даже назначить точную дату — и выполнить её!

Но головастый, лобастый, маленький, юркий, усмешка почти не стирается с губ, а убеждённый, кажется, ещё меньше Ягова, безжалостно:

— Так соглашения у вас там — и нет? Недоговорённость? Видимость?

Всевечное преимущество того, кто не действует: переспрашивать, быть недовольным, указывать недостатки.

Гребущими движениями обеих рук, как бы мешку туловища не опрокинуться назад, выравнивается Парвус:

— Не на бумаге с гербами, конечно! Оно всё в динамике! — и надо в каждый момент видеть все контуры и направлять его.

Направлять даже и стратегические удары. Объяснять, уговаривать, напряжённо советовать: только не наступление на Петербург! Этим бы создался патриотический подъём, Россия бы объединилась, а революция заглохла. Но и — никаких военных успехов не давать царю и особенно важно не допустить до Дарданелл, то было бы непоправимое укрепление его престижа. А самый верный удар — на южном фланге: через союзную Украину, отнять донецкий уголь — и Россия кончена.

А ещё они боятся, как бы это землетрясение да не отдалось в Берлине. И ещё приходится убеждать, что русская революция не перекинется в Германию.

— Как это? как это? — дёрнулся маленький, всё же и поталкивая брюхатого, всё ж отвоёвывая себе место на кровати.— Да вы что?! Вы — примирились, что революция ограничится одной Россией? Вы — и в самом деле так думаете? — остро, колко, допытчиво, исследовательски досматривал, проверял, нет, уже и с возмущением, как привык он ради принципа никогда не сдерживаться в оценках: — Так это ж — предательство!

(Нет, Парвус — не социалист, он кто-то другой!)

Никуда не вылезая из Швейцарии, никакого *дела* нигде не коснувшись, маленький вот атаковал, порицал:

— Вот и куцо! Вот и не хватает предвидения? Да разве может революция устоять в одной стране?

Ну да, это все была та самая *перманентная,* та заклятая бесконечная карусель, на которой обречены они были втроём кружиться, кружиться, всё меняя места и разя друг друга попрёками вчерашними или завтрашними, и никто никогда не прав.

Парвус — и не хочет германской революции? Он к ней — не стремится? Ну, не серьёзно же пишут о нём, что он стал немецким патриотом?

Но Парвус — уже не мальчик, на той карусели кружиться. Революционер нового типа, революционер-миллионер, финансист-индустриалист, может себе позволить выражаться и откровеннее:

— Мировая революция сейчас недостижима, а социалистический переворот в России — достижим. Именно против царизма должны сплотиться все рабочие партии мира!

Откровеннее — не значит откровенно. Деликатная проблема, её нельзя открыто выразить в публичной дискуссии социалистических кругов. Но вот и с глазу на глаз единомышленнику не каждому скажешь.

Этот шароголовый, перекатчивый, колкий — почти неуловим. Почти никогда нельзя предсказать его лозунга — удивит. И совсем никогда не узнать, что он думает. О с о б ы х задач социализма в России — он не понимает?

Даже с Брокдорфом эту проблему легче обсуждать. (Парвус вообще заметил, что с дипломатами всё обсуждать и прямее и проще, чем с социалистами.)

И остаётся только настаивать по поверхности:

— Любым путём уничтожить сейчас — именно царизм, надо думать об этом только!

И — к главному: к а к уничтожить? Весь смысл приезда и весь смысл этого разговора в том и есть: какие столичные, какие провинциальные подпольные организации согласен Ленин поставить сейчас на подготовку восстания? Кто и где эти люди в их железной связи и в их непобедимой готовности? Знал же Парвус, кого рекомендовал германскому правительству как самого неистового русского революционера! Знал, за каким союзником теперь приехал! Десятилетиями казалось: безумный раскольник! Он отметал всех союзников, раздроблял все силы, не хотел слышать о партии профессоров, не хотел слышать о плавном экономическом развитии, всегда — подполье! только — подполье! партия профессиональных революционеров! В мирную эпоху это казалось дико — и Парвусу, и всем,— но вот, при войне, прорисовалось, наконец, какой же он запасливый догадливый умница! Но вот когда, наконец, пришла пора использовать его могучую тренированную скрытую армию! Вот когда, наконец, пригодится, что она есть. В расчёте на неё и составлен План.

Но Ленина так не собьёшь, не повернёшь, он — своё видит и своё настойчиво ведёт:

— И как вы так примитивно переносите революционную ситуацию Пятого года на ситуацию нынешнюю?

Ну, это же ясно: война — разрушительней, длительней, изнурение и горечь масс — несравнимы, революционные организации — сильней, либералы — и те сильнее, а царизм нисколько не укрепился.

А Ленин всё — своё, его глаза как будто не прямо смотрят, а — по кривым линиям заворачивают.

— Хорóшо. Но как вы отсюда так смело назначаете дату начала?

— Ну, Владимир Ильич, ну какую-то же надо назначить — как цель, для единства действий. Ну предложите другую. Но 9 января — наилучшая, символическая, все помнят, и многие даже без нашего сигнала начнут. Легче на улицу выйдут. А — лишь бы первые вышли, а там — пойдёт!!

Что-то жмётся, жмётся Ленин. Ну, понятно: излюбленное подполье открыть — значит отдать. Неохотно.

Уже то, что Парвус так горячо настаивает,— показывает, что хочет тебя использовать.

— Так как же, Владимир Ильич? Пришло время действовать!

(О, понятен ваш план! Вы выступите сейчас объединителем всех партийных группировок плюс ваша финансовая сила плюс ваш теоретический талант, и вот вы — вождь единой партии и Второй революции? Снова?!)

Но — из глаз невычитываемых, но с губ непрошевельнувших, но через лысоту непроницаемого котла — с проницанием тоже нерядовым вырвал Парвус ленинские мысли, развернул, прочёл и ответил с бокового захода:

— Почему и предлагаю я вам ехать в Стокгольм: чтоб вы сами руководили от начала и до конца. Вы можете мне никого не называть, ничего не открывать,— только берите деньги, листовки, оружие — и посылайте! Я,— вздохнул Парвус с ослаблением, измотаешься ж в этих политических переговорах, — я, Владимир Ильич, — не тот, что десять лет назад. Я — в Россию не поеду. Я — считаю себя немцем теперь.

(Тем подозрительней. А что ж он всё — о России?)

— Мне только нужно, чтоб выполнен был План.

...Только может быть и План — мы понимаем не одинаково?..

Ртутно-неуловимый, ни в руки, ни в аргументы:

— Это значит — как и вы, открыто измараться о германский генштаб? Революционер-интернационалист этого себе позволить не может.

Раза два ещё загребя, загребя обеими руками, туловище привалил:

— Да не марайтесь! Не надо! Эту грязь — я беру, я взял на себя. А вам — даю чистые миллионы. Только — подайте мне трубы, по которым их лить. Только сплетём наши подземные, подводные, тайные нити — и мы в з о р в ё м Вторую русскую революцию!! А??

И глазами, где ум не потратил себя ни на радугу красок, ни на ресницы, ни на брови,— бесцветным концентрированным умом — проникал, хотел понять: отчего же — отказ?

Но в ленинские глаза, бурящие, выкапывающие, нельзя было войти, как нельзя войти в шило.

Двумя шильцами и с усмешечкой косенькой — недоверчивой, угадчивой и опровержительной, встретил Ленин такой заман:

— И для этого, вы сказали,— шелестел его голос ехидно,— примирительная конференция в Женеве? Будем примиряться? С меньшевичками? — И откинулся, как отброшенный, ещё б и дальше, да спинка кровати держвала: — Да вы что?!? Что значит — *примиряться*? У с т у п и т ь м е н ь ш е в и к а м???— Встряхами головы как бил, как бодал:— Ник-когда! Низ-за-что! С меньшевиками? Да пусть лучше царизм стоит ещё тысячу лет, но меньшевикам — не уступлю ни миллиметра!

Да он вообще — социалист ли?!..

А Ленин ещё доканчивал молча удары головой. Добивал кого-то. Договаривал что-то — со всею яростной мимикой, но — беззвучно.

Ничего Парвус понять не мог. Всё-таки, ехал — такого не ждал.

Великий неутомимый и самый крайний революционер при самой лучшей ситуации, при всех выстланных ему услугах — и не хотел делать революцию?..

Уже теряя надежду, уже так просто:

— Но для чего же тогда двадцать лет этих теоретических сражений, разграничений? Где же ваша последовательность? Вы готовили подполье? Вот ему лучшее применение, другого такого не наступит во всю вашу жизнь! Что же вы, роль играли?

— Будем ли упрекаться в непоследовательности? Вы тоже говорили: кучка не может принести революцию массе. А сейчас?

Свесился, свесился Парвус, подбородком с головы, головою — с шеи, шеей — с туловища, руки между колен:

— Да-а-а... Ну что ж... Хорошо... Плохо... Времени осталось мало... Значит, буду создавать собственную организацию.

Просчитался Ленин! Пожалеет когда-нибудь.

— Хоть уступите мне кого-нибудь? Нашего общего друга?

(Рвать мостов не надо, ссориться не надо, Парвус ещё ого как пригодится.)

— Кого это?

— Ганецкого.

— Берите.

— Чудновский, Урицкий — у меня уже там. Бухарина?..

— Не-ет, Бухарин — натура не та.

— А — сами вы?

Да ведь Ленин уже ясно выразился: если очень-очень-очень скрыто.

— Так. А — в Скандинавию? Быстро перевезу.

Шильца-глаза:

— Нет. Нет, нет!

Тяжело-тяжело мешку себя таскать. Тяжело вздохнул, от души:

— Да-а-а... А ещё была, всей жизни моей мечта, и вот теперь по средствам доступно: выпускать свой собственный социалистический журнал. — Силился гордо закинуть одутловатую голову, повторить отважного, горячего, с кого пошло: — «К о л о к о л»!

Ух-хнула, бух-хнула кровать их четырьмя ножками, опустясь на сапожников пол.

Продолжение следует

ПОЭЗИЯ

АЛЕКСАНДР СОЛОДОВНИКОВ



Я НЕ УСТАНУ СЛАВИТЬ БОГА...

* * *

Пророчески сбылись библейские слова,
И ни одно из них не прозвучало праздно.
Открылось, что во всех подробностях права
Была история великого соблазна.
Какую слышал речь от змия человек?
— Как Боги будете, вкусив плоды познанья!
Не то ли слышим мы в космический наш век,
Хозяйски заглянув в глубины мирозданья
И тайну атома уразумев вполне?
А что затем? — гибель в огне?
Не захотели мы припасть к кресту Голгофы
И мчимся к рубежам всемирной катастрофы.

СОЛОДОВНИКОВ Александр Александрович (1893—1974) родился в семье учителя правоведения А. Д. Солодовникова, выходца из купеческой семьи. Мать, Ольга Романовна Мальмберг, происходила из рода заводчиков Абрикосовых, давших России инженеров и писателей, издателей и философов.

Александр Солодовников учился в гимназии, окончил императорскую Московскую академию коммерческих наук, а в годы первой мировой войны добровольцем поступил в Алексеевское пехотное училище, был юнкером.

С началом гражданской войны поэт оказывается на Дону в деникинской армии. В 1919 году возвращается в Москву, где его вскоре арестовывают, и он почти два года проводит в тюрьме.

Репрессии 30-х годов не миновали поэта. В 1938 году он был схвачен и осужден. Впереди были 10 лет заключения в концлагере на Колыме.. После освобождения и вплоть до реабилитации в 1956 году Александр Солодовников жил и работал в местечке Сеймчан.

При жизни творчество поэта было известно лишь узкому кругу почитателей и ценителей, и только в последние годы появились публикации в журнале «Новый мир», газете «Семья», альманахах «Исповедь», «Из бездны», «Поэзия».

Стихотворения Александра Солодовникова всецело религиозны, как бы исполнены теплом и светом православной веры. Каждое слово подкреплено собственной его страдальческой и исповеднической жизнью.

В Успенском соборе

СВЯТИТЕЛИ

Они лежат в своих гробницах
Под сводом вековых громад,
В кругу погашенных лампад,
А мимо них бездумно мчится
Маршрутом храмов и палат
Экскурсий торопливый ряд.

Бегут толпы слепые дети,
На что укажут — поглядят,
Им не обещано в билете
Явленье таинства столетий.
Лежат святители в гробницах,
А мимо них толпа влачится.

Толпа живых — лишь призрак тут,
А погребенные живут,
И обвевает эти стены
Дух непреклонный Гермогена,
Петра, Филиппа и Ионы,
Огонь молитвы их бессонной.

Не спят святители, не спят
В кругу погашенных лампад.
Они целители святые
Души смутившейся России,
Они — завет, они — залог,
Что наш народ не изнемог.

И если хочешь укрепиться
У родника духовных сил,
Приди, чтоб тайно помолиться
Перед святыней их могил.

Люди

1.

Я не устану славить Бога
За чудеса прожитых дней,
Что так была моя дорога
Полна светящихся людей.

За то, что ими был обласкан,
Общался с ними, говорил
Без опасения, без маски
И радость сердцу находил.

2.

Мы в огненном кольце... Людей терзает пламя,
Но праведники в нем не разлучились с нами,
И, словно отроков при вавилонском чуде,
Росою нас кропят светящиеся люди.
Дар Божий — видеть их, узнать, что есть они,
Святые новые в языческие дни.

Май в Лешкове

По утрам просыпаюсь под пенье
Флейты иволги за окном,
И иду умываться сиренью,
Погружаясь в нее лицом.

Я целую душистые кисти,
Окропляю себя росой,
И сливаю с шуршаньем листьев
Благодарственный шепот свой.

А с недальней лесной опушки
Призывает читать канон
Настоятельный возглас кукушки
И блаженных ландышей звон.

Там, в лесу, для молитвенной
встречи
Все готово, и сосны стоят,
Золотые затепливши свечи,
И возносится трав аромат.

Боже мой! Велика Твоя милость!
Ты позволил мне жить, как в раю,
Презирая душевную хилость
И великую скверну мою!

* * *

Чистая дева Мария,
Всем печальница грешным Ты,
Пошли мне не мудрость змия,
Но детский талант простоты.

Возвращение

Бегут, бегут мои года,
Уже седеет борода.
Вот на закате, весь в огне,
Какой-то берег виден мне.
И я догадываюсь вдруг,
Что жизнь моя свершила круг,
Что с корабля мне все видней
Знакомый берег детских дней.

Слышны родные голоса,
Блестит песчаная коса
И посвист иволги знакомый
Летит из рощи возле дома.
Уж скоро, скоро выйдет мать
Меня у берега встречать,
И всех, кого я потерял,
Вернет мне мой девятый вал.

Заключение

Книга жизни почти дочитана,
Нарастая, грядет финал.
Все, что мной на земле испытано,
Благодарственный гимн вобрал.

Славословлю Творца и Автора
Потрясавших меня страниц.
Не могу вспоминать их наскоро,
Перед каждою падаю ниц.

Верю: Смертью не нарушается
Связь с Художником и Творцом,
В новой жизни, что занимается,
Открывается новый том.

Лишь бы только за прегрешения
Не лишиться мне дара зрения.

Благословен...

О, Мать-Земля, тебя люблю!
Когда умру — с тобой сольюсь.
В тебе растаю, распадусь,
В твоих стихиях растворюсь...
Как я люблю лежать ничком
В траве, к тебе припав лицом,
Вот запах твой, твое тепло!
Что ж! Если б тело перешло
В ростки и сделалось травой,
Ведь все равно я буду твой!
Твоя судьба — судьба моя.
Сгоришь ли ты, сгорю и я.
У нас с тобой один Творец,
Один Господь, один Отец.
И, превращаясь в прах и тлен,
Пою Ему: «Благословен!»
О, Господи, к Тебе пойду,
Предстану Твоему суду,
И верю: милость там найду,
Хотя повинен быть в аду.
С тех пор, как Жизнедавец Бог
Благословил мой первый вздох,
Я не знавал еще ночей
Без отблеска Его лучей,
Не видел пропастей таких,
Где б не встречал Его руки.
Все годы, юн я или стар,
Мне всякий день, как дивный дар.
Пою Небесному Царю:
«Благодарю, благодарю!»
И, обращаясь телом в тлен,
Пою Ему: «Благословен!»

Публикация Евгения ДАНИЛОВА.

ПОЭЗИЯ



ЭДУАРД БАЛАШОВ



В ЧИСТОМ ПЛАМЕНИ

Без конца

На святого на Захара
День стоит в крови по грудь.
В чистом пламени заката
Тает нажитая жуть.

Все уходит, что пристало,
Что налипло по пути.
На закате ало-ало
Догорают пустяки.

Остается лишь такое,
До чего еще брести,
Окропленное рекою
Покаяние нести.

И скала Елисаветы —
Сокровенное жилье —
Отворит Предтече Света
Вспоможение свое.

И привидится распятье
Под полуденным огнем,
Утоленье и пронятье
Милосердным копием.

А иному места нету,
А иного вовсе нет,
Если жизнь, не взвидя свету,
Набрела на черный свет.

Если вновь, минуя чудо,
Сквозь века из-за спины
В ночь уносятся Иуда
И предатели страны,

И мучители народа,
И ваятели тельца —
В чистом пламени ухода
Тают, тают без конца.

Есенин

Божье знамя — плат рассвета.
Лик священный на щите.
Голос русского поэта
Замирает в нищете.

Слово радости забыто.
Под забором красота.
Пляшет мертвая элита
На излучине креста.

БАЛАШОВ Эдуард Владимирович родился в 1938 году в городе Мариуполе. Окончил МВТУ имени Баумана и Высшие литературные курсы при Литературном институте имени А. М. Горького. Автор поэтических книг «Гонец», «Хлебный ветер», «Глагол молчания», «Магнит», «Чаша». Член Союза писателей СССР.

По крови по эпохальной
По-над пылью столбовой
Встал — идет поэт скандальный
С золотою головой.

А вокруг страна лихая
Во коричневом дыму.
Голова его златая
Светит Богу одному.

К Спасу Ярое Око

Не карай меня, Спасе Ярое Око!
Ты высоко во мне и далёко.
За нуждою к Тебе припадаю.
Ни за что ни про что пропадаю.

Не карай меня, Спасе Ярое Око!
Накатилась твоих супостатов эпоха.
Ведь случаются бури на солнце
не даром.
И не даром земля полыхает
пожаром.

Отведи же десницу ослепшего рока,
Не карай меня, Спасе Ярое Око!
Не утихла еще заповедная битва.
Не иссякла моя о России молитва.

Молитва матери

Господи, Ты помнишь человека?
Ты его еще не позабыл?
Если не иссякло в реках млеко,
Коим Ты ребенка напоил,
Если зреет плод в земном посаде,

Если птица вывела птенца,
Господи, молю я о пощаде:
Не забудь, не отврати лица,
Господи, Отца и Сына ради
И во имя Сына и Отца!

Наша брань

Если кто в труде и поте,
Если кто в любви и слове, —
Наша брань не против плоти,
Наша брань не против крови.

Если кто во власти страсти
И немерностей телесных, —
Наша брань противна власти
Духов злобы поднебесных.

Январь

Поля замучены. Предсмертье.
Кой-где снежок.
Неузнаваемо предместье.
Горбы дорог.

Ушли.
Слиняли как-то сразу
Дожди, леса.
Замерзшему в трясине «КрАЗу»
Помочь нельзя.

Свернулась стройка. Укатила
В январь зимы.

Лишь слышно, как скрипят
стропила
Под крышей тьмы.

Шумнет ворона. Брякнут кости
В гробу, на дне.
Иль ржавый трактор на погосте
Взбрыкнет во сне.

По-над рекой луна — что плошка.
Чуть светит лед.
А за рекой горит окошко.
Христос живет!

ПРОЗА



ВАЛЕНТИН ПИКУЛЬ



...ДЕЛА НАШИ НА ЗЕМЛЕ

ИСТОРИЧЕСКИЕ МИНИАТЮРЫ

Как трава в поле

Были сороковые годы — грозные, николаевские.

Духовная Академия столицы всегда считалась учреждением строгим, это вам не семинария в благодатной провинции, где бурсаки выпьют и закусят соленым огурчиком. Учили крепко. Латынь, греческий, философия, история. Те академисты, что желали принять сан священника, обязаны были прежде жениться. Для этого они по гостям или танцам не таскались, на улицах не флиртовали, ибо у ректора Академии всегда хранился готовый список невест — тоже из духовных семейств, выбирай любую.

В это-то время и закончил Академию некий Осип Васильев — из очень бедной, почти нищенской семьи, но парень удивительно умный и образованный. Его диссертация на звание магистра «О главенстве папы римского», писанная им на латыни, выявила большую глубину познаний в истории церкви, ему стали прочить профессорскую кафедру. Но студент от кафедры отказался, говоря, что желает служить священником. Синод не возражал, от синодальных владык было ему авторитетно объявлено:

— Ладно. Ныне посольской церкви Парижа требуется как раз священник. Нынешний же отец Вершинский от старости в уме повре-

дился: со своим попугаем все разговаривает, обозревая с ним философию Пифагора по трудам Генриха Риттера. Но прежде женись. Для того и повидай ректора. Он всех невест в Питере знает...

Ректор предъявил Васильеву длиннющий список невест, которые, минует еще год-два, и перейдут в разряд «перестарков».

— Гляди в первый ряд,— указал он перстом.— Вот Евфимий Флеров, что священнодействует при церкви на Волковом кладбище. Сразу шесть девок на выданье. Езжай. Присмотрись...

Легко сказать — езжай, если до Волкова кладбища и своими-то ногами не ведаешь как добраться. Тьма египетская, заборы шатучие, дощатые мостки прыгают над лужами, словно клавиши у рояля, во мраке слыхать посвист молодецкий, а будочников или дворников не дозовешься: дрыхнут, окаянные! Кое-как добрел Осип Васильев до кладбища, постучался в дом отца Флерова:

— Я из Академии... чтобы жениться. Срочно. Нельзя ли?

— Можно,— отвечал глава большого семейства.— Это мы спроворим. Мигом. Вы присядьте. В ногах правды нету...

Стал он тут выкликать поименно: Анька, Санька, Лизка, Парашка, Дунька...— откуда ни возьмись так и сыпались, словно горох с печи, девицы на выданье, одна другой краше, и, глянув на жениха, все стыдливо закрывались от его взоров рукавами.

— Ну,— сказал отец Евфимий,— все тут мои, а чужих не держим. Выбирай любую, какая со спины поусядистее.

Осип Васильев тоже стыдился, говоря смущенно:

— Мне бы еще походить к вам — приглядеться.

Евфимий Флеров стал хохотать:

— Эва, чего захотел! К нам на кладбище-то ходить, так все мослы переломаешь. Укажи сразу, какую надобно. Ткни в любую перстом — и волоки ее под венец.

— Мне бы такую, дабы в Париже не стыдно было ее показывать. В отъезд беру. Хорошее место предвидится... в Париже-то!

— А-а-а, вот оно што,— помрачнел отец Флеров.— В эдаком разе надобно прежде выпить, чтобы потом тебе не раскаиваться...

Выпили и поговорили, обсудив во всех деталях каждую из шести невест. Когда Флеров побежал за второй бутылкой, Осип Васильев по зрелом размышлении остановил свой выбор на Аннушке, благо училась в пансионе Заливкиной и французский язык понимала. По тем временам дочерей священников почти не учили, считая, что и без ученья прожить можно, а вот кладбищенский поп шагал впереди своего времени, и девицы его даже танцевали, будто смолянки.

— Анюта лучше всех! — убежденно воскликнул академист, когда Флеров открыл бутылку.— О приданом даже не спрашиваю, ибо в Париже сулят мне жалованье изрядное... от посольства!

Сразу после свадьбы молодой благочинный с женою отбыли в Париж, а поспели туда как раз к революции, когда народ свергал короля Луи Филиппа, на улицах возводились баррикады, окна пришлось затыкать подушками, из которых по утрам вытряхивали пули, застрявшие в перьях. Под звуки выстрелов Анна Евфимиевна без особой натуги, а даже с некоторой приятностью спешно родила первую дщерицу. А потом как пошли, как поехали — дочка за дочкой, только успевай святцы листать, чтобы имя достойное избрать ради крещения новорожденной. Версаль был, конечно, разграблен, и отец Осип по дешевке купил королевский сервиз с коронною маркировкой, из чашек сверженного короля супруги Васильевы по субботам теперь распивали кофеек, рассуждая:

— Надо же! До того наш царь невзлюбил революционную Францию, что даже посла своего отозвал. Ныне остался лишь поверенный в делах — граф Николай Киселев, мужчина добрый.

— Ты, Осип, жаловался ли ему, что живем худо?

— Да печалился. А что он может сделать... поверенный!

Посольская церквушка на улице «рю Берри» располагалась в частном доме, тесная и неуютная, иконостасик был бедненький; при церкви же была и квартира Васильевых, окна которой выходили на мощеный двор, где росли ореховые и абрикосовые деревья — детям в забаву. Вне службы отец Осип носил наперсный крест под сюртуком, чтобы не привлекать внимания парижан; жена нарочно подстригала его очень коротко, священник носил цилиндр, никогда не расставался с тростью и лайковыми перчатками, внешне очень мало похожий на своих русских коллег. Васильев довольно скоро сделался достаточно известен в духовном мире Парижа как блестящий оратор, часто выступавший на богословских диспутах в защиту догматов православия, и даже нажил себе немало врагов — после того как победил в споре иезуита Яловецкого; этот иезуит не забывал о позоре своего поражения и, кажется, только выжидал случая, чтобы отомстить молодому «схизмату»...

Васильев не раз доказывал графу Киселеву:

— Не стыдно ли, что великая Россия имеет в Париже церковь, размещенную в двух комнатушках, и это при том, что колония русских аристократов в Париже столь многочисленна? Разве станут уважать нас французы, если мы своего храма в Париже до сей поры не имеем — при том, что даже мусульмане мечеть имеют?

— Личные симпатии нашего императора,— отвечал Киселев,— издавна обращены к Берлину, а с Парижем он привык не считаться. Боюсь, Осип Васильевич, что давнее напряжение в политике двух великих держав приведет нас к войне с французами...

Жалованье у Васильева было достаточным, семья ни в чем не нуждалась, отец Осип даже откладывал, как водится, «на черный день». Анна Евфимиевна, урожденная среди могил Волкова кладбища, поразительно быстро освоилась с парижскою жизнью, но дома супруги говорили только на русском языке. Женщина исправно рожала только дочерей, словно по заказу, а чтобы девочки от колыбели освоили язык своей отчизны, Васильев выписал из России деревенскую девку; эта девка мигом научилась французскому, пила теперь не чай, а лишь кофе, по вечерам она бегала в театры смотреть мелодрамы с таким жестоким содержанием: она его полюбила, а он ее разлюбил... Ну, как тут не разреветься? И возвращалась из театров каждый раз плачущая навзрыд.

Иногда же, с кошелкой в руках, одетая как француженка, ничем не отличаясь от парижанок, мадам Васильева сама навещала соседнюю лавчонку в конце улицы «рю Берри». Однажды попросила нарезать ей ветчины для ужина. Француз отрезал два тонких, как бумага, ломтика, спрашивая: «Хватит?» Мало. Отрезал еще один ломтик с тем же вопросом. Опять мало. Лавочник потом резал, резал и резал, каждый раз спрашивая: «Хватит?» И так вот (с вопросами) накромсал для попадьи целый... ф у н т.

— А-а,— догадался он, радуясь своей сообразительности,— у вас, наверное, сегодня вечером большой прием и вы, мадам, готовитесь принять много-много гостей...

Анне Евфимиевне было стыдно сознаться, что этот фунт ветчины будет уничтожен вечером ею самой и мужем, а гостей она не ждет. Иногда мадам Васильева выводила восемь своих дочерей на прогулку — до парка Монсо и обратно. Все девочки в беленьких платьицах, в одинаковых прюнелевых туфельках, все в одинаковых шляпках «а-ля фурор», каждая младшая держалась за поясок старшей, идущей впереди, а сама мать время от времени раздавала им несерьезные «шпандыри», чтобы вели себя чинно и благопристойно.

Эту процессию однажды увидел тот же самый лавочник.

— А-а,— вмиг догадался он,— мадам — учительница и вывела на прогулку школу своих малолетних учениц... Браво!

Анне Евфимиевне опять было стыдно сознаться, что она сама про-

извела на свет целую «школу», а в чреве ее уже колыхался следующий плод,— дай-то ей Бог мальчика!

Вот уж чем прославилась мадам Васильева в Париже, так это умением засаливать огурцы, и на французов эти огурцы всегда производили очень сильное и даже, я бы сказал, тревожное впечатление от встречи с «русским деликатесом».

Париж, между прочим, был переполнен россиянами. Как правило, богатейшими аристократами. Многие осели здесь сразу после Венского конгресса, обзавелись своими домами, некоторые давным-давно перешли в католическую веру, иные даже забывали родной язык, вспоминая о России лишь в тех случаях, когда деревенские старосты задерживали выплату денег с того оброка, который они драли с крепостных. Захудалая церковь при русском посольстве, конечно, посещалась этими полуэмигрантами неохотно и то лишь от случая к случаю...

Все дети Васильевых, живущие интересами родителей, привыкли видеть на своем дворе такую обычную картину: возле металлических гробов часто суетились рабочие, которые запаивали эти гробы для очень дальней дороги,— так, забыв о родине, в ее великое материнское лоно возвращались все те, кто отжил, отблудил и отплясал свой срок на праздничной чужбине.

. . . .

Васильева однажды навестил пасмурный граф Киселев:

— Помните, о чем я вам говорил? Так именно и случилось. Наш император вкупе с его канцлером Карлушкой Нессельроде все-таки привели Россию к войне с французами, и я отзываюсь со своего поста. Дипломатические отношения уже прерваны.

— А как же я, Господи? — расплакался тут священник.

— Вас политика не касается. Вы остаетесь при русской церкви в Париже, где русские интересы отныне будет представлять саксонский посол барон Лео Зеебах, он же и любимый зятек нашего поганца Нессельроде, женатый на его дочери...

Впрочем, читатель, винить во всем Николая I тоже несправедливо. Стоило ему начать строительство солдатских казарм на Аландских островах в Балтийском море, как в Лондоне лорд Пальмерстон сразу же заявил, что эти казармы угрожают безопасности Великобританской империи. Возникшая война, поименованная «Крымской», прославила русского воина героической обороной Севастополя, но она — будем честны! — не вплела благоухающих лавров в викториальные венки былой русской славы.

А первый удар по России англо-французы нанесли не в Крыму, они всем флотом обрушились именно на эти злополучные казармы на Аландском архипелаге. Там и гарнизона-то было — кот наплакал, но союзники целый месяц утюжили защитников островов бомбами, высаживая десанты. Вместе с остатками гарнизона попал в плен и его начальник Я. А. Бодиско (это дед по матери нашего известного писателя Сергея Минцлова, о котором только теперь стали иногда вспоминать). Генерала Бодиско, угодившего в полон вместе с женой и детьми, французы разместили в гаврском «Отеле Великого Оленя», а его солдат спровадили на остров Экс, что расположен в устье реки Шаранны,— именно на этом острове Экс сдался император Наполеон, и отсюда он отправился на другой остров, Святой Елены, где и смежил свои завистливые очи...

— Ну, мать,— сказал Васильев своей верной супружнице,— вот и настал для нас черный денек, на который загодя мы откладывали... Давай теперь все, что скопили!

Для получения полномочий ради посещения соотечественников Васильев навестил военного министра Жана Вальяна.

— Не возражаю! — охотно согласился министр.— Но вы напрасно волнуетесь, аббат. Ваши пленные офицеры вольны сами избрать для проживания в плену любой город Франции... кроме Парижа, конечно. По тарифам от 1837 года генерал Бодиско будет получать от нас по сто шестьдесят шесть франков в месяц на всем готовом, полковники — по сто франков, ну и так далее — по рангам...

По словам Вальяна, пленные солдаты имеют дневные порции французского пехотинца: полтора фунта белого хлеба, полфунта мяса, а в супе каждого будет вариться шестьдесят граммов турецкой фасоли,— все французы этим пайком довольны. Васильев, взяв из домашней кубышки все деньги, отправился на остров Экс, где были старинный форт Лидо и деревня,— именно здесь разместили солдат аландского гарнизона осенью 1854 года. Пленным разрешалось гулять и купаться в море сколько им угодно, но не позже шести часов вечера они были обязаны являться к форту на перекличку. Священника они встретили почти восторженно:

— Гляди, братцы, наш-то поп, и прямо из Парижа, только бороды нет и стриженый, будто барин какой...

«Я,— докладывал Васильев в Синод,— отведал хлеб, говядину и суп пленных, найдя их весьма хорошего качества». Но зато он выслушал немало нареканий по поводу белого хлеба.

— Души в нем нету,— жаловались солдаты.— Нашего ржаного как навернешь с утра пораньше, так до вечера песни играешь, а этот... Мы его после обеда доедаем — в забаву!

Васильев понимал причины солдатского недовольства. Русский солдат имел от казны на день три фунта черного хлеба, щи с мясом да кашу с маслом, а потому порция французского пехотинца его никак не насыщала. Васильев развязал свою мошну, щедро наделяя солдат деньгами из собственных сбережений, а еще сто франков он вручил врачам в лазарете:

— Это вам, мсье, на рыбий жир... Мало ли что! Может, кому из наших солдат надобно подкрепить здоровье.

Двадцать жандармов стерегли русских пленных в стенах форта Лидо, но пленные на этих жандармов не обижались:

— Мы с ними в подкидного дурака режемся, они ребята — хоть куда. Мы, отец Осип, только местных мужиков да баб ихних не уважаем! До чего ж зловредные... И таки хапуги, таки скопидомные, так и норовят, как бы нашего брата обжулить.

Целую неделю Васильев прожил с пленными, собирал солдатские письма на родину, чтобы переправить их в Россию с дипломатической почтой саксонского посланника. На обратном пути он завернул в городок Ла-Рошель, где жаловался префекту на жителей Экса, что ведут себя алчно, за гроши выманивая личные вещи у пленных, а русские деньги меняют только за полцены:

— Между тем, вы, префект, не можете иметь жалоб от жителей Экса на русских военнопленных. Ведут себя порядочно.

— Вы правы,— согласился префект Ла-Рошели.— Поведение ваших солдат достойно всяческой похвалы. Надеюсь, вас устроит мое решение: отныне всем французам, повинным в обмане русских или в стяжательстве за счет пленных, я определю наказание: три месяца тюрьмы или штраф в триста франков...

Довольный поездкой, Васильев вернулся в Париж, откуда сразу отправил на остров Экс своего певчего Алексея Копорского с наказом, чтобы образовал могучий хор из числа пленных:

— Они там с жандармами дурака валяют, а ты распевай с ними песни народные, чтобы поплакали, о родине поминая. А я поговорю с Вальяном, чтобы белье им меняли почаще...

На последние деньги Васильев купил для пленных несколько пудов туалетного мыла, отправил с певчим тридцать фунтов свечей, чтобы пленные не сидели в потемках, а романы Дюма читали. Вальян

снова принял священника, обещал менять белье пленным раз в неделю и выдать солдатам шерстяные одеяла. Беда подошла с той стороны, с какой Васильев никак не ожидал ее.

Вальян вдруг отказал ему в своей протекции:

— И прошу более не беспокоить меня своими визитами. Я не думал, что в лице русского кюре встречу опытного шпиона. Впредь посещать пленных на острове Экс я вам запрещаю!

В чем дело? Оказывается, иезуит Яловецкий, однажды побежденный Васильевым в богословском диспуте, решил отомстить священнику. В газетах появились статьи о том, что русское посольство оставило его в Париже — шпионом, а популярная «Монитор» известила парижан о том, что Васильев, бывая на острове Экс, занимался не религией, а — политикой, побуждая своих соотечественников к бунтам и побегам...

— Не,— сказал Васильев супружнице, попросив ее как можно короче подстричь ему бородку,— я в газетную полемику ввязываться не стану, ибо никаких денег не хватит, чтобы отбрехаться от газетных волкодавов. Я пойду сразу наверх...

Вскоре император Наполеон III был очень удивлен, что аудиенции у него домогается православный священник. Как это ни странно, читатель, но владыка Франции, человек достаточно образованный, почему-то считал, что православие — это лишь секта, выпавшая из-под власти Ватикана, дабы Россия постоянно вредила папе римскому. Свидание с «сектантом» казалось ему забавным:

— Приму! Стоит посмотреть на этого дикаря...

Удивление императора возросло, когда вместо «дикаря», заросшего волосами, которого еще при входе следовало бы обыскать с ног до головы, перед ним предстал элегантный господин с великолепной осанкой, а речь этого «дикаря» была слагаема на классическом французском языке.

— В положении, в которое я поставлен,— говорил Васильев,— мне очень трудно опровергнуть те обвинения, что высказаны вашей прессой, оскорбившей достоинство моего духовного сана. Я решился бы страдать молча, если бы в моем Божьем слове не нуждались мои страдающие единоверцы...

Во время почти часовой речи, выдержанной примерно в таком духе, Васильев разрушил наивное представление Наполеона III о русских «сектантах», и Наполеон III, слушая Васильева с огромным вниманием, не однажды восклицал — в полном недоумении:

— О, монсеньор аббат!.. о, монсеньор кюре!..

Цитирую: «После окончания (речи) император долго молчал, удивленно глядя на Васильева, наконец разразился комплиментами, извинениями за подозрения в шпионстве и сказал: «Теперь я вас лично знаю и никому более не поверю, все оказалось газетной клеветой...»

Радостный, Васильев вернулся домой.

— Мать,— сказал он жене,— я получил карт-бланш на свободу поведения от самого императора... Подзайми денег у соседей, продай что угодно, хотя бы даже этот королевский сервиз из Версаля, ибо нам предстоят немалые расходы.

— Что ты еще задумал, отец?

— Наши-то Ваньки да Васьки вернутся после войны по домам, разъедутся по своим деревням, станут их там спрашивать — какова жизнь во Франции? А они, кроме форта Лидо на острове Экс, ничего путного и не видели. Вот и замыслил я — поочередно звать наших пленных в Париж, чтобы погостили у нас да Париж посмотрели... не все же аристократам глазеть на него!

С той поры так и повелось. А полиция Парижа скоро привыкла, что в квартире Васильевых всегда полно пленных. Никаких забот от них ни хозяину, ни ажанам не было. Но однажды один из наших, некто Феденька Карнаухов, решил гулять по Парижу в одиночку. Васильев

не стал его отговаривать, но заранее внушил солдату, чтобы допоздна не шлялся, на девок парижских чтобы не заглядывался, объяснил, как вернуться домой, нигде не плутая:

— В случае чего — спрашивай нашу улицу, рю Берри, тебе каждый ее покажет... Запомнил?

— А чего тут не запомнить? — отвечал Федя...

Ушел и пропал. Только на третий день поисков военнопленный был обнаружен в тюремной камере как злостный бродяга, упорно не желающий назвать свое имя и звание. Вызволив Карнаухова из полицейского заточения, отец Осип ругал его:

— Почему ж не назвал улицы, чтобы домой вернуться?

— Как не назвал? Я им русским языком талдычил: хрю-возьми, хрю-возьми, хрю-возьми... Вот они меня взяли и потащили!

— Дурень сиволапый! Да не хрю-возьми, а рю Берри.

— А какая тут разница? — отвечал бравый солдат...

Война закончилась и наступили новые времена — либеральные, в России началась пора гласности и обновления. За то, что денег своих не пожалел, лишь бы помочь на чужбине военнопленным, протоиерей Осип Васильев был награжден орденом св. Анны 2-й степени — с публикацией о том в столичных газетах. Анна Евфимиевна за время войны с Францией умудрилась вновь забеременеть, а ее постаревший отец Евфимий Флеров, что священнодействовал над могилами Волкова кладбища, писал дочери, чтобы привезла в Питер своих доченек — посмотреть на них. Для внучат старик уже насушил целую гору черных сухарей, заранее присыпав их крупной солью. «Клопов,— сообщал отец дочери,— я заранее кипятком прошпарил, а вот тараканов, сколько я ни травил их, никак не вывести».

— Надо ехать,— загрустила жена.— Не ровен час, помрет папенька, а потом жди-пожди, когда еще мы с ним на том свете повидаемся? Едем. Пусть наши чада сухарей родных погрызут. Эдакого-то лакомства, да еще с солью, где в Париже увидишь?..

Семья Васильевых приплыла в Петербург на пароходе.

Выставив большущий живот, ковыляла попадья на высоких каблуках по родимым булыжникам, за ней длинной цепочкой двигались ее чада — уже подросшие, чуть поменьше, еще меньше и совсем маленькие. Сейчас увидят они перепуганных тараканов в домике на Волковом кладбище, станут грызть черные сухари с солью...

. . . .

За время пребывания в столице Васильев усиленно хлопотал в Синоде, чтобы тот не скупился в средствах ради создания в Париже православного храма. Этот храм был заложен еще в 1859 году (пятиглавый, красивый, богатый), но денег для его завершения, как водится, не хватало, и тогда отец Осип, уже потеряв всякую веру в помощь синодальных властей, обозлился на всех и махнул прямо к открытию Нижегородской ярмарки.

Посмотрел он там, как широко гуляют купцы первой и прочих гильдий, как швыряют они сотенные бумажки к ногам плясуний да цыганок, и начал стыдить толстосумов, убеждая их жертвовать на построение парижского храма. Своими проповедями он мешал купцам веселиться, даже надоел им! Послали они своего малого за мешком, который почище, и в один мах нашвыряли для отца Осипа полный мешок денег — новенькими ассигнациями, только бы он отвязался от них со своими поучениями о нравственности! Пересчитал деньги Васильев и подивился:

— Мать честная! Двести тыщ и, кажись, даже более...

Вскоре Париж обзавелся большим православным храмом.

Французов, желающих посетить этот храм, было очень много. Но в церковь запускали партиями — не более двухсот человек зараз, при

этом сторожа сшибали с парижан котелки, а у парижанок они силком отнимали визжавших от страха собачек...

В 1867 году, когда при Святейшем Синоде был образован Учебный Комитет, Осипа Васильевича Васильева отозвали в Петербург, где он и стал первым председателем этого Комитета. В столице Васильев славился как литератор и ученый богослов, время от времени — не так уж часто! — он читал великолепные проповеди в Сергиевском соборе на темы общенародной морали, которые неизменно привлекали громадные толпы верующих.

Постоянное умственное и нервное переутомление сказалось на здоровье Васильева, когда он был еще полон нерастраченных сил. Васильев умер от инсульта в возрасте 60 лет и был погребен — рядом с женою — в Александро-Невской лавре столицы. В самый разгар первой мировой войны была издана его переписка...

Тогда же его дочь Лидия писала: «Что дела наши на земле! *Как трава в поле,* опалило нас солнце — и все исчезло...»

В самом деле, не хочешь, да все равно задумаешься!

Вот жил человек, любил, страдал, радовался и огорчался, о чем-то хлопотал, что-то делал, а... где же все это? Пожалуй, остался от него один только храм в Париже, зато вот о нем самом — ни звука, будто и не было на свете этого человека...

Не знаю, как вам, читатель, а мне печально.
Неужели и нас никогда не вспомнят?
Неужели и мы с вами — «как трава в поле»?

Есиповский театр

На этот раз я приглашаю своего читателя в... театр.

Только не в московский или петербургский, которые подробно описаны в наших солидных монографиях,— нет, я заманиваю вас в глухомань старой русской провинции, где в конце XVIII столетия насчитывалось около *двухсот* частных театров с крепостными Анюткамн и Тимохами, которые по вечерам, подоив коров или наколов дровишек, дружно входили в благородные роли Эвридик и Дидон, Эдипов и Фемистоклов. В конце самых кровавых трагедий публика, естественно, требовала развлечений.

«...тута наш Эдип горящую паклю голым ртом жевать приметца и при сем ужасном опыте не токмо рта не испортит, в чем всяк любопытный опосля убедитца, в рот ему заглянув, но и грустного вида не выкажет. За сим уважаемые гости с фамилиями (семьями, говоря иначе) почтительнейше просютца к ужыну в конец липовой аллеи, туды, где моя аранжирея...» — здесь, читатель, я процитировал театральную афишу села Сурьянино Орловской губернии.

Боже мой, как давно это было, и если уцелело Сурьянино до наших времен, то колхозники вряд ли посещают местный театр, где актеры без боязни жуют горящую паклю, после чего «фамильно» гуляют в оранжереях, поспешая к веселому ужину. Между прочим, я давно заметил: каждый раз, когда речь заходит о крепостном театре (именно таким он и был в русской провинции), сразу же вспомнлают знаменитую Парашу Жемчугову:

— Вот вам! Крепостная девка, а стала «ея сиятельством», продлив род графов Шереметевых до самой революции...

Но случай с Парашей исключительный, недаром же о ней так много написано. Спасибо и Герцену за его «Сороку-воровку», и Лескову за «Тупейного художника», и князю Кугушеву за его «Корнета Отлетаева», они задолго до нас раскрыли пыльные кулисы крепостного театра, расписанные доморощенными Рафаэлями,— те самые кулисы,

где скрывались любовь и ненависть, коварство и злодейство. История таких дворянских театров имела немало летописцев, но из прискорбно-героической летописи я, читатель, безжалостно вырву для вас только одну старинную страницу...

Слушайте! Я буду рассказывать то, что известно из стародавних воспоминаний, а заодно расскажу о том, что ускользнуло от пристального внимания наших историков-театроведов.

В самый канун прошлого века среди множества частных театров когда-то славился и театр помещика Петра Васильевича Есипова в его селе Юматово, что находилось в сорока верстах от Казани. Место глухое, в стороне от больших дорог, а театр все-таки существовал, хотя владелец его ни титулом, ни чином не блистал — всего-то лишь отставной прапорщик. Кстати, холостяк!

Отыгравшую летний сезон в Юматове для гостей и заезжих Есипов на зиму вывозил труппу в Казань, где он выстроил городской театр, постепенно разоряясь на музыкантах и декорациях, отчего денег ему хватало только на освещение сцены, а зал тонул в кромешном мраке, почему публика ездила к Есипову со своими свечками, губернаторша привозила в свою ложу домашнюю лампу. Петр Васильевич допускал в театр также и местных татар, для которых однажды поставил оперу «Магомет». Когда же на сцену вынесли чалму Магомета, «среди татар возникло смятение: торопливо скинули с ног своих туфли, попадали ниц для молитвы и, наконец, всей толпой хлынули вон из театральной залы, оглашая спящую Казань возгласами: «А л л а!»...»

По словам знаменитого Филиппа Вигеля, этот Есипов был «ушиблен» Мельпоменой и своим же театром, Мельпомене услужая, он от «ушибов» лечился. Вигель самолично бывал у него в Юматове — в самый разгар летнего сезона. «Хозяин встречал нас с музыкой и пением... это был добрый и пустой человек, рано состарившийся, который не умел ни в чем себе отказывать, а чувственным наслаждениям он не знал ни меры, ни границ,— вспоминал Вигель.— Через полчаса мы были уже за ужином...»

Тогда бытовал такой порядок: женщины садились по одну сторону стола, мужчины — по другую. Но каково же было удивление Вигеля, когда он оказался между двумя красавицами, а вся столовая наполнилась нарядными женщинами, которые вели себя чересчур свободно, призывно распевая перед гостями:

Обнимай, сосед, соседа,
Поцелуй, сосед, соседку...

Только теперь до Вигеля дошло, что это не окрестные барыни, а крепостные артистки Есипова; хозяйски руководя застольем, они то и дело подливали Вигелю в пенную чашу. «Не знаю,— писал он в мемуарах,— какое название можно было дать этим отравленным помоям. Это было какое-то дичайшее смешение водок, вин и домашних настоек с примесью, кажется, деревенского пива, и все это было подкрашено отвратительным сандалом...»

Мне все понятно: не хватало денег на освещение театра — не было их и для закупки хорошего вина, и Вигель тогда же отметил, что село Юматово, кажется, было уже последним имением Есипова — все остальные давно проданы или заложены. Но театр процветал! Ушибленный им, Есипов им же и лечился.

Писатель Аксаков, тоже знакомый с труппой Есипова, отличал в ней красавицу Феклушу Аникиеву, к ногам которой казанская публика не раз швыряла кошельки с золотом, а Филипп Вигель, думаю, не мог не заметить и Г р у н ю... тихую и красивую Груню Мешкову, которая за господским столом вела себя с почти царственным величием примадонны.

Из глубин века XVIII мы, читатель, уже вторглись в следующее столетие, и здесь, на переломе эпох, сразу же сообщаю, что театр

П. В. Есипова просуществовал до 1814 года, и виновато в этом не только оскудение его владельца — в этом повинно и нечто такое, о чем наши ученые еще не имеют определенного представления, не в силах объяснить таинственные явления. Те самые явления, которые наши легковерные пращуры извечно приписывали к серии чудес «загробного мира».

А в наше повествование уже вторгается смелая женщина.

Точнее — не только смелая, но отчаянно-храбрая.

О таких, как она, принято говорить — «сорви-голова»!

. . . .

С детства нам памятно хрестоматийное: «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет...» Да, в старое время, как и поныне, немало водилось женщин, которым лучше бы родиться мужчинами. Кажется, они и сами сознавали это, не расставаясь с пистолетами, многие носили мужской костюм (вспомним, наконец, императрицу Елизавету, которая не стыдилась танцевать в гусарских штанах с дамами и фрейлинами). «Девица-кавалерист» Надежда Дурова или же лихая партизанка Василиса Кожина вошли в отечественную историю, и даже в эскадре адмирала Рожественского, плывущей в пекло Цусимы, обнаружился матрос, при тщательной ревизии оказавшийся девицей. Ох, многое мы позабыли!

Конечно, Александра Федоровна Каховская, урожденная Желтухина, дворянка Казанской губернии, никак не годится для помещения ее имени в учебник истории. Однако, по свидетельству современника, «природа ошибкой создала Каховскую женщиной, наделив ее всеми качествами мужчины. Она была смела и отважна до безумия: для нее совсем не существовало чувство страха. Каховская просто не понимала — как можно чего-то бояться!»

Словно в насмешку судьба одарила ее таким мужем, жизнь с которым напоминала боевые испытания на воинском полигоне. Когда супруги открывали огонь из пистолетов, то все жители деревни спасались за околицей от шальных пуль, круживших над ними, словно шмели над медом. Кончилась эта семейная идиллия одним удачным броском кинжала, пронзившим ногу Каховской, после чего она всю жизнь не могла избавиться от хромоты. Подхватив грудного младенца, прижитого ею в краткие перерывы между баталиями, Александра Федоровна вскочила в седло и, выстрелив на прощание в своего драгоценного мужа, крикнула:

— Больше ты меня никогда не увидишь...

Александра Федоровна уже не пыталась найти утешение в браке, всю свою жизнь посвятив воспитанию сына. Как она воспитала его — этого я не знаю. Но мне известно, что юный Каховский, служивший потом в кирасирах Петербурга, редко промахивался на дуэлях, за что и был посажен в Петропавловскую крепость. Александре Федоровне было тогда под сорок лет. Прослышав о беде с сыном, она помчалась в столицу — верхом!

Семьсот пятьдесят верст от Казани при тогдашнем бездорожье да еще в осеннюю слякоть, без провожатых и слуг, Александра Федоровна проскакала одна, и Александр I выпустил ее сына из заточения, говоря приближенным:

— А разве можно отказать такой женщине?..

Николай Иванович Мамаев, казанский старожил, с детства знавший Каховскую, писал в мемуарах, что не только опасности искали Каховскую, но и сама Каховская как будто нарочно выискивала опасности. Лучшим развлечением для нее была перестрелка в ночном лесу с разбойниками, она отчаянно кидалась наперерез взбесившейся тройке лошадей, удерживая их на самом краю оврага. Но из любых приключений женщина выходила даже без единого синяка, очень довольная испытанным ею риском.

— Если жить, так лучше всего на полном скаку, чтобы ветер свистел в ушах,— говорила она.— Не танцевать же мне... Да и кому я нужна такая? До утра подержат, а утром выгонят!

Каховская была некрасива, волосы ее очень рано поседели, и, будто предвосхищая моду будущих нигилисток, она стригла их очень коротко; при этом была близорука и не расставалась с лорнетом, «рукоятью которому служило кольцо, которое она вздевала на свой указательный палец». Наконец, все в Казанской губернии знали Каховскую как человека удивительно доброй души, она никому и никогда зла не сделала, все ее любили и уважали...

Однажды летом, в изнуряющий зноем день, Александра Федоровна собралась навестить своего брата* в его имении Базяково, что лежало в закамских лесах. Дорога предстояла дальняя. Шестерик лошадей, заранее откормленных овсом, был впряжен в старинную развалюху-карету со слюдяными окошками. Песчаная дорога и несносная жарища очень скоро истомили лошадей, а за лесом уже начиналась гроза, все разом потемнело, зигзагами вспыхивали в отдалении молнии, ветер раскачивал и валил наземь гигантские сосны, пошел дождь, а ямщик забеспокоился.

— Барыня,— сказал он Каховской,— как хошь, гляди сама, экие деревья поперек дороги падают, да и лошадушки из сил выбились. Уж ты будь добра — повели назад поворачивать.

Распахнув дверцу кареты, Каховская огляделась:

— Заворачивай направо в проселок, отселе, кажись, версты три, не более, до есиповского Юматова, а я чаю, что Петр Василич Есипов будет рад меня видеть...

Лошадей завернули («вместе с тем, гром и молния, как бы довольные тем, что принудили ее переменить свой путь, начали удаляться»), и вскоре за лесом забрезжили теплые лучинные огни в окошках деревни. Юматовский староста, хорошо знавший Каховскую, встретил ее с поклоном на пороге своей избы, сообщив, что Есипов давно не живет в деревне, а дом господский пустует:

— Все беды начались с того, как сбежала Груня Мешкова, которую барин почитал главным украшением своего театра, после чего Петр Василич и сам отъехал в Казань на житие. Не знаю, правда ли, но люди пришлые сказывали, что болеть стал почасту...

Каховская сказала, что ей надобно переночевать:

— Гроза-то прошла, но, может, другая к ночи собирается.

— Милости просим,— радушно отвечал староста.— Но боюсь, что несвычно вам будет в избе нашей. Но моя семья на полатях потеснится, а вашу милость на лавке укладем...

Александра Федоровна удивилась:

— Будто ты, Антипыч, впервой меня видишь! Да я сколько раз у барина твоего гостила — так вели отворить дом господский, не обворую же я его хоромы. Опять же и неловко мне, ежели стану детишек твоих в избе беспокоить.

— Не смею, сударыня,— вдруг отвечал ей староста.

Тут Каховская даже обозлилась на него:

— Так тебе же и попадет от барина, ежели Петр Василич проведает, что ты меня в его же дом ночевать не пустил.

— Эх, барыня, не стращай ты меня гневом господским! — отвечал Антипыч.— И совсем не того я боюсь — и н о г о.

— Так чего ж ты боишься?

Антипыч пугливо огляделся по сторонам, сказал:

— С той поры, как барин отъехал, нечисто там стало.

---

* Это мог быть один из братьев А. Ф. Каховской — Петр или Сергей Желтухин, портреты которых помещены в Военной галерее Эрмитажа — как прославленных героев войны 1812 года. Братья Желтухины, под стать своей сестре, тоже славились отвагой.

— Эка беда! — отмахнулась Каховская, глянув на проясневшее небо.— Ежели и неприбрано, так мне все равно.

— Я о другом, сударыня,— тихо произнес староста.— В дому господском даже лакеи жить отказались, потому как уже не раз люди прислужные видали в дому привидение.

— Так на ловца и зверь бежит! — обрадовалась Каховская, даже подпрыгнув от радости, словно шаловливая девочка.— Уж сколько баек разных про нечистую силу слыхивала, а вот видеть еще не доводилось... Отворяй дом господский. Не лишай меня, Антипыч, такого великого удовольствия... веди!

— Воля ваша,— согласился староста; он зажег фонарь, взял ключи и сказал: — Ну, пойдемте... отворю вам. Только на меня потом не пеняйте, ежели што случится...

Дождь кончился. С листьев падали тяжелые капли.

В природе наступило успокоение.

. . . .

Двери в господскую домину с тяжким скрипом отворились.

Изнутри пахнуло нежилой сыростью и запустением.

— Прикажете сразу отвести в опочивальню? — спросил староста.

— Нет,— отвечала Каховская,— веди прямо туда, где являлось вам привидение. Страсть как желаю с ним познакомиться!

Юматовский староста, горничная и лакей Есипова, сопровождавшие Каховскую, явно тряслись от ужаса, и Александра Федоровна, заметив их страх, распорядилась:

— Неволить никого не стану. Принесите мне из кареты пистолет, французский роман, который не дочитала в дороге, две подушки, распалите свечу и... можете уходить.

Оставшись одна-одинешенька в пустом, гулком и скрипучем доме, женщина предварительно осмотрелась. Это была ломберная комната, из которой застекленная веранда выводила в старинный сад, таинственно почерневший к ночи. Каховская с пистолетом в руке обошла и соседние комнаты, ничего подозрительного в них не обнаружив. Затем придвинула ломберный столик к дивану, положила возле свечи пистолет и легла, чтобы наслаждаться любовной интригой французского романа.

— Какой ужас! — однажды воскликнула она, дочитав до того места, где герой романа объявил героине, что страсть его иссякла, он полюбил другую...

Конечно, нервы у Каховской немного пошаливали, и на каждый шорох она быстро реагировала взведением курка пистолета.

Но пока все было спокойно, уже начал одолевать сон, время близилось к полуночи, взошла луна... Зевнув, Каховская отложила роман и решила уснуть, но случайный взгляд, брошенный на окна веранды, заставил ее невольно ужаснуться.

— К т о т ы? — шепотом спросила она.

При этом вскинула руку, поднося лорнет к глазам.

Сомнений не было — нет, староста ее не обманывал.

В дверном проеме веранды стояла женская фигура, вся в белом, при ярком лунном свете она излучала какое-то небесное сияние. Но тут Каховская заметила, что призрак женщины слабым движением головы как бы призывает ее следовать за собой.

— Хорошо... я иду,— согласилась Каховская.

Она поднялась с дивана, левой рукой взяла шандал со свечой — в правой держала пистолет — и тронулась следом за призраком, невольно покоряясь явственному призыву. В саду ветер сразу задул свечу. Было жутковато во мраке ночного сада, но Каховская шла следом за белой фигурой женщины, которая время от времени мановением руки увлекала ее за собой в глубину садовой аллеи.

Наконец привидение остановилось, словно указывая цель пути, и...

тут же исчезло. Александра Федоровна оставила на этом месте шандал с погасшей свечой, вернулась в есиповский дом, легла и сразу очень крепко уснула.

Конечно, юматовские крестьяне уже известились, что отчаянная барыня ночевала в доме Есипова, и, когда Каховская воспрянула ото сна, возле крыльца ее уже поджидал староста.

— Антипыч,— повелела ему Каховская,— скликай всех юматовских мужиков и баб даже с детишками, пусть и священник с причтом своим ко мне явится немедленно.

— А что случилось-то, хосподи?

— Сама не знаю. Но распорядись взять лопаты...

Большая толпа крестьян сопровождала ее вдоль того же пути, который она проделала ночью — следом за привидением. Детвора даже радовалась, мужики поглядывали с опаской, бабы чего-то пригорюнились, а старый попик часто восклицал:

— Молитесь, православные! С нами сила небесная...

Вот и этот шандал, оставленный ночью на земле.

— Копайте здесь,— указала Каховская.

Глубоко копать не пришлось. Людским взорам открылся полуистлевший скелет, козловые башмаки с бронзовыми застежками, нитка бус, обвивавшая ребра, уцелела нетленная русая коса.

— Г р у н я! — раздался вопль из толпы.

Это узнала свою дочь старуха Мешкова — узнала по косе и по бусам, и тут все разом заговорили, что Груня-то Мешкова не бежала от актерской неволи, как не раз утверждал их барин, горюя, а вот же она... «вот, вот, перед нами!»

Каховская не выдержала — разрыдалась.

— Отец,— сказала она священнику,— вели собрать эти кости да погреби их по христианскому обряду, чтобы Груня более не блуждала по ночам, людей пугая, а я... я более не могу!

Отдохнувшие за ночь лошади уже были впряжены в карету, кучер еще раз подтянул упряжь, расправил в руках вожжи.

— Ну, барыня, так в Базяково едем? — спросил он.

— Н е т,— отвечала Каховская, кладя слева от себя французский роман, а справа — заряженный пистолет.— Мой братец обождет. Разворачивай лошадей обратно... мы едем в Казань!

Казанский дом П. В. Есипова располагался на углу Покровской улицы и Театральной площади (не знаю, как они сейчас называются). Лошади громко всхрапнули у подъезда, но никто из дома не выбежал, встречая, никто даже из окон не выглянул. Поднимаясь по лестнице на второй этаж, где находились покои Есипова, Каховская — лицом к лицу — столкнулась со священником, который спускался вниз, неся «святые дары».

— Вы к нему? — многозначительно вопросил он женщину.— Так поспешите. Уже кончается.

— К а к? — обомлела Каховская.

— А так... на все воля господня.

Александра Федоровна одним махом миновала последние ступени и, отодвинув врача, который не пускал ее далее, заявила:

— Не мешайте мне. Он еще не все сказал.

— Все сказал, все! — разом загалдели домашние лакеи.— Исповедь-то была, все сказал и уже отходит.

— Прочь от дверей... я сама его исповедую!

И, войдя, она двери за собой плотно затворила. Есипов лежал на смертном одре, но, кажется, нисколько не удивился появлению Каховской, вопрос его прозвучал вполне разумно и внятно:

— Чем обязан вашему визиту, сударыня?

Каховская решила не щадить умирающего.

— Петр Василич,— сказала она,— ты сейчас предстанешь перед судией вышним, а потому говори правду... едино лишь правду желаю

от тебя слышать. Скажи: ЗАЧЕМ ТЫ УБИЛ ГРУНЮ МЕШКОВУ?

Глаза Есипова, уже померкшие, глядевшие чуть ли не с того света, вдруг яростно блеснули и, казалось, вот-вот вылезут из орбит.

— Кто, кто, кто сказал? Откуда сие стало известно? — захрипел он, силясь подняться с подушек на локтях.

— Мне об этом сказала... о н а.

— Кто?

— Сама Г р у н я...

Старый театрал рухнул на подушки и, казалось, что умер.

Но затем все тело Есипова содрогнулось в рыданиях.

— Я думал унести свой грех в могилу, но ты... вы и Груня... Ладно! Пусть так. Скажу все... мне уже ничего не страшно!

Есипов вдруг горячо заговорил о своей мучительной страсти к театру, разорившему его, он сознался, что Груня Мешкова, самая талантливая актриса на свете, была его последней усладой, он даже помышлял на старости лет жениться на ней.

— Это был драгоценный перл моей сцены и адамант души моей. Ничего не жалел для нее! — выхрипывал из себя умирающий.— Я сапожки ей добрые справил, я бусами ее одарил, а она...

Навзрыд плачущий, Есипов вдруг стал метаться, речь делалась бессвязной, но Каховская все же понимала его. Оказывается, кто-то из лакеев наушничал барину, что Груня неверна ему, собираясь бежать в Москву с одним из крепостных же актеров. В один из вечеров Есипову нашептали, что убедиться в измене он сам может — ночью у нее свидание с любовником в самом конце липовой аллеи. Есипов не стерпел, что крепостная актриса предпочла ему, дворянину, крепостного же актера. И действительно, он в самом конце аллеи застал Груню Мешкову.

— Я так любил ее, я так не хотел этого...

— Разве она была не одна? — спросила Каховская.

— Одна,— сознался Есипов.

— Так что же?

— Но я уже не мог слышать никаких ее оправданий. А потом...

Умирающий замолк с открытыми глазами. Каховская напомнила:

— Так что же потом?

— Потом я своими же руками и закопал ее под клумбой в конце той же аллеи. Вот теперь знайте всё. Прощайте...

«Затем с ним началась предсмертная агония. Каховская вскричала людей, и Есипов на ее же руках и скончался...»

А далее что-то непонятное случилось с самой Александрой Федоровной. Всегда энергичная и бодрая женщина, экспансивная в разговорах и поступках, она разом поникла, быстро состарилась, неожиданно ее разбил паралич. Глаза, прежде столь ясные и выразительные, потускнели... Именно такой застал ее Н. И. Мамаев, навещавший Каховскую с матушкой, и рассказ о встрече Каховской с ночным привидением он слышал из ее же уст.

— Как все странно! — не переставала удивляться Александра Федоровна.— Ехала я к братцу, ни о чем ином не думая, но гроза вынудила меня изменить путь. Порою кажется, само Провидение заставило меня ночевать в пустом доме, всеми заброшенном и проклятом, а тень Груни Мешковой выбрала не кого-нибудь, а именно меня, женщину с мужским характером, которая не побоялась следовать в сад за этой же тенью. Наконец что-то, для меня так и необъяснимое, увлекло меня прямо к Есипову, которого смерть на миг отпустила из своих объятий, дабы я услышала его откровенную исповедь... Все это вряд ли случайно,— заключила Каховская.— Во всем, что со мною случилось, я вижу какое-то преднамеренное сцепление странных и загадочных обстоятельств...

Прощаясь с Мамаевым, она тихо заплакала:

— Что ж, отныне очередь за мной. Увижу ль я вас? Одного никак не пойму — чем я провинилась в этой жизни?..

Александра Федоровна долго еще страдала, прикованная к постели, и скончалась только в 1829 году.

. . . .

На старости лет, пребывая в почетной, но бедной отставке, Николай Иванович Мамаев писал свои мемуары, временами ликуя иль плача от нахлынувших воспоминаний. Касаясь судьбы театрала Есипова и Каховской с тенью крепостной актрисы Груни Мешковой, мемуарист пришел к очень разумному выводу:

«Явление это, по своему свойству выдающееся из ряда обыкновенных и, по-видимому, находящееся в явном противоречии с общеизвестными законами природы, заслуживает самого серьезного изучения и, вероятно, при дальнейшем старательном анализе подобных фактов и рядом опытов будет объяснено следующими за нами поколениями, и тогда из области сверхъестественного и чудесного перейдет в сферу научных исследований. В НАСТОЯЩЕЕ ЖЕ ВРЕМЯ ТАКИЕ СЛУЧАИ ОСТАЮТСЯ ДЛЯ НАС ПОКА ЧТО ЗАГАДКОЙ...»

Мне думается, что это мнение образованного человека прошлого столетия никак не расходится с авторитетным мнением ученых и философов нашего неспокойного и даже сумбурного времени.

Возле нас — необъяснимое, пугающее, волнующее...

Публикация А. ПИКУЛЬ.

ОТ РЕДАКЦИИ.

Не стало Валентина Саввича Пикуля, замечательного русского писателя, фронтовика, лауреата Государственной премии России, истинного патриота Отечества, одного из любимейших авторов нашего журнала.

Валентин Саввич однажды сказал: «Чтобы осуществить все задуманное, мне нужно прожить двести лет». И словно предчувствуя, что судьба не расщедрится на земную жизнь, работал каторжно, по 10—15 часов в сутки, без выходных и отпусков. И потому, наверное, перемежал объемные романы короткими миниатюрами. «Бывает, что о каком-то герое посмотришь литературу, объема которой хватает для написания романа. Но писать роман некогда. И тогда я весь добытый мною материал сжимаю до нескольких страниц».

Миниатюры, опубликованные выше, автор передал нам три месяца назад, и они сразу же были запланированы в сентябрьский номер — именно такой срок необходим для полного производственного цикла: от засыла в типографию оригинала до выхода в свет тиража.

Валентин Саввич всегда работал над рукописью тщательно, скрупулезно: сам перепечатывал набело, вычитывал, правил, делал на полях пометки: «курсив!», «абзац!», «Обязательное требование автора к корректорам: никакие пробелы в тексте недопустимы! Вместо пробелов я использую отточие во всю строку».

Если у редактора, ведущего рукопись, возникали какие-либо вопросы, Валентин Саввич охотно встречался с ним в своем рабочем кабинете на тихой рижской улице Весетас: удобно усаживал за стол, доставал с полки уникальной своей библиотеки ту или иную редчайшую книгу, безошибочно открывал на нужной странице, сверял даты, фамилии, события, давал пояснения. Иной раз его монолог-экспромт далеко выходил за рамки затронутого вопроса и выливался едва ли не в самостоятельную новеллу.

Чрезвычайно ценя каждый час, каждую минуту, Валентин Саввич в то же время отличался истинно русским гостеприимством, хлебосольством, удивительной добросердечностью.

13 июля он отметил свой день рождения, ему исполнилось 62 года. Отметил, как всегда, «согбенною позою за рабочим столом», спешил закончить один из главных своих романов — роман о Сталинграде, давно обещанный читателям. Мы позвонили в тот день в Ригу, поздравили Валентина Саввича и условились, что встретимся через неделю-другую, когда он поставит последнюю точку на последней странице романа, после чего и посмотрит гранки миниатюр.

И еще одна встреча ожидалась в Риге: писателя в середине августа хотел навестить барон Эдуард Александрович Фальц-Фейн, единственный живущий в Лихтенштейне русский — герой миниатюры Пикуля «В Ногайских степях» («Товарищ барон»), повествующей о создателях знаменитого заповедника Аскания-Нова.

Валентин Саввич дал честное, правдивое освещение событий и тем самым

способствовал «реабилитации» барона в глазах «непросвещенной части человечества». «Не пора ли помянуть добрым словом создателей уникального заповедника и рассказать об этой семье то, что мы знаем?»

Вышвырнутый из родного Отечества кровавым вихрем октябрьского переворота, живя долгие годы на чужбине, Эдуард Александрович бережно сохранил в душе сыновнюю любовь к покинутой родине и не мыслил своего существования без благих дел на пользу России. «Это лично ему мы обязаны, что на родину вернулись многие произведения искусства, похищенные фашистами, это он хлопотал, чтобы перенесли на родину прах Федора Ивановича Шаляпина, это он пытался уговорить Сержа Лифаря передать в СССР пушкинскую коллекцию, это ему, человеку старого воспитания, приученному всегда оставаться вежливым, пришлось душевно скорбеть, что родина — в ответ на его старания — не выражала даже примитивной благодарности, а высокостоящие чиновники даже не удостаивали его ответом. Увы, но так было...» В самом деле, апологеты «развитого социализма», командно-административной системы, видя в бароне лишь «отщепенца», «эксплуататора», «классового врага», постоянно чинили ему всяческие препоны, когда он приезжал в СССР, чтобы поклониться могилам предков или посетить заповедник Аскания-Нова, где он родился.

В конце мая этого года Эдуард Александрович вновь приехал в Москву. В Центральном Доме литераторов состоялась его встреча с патриотами-единомышленниками России и русского зарубежья. Присутствовали Сергей Михайлович Толстой (внук Льва Николаевича) с супругой, живущие во Франции, писатель Олег Волков, гостья из Австралии, журналист Александр Бондаренко, подвижники, возрождающие народные промыслы, актеры, представители журналов — в том числе и «Нашего современника». Много теплых слов было сказано в адрес Фальц-Фейна. Была зачитана и телеграмма из Риги:

«Дорогой Эдуард Александрович. Извещен, что в мае Вы будете в Москве. Хотелось бы Вас видеть и поговорить, но по состоянию здоровья выехать не могу. Я знаком с историей Аскания-Нова и вкладом Ваших предков и Вас лично в дело возвышения России. Высоко оценивая Ваш гражданский и человеческий подвиг во имя Отечества, буду рад видеть Вас в Риге. Да хранит Вас Господь.

С почтением Валентин Пикуль».

Растроганный барон Фальц-Фейн, к сожалению, не смог тогда принять приглашение, но твердо решил, что в следующий свой приезд в нашу страну, который был запланирован на середину августа, непременно сделает остановку на рижской улице Весетас.

...Осиротел без хозяина кабинет. На столе исписанная наполовину страница, простая ученическая ручка, чернильница. На полу возле стола высокая гора писчей бумаги, приготовленной для машинки. Всюду видны листочки с пометками, сделанными рукой Валентина Саввича: скорректировать план такой-то главы, перенести абзац на такую-то страницу, переписать, уточнить, проверить то-то, заменить это...

20 июля, после отпевания покойного в церкви святого Александра Невского и гражданской панихиды в окружном Доме офицеров, состоялись похороны на Лесном кладбище Риги. Десятки венков; необозримое море живых цветов; скорбно-торжественные звуки оркестра; прощальный салют; чеканный шаг почетного караула...

...Идут письма в редакцию.

«Сердечно скорблю об ушедшем от нас очень рано Валентине Саввиче. Надеюсь, что у вас вскоре появится статья о последних годах его жизни, о судьбе романа «Сталинград», его творческих планах и наших невосполнимых в обозримом будущем потерях в связи с кончиной великого, любимого русского писателя-труженика».

Это написала нам ленинградка Н. Ф. Савельева. Подобных писем множество: из Москвы и Уфы, из Твери и Смоленска, с Кавказа и Сахалина...

Идет время. Минул сороковой день.

Осенью прошлого года в одном из интервью, отвечая на вопрос корреспондента, когда же будет закончен роман о Сталинграде, Валентин Саввич сказал: «Вся задержка сейчас за мемуарами фон Герлица, которые медленно переводит мой верный друг, надежный помощник и жена Тося».

Теперь у Антонины Ильиничны задача несоизмеримо труднее: она готовит к публикации последний роман-завещание Валентина Саввича Пикуля «Барбаросса» (рабочее название — «Сталинград»), который мы начинаем печатать со 2-го номера будущего года.



ПОЭЗИЯ

СТАНИСЛАВ ЗОЛОТЦЕВ



Набат

По-прежнему слова расходятся с делами.
И всех уже тошнит от самых знатных слов.
И толку нет уже вздымать слова как знамя,
тем более — как сеть. Ничтожен их улов.
И толку нет уже вещать о катастрофе,
когда она царит в любом краю страны.
Ее восточный фас и прибалтийский профиль
огнем славянских мук обожжены.

Как на крутом ветру материя гнилая —
по швам и не по швам, и вдоль и поперек —
стремительно трещит империя былая.
История дает жестокий свой урок.

Но может быть, прогнив, пошла по швам, полезла
искусственная ткань — не хлопок и не лен.
Распался, проржавел закон руки железной.
Рассыпался бетон, сцеплявший сто племен.
И может, в том и есть последнее единство —
что в каждом лоскутке и в уголке любом
отчаянно взошло желанье возродиться
и стать самим собой, и свой построить дом.

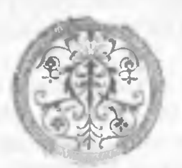
И пусть! Но почему стена бетонной злобы
восходит там, где лжи разрушена стена?
Ведь ничего льновод не должен хлопкоробу,
у каждого — страда, у каждого — страна.
И каждому дышать и горько, и неловко,
когда на кровный рубль не купишь даже дым,
тем более — трубу. И слово «забастовка»
в домашнем словаре становится родным,

Всё больно, всё болит... Но что всего больнее:
со всех сторон уже не счесть плевков и стрел,
летящих в мой народ, как будто в лиходея,
в народ, что ради всех и гибнул, и горел,
и раздавал другим и раздает поныне
живую кровь свою, сокровища свои,
и обескровлен стал. И горькою пустыней
молчат его поля в сиротском забытьи.

И Русская земля — без флага и без гимна,
без глав — без тысяч глав разрушенных церквей, —
не в первый раз дивясь, что чудом не погибла,
впервые слез не льет над участью своей.
Ей нечем слезы лить. Озерам глаз не ведать,
кто в них сгубил и звезд и песен колдовство.
Ее народ устал и верить, и не верить —
не верить ни во что и верить ни в кого.

Не благовест — набат нисходит с колоколен,
где столько долгих лет молчала пустота.
Но можно ли теперь спасти от смертной боли
взъяренную страну уроками Христа? —
Теперь, когда у всех в душе растут прорехи,
которые страшней озоновых прорех,
когда вовсю бегут отравленные реки
в моря людей, вовек не знавших слова «грех»...

И вызревает бунт, бессмысленный и лютый,
в гремучей смеси дней, трагедий и утрат.
И потому звенит над горем и над смутой,
над Русскою землей не благовест — набат.





ВАЛЕНТИН РАСПУТИН

СУМЕРКИ ЛЮДЕЙ

Наше движение, возникшее три года назад во время первой встречи и получившее по месту встречи название «Байкальского», поставило поначалу перед собой цель сохранения природных святынь в Сибири, Армении и Японии — озер Байкал, Севан и Бива. Начиная с этого года к нам присоединилась и монгольская сторона: еще одна страна, считавшаяся едва ли не самой благополучной в мире в экологическом отношении, вынуждена бить в колокола тревоги, чтобы спасти Хубсугул, озеро, связанное речной системой с Байкалом и, по народным преданиям, являющееся младшим братом Байкала. Хубсугул связан с Байкалом водными путями, все остальные озера, находящиеся в разных концах мира, в том числе среднеазиатские Балхаш и Арал, также вошедшие в круг «Байкальского движения», связаны между собой воздушными течениями, все они братья, а если исходить из сегодняшнего их состояния — братья по несчастью, как и мы с вами, взявшие на себя необычайно трудную, может быть, непосильную задачу — вернуть чистоту водам, которые, несмотря на отчаянные усилия защитников природы в последнее время, чище не становятся.

Но наша задача, хотим мы того или нет, гораздо шире, чем спасение озерных вод, подле которых мы живем. Речь должна идти о проблеме пресных вод вообще, все больше окисляющихся и засоляющихся, загрязняющихся продуктами антропогенного воздействия. Уже после того, как «Байкальское движение» объявило о своем существовании, Василий Белов возглавил в нашей стране общественный Комитет спасения Волги, главной реки России, ее символа, в недавнем прошлом кормилицы и поилицы, превратившейся сегодня в сточную канаву. И это судьба многих рек не только в нашей стране, это становится общей судьбой глобального круговорота воды.

Но из экологии, из суммы ее проблем вычленить какую-то одну, даже такую великую, как вода, нельзя: так или иначе ее придется рассматривать во взаимосвязи со всей средой земного обитания — и с воздухом, и с почвами, и с соседями человека на планете. Уничтожение среды — результат хозяйственной, а правильней сказать, результат бесхозяйственной деятельности человека и, стало быть, результат однобоко развивающейся цивилизации, давно откававшейся от услуг здравого смысла. Цивилизация сегодня — это индустрия обслуживания общества наркоманов, аппетиты которого растут по мере одурманивания. Культура, этика, нравственность — все приняло подчиненную всепоглощающей страсти роль, все стало предметом купли и продажи. Общество потребления превратилось в общество поглощения невосполняемых или трудновосполняемых природных ресурсов, с одной стороны, и обществом извращения своих моральных устоев — с другой. Конституции, права человека, изощренные законы — что толку от всей этой демократической бижутерии, если попирается право будущих поколений на существование в мире, который мы присвоили только себе и дотрепываем его с безжалостностью безумца. Демократии, как порождение утвердившихся форм цивилизации, лишь облегчают преступление человечества против самого себя и против будущего, но не препятствуют ему; вопрос давно следовало бы ставить о преимущественном значении «демократии жизненной» перед демократией общественной, извратившей свои идеалы и цели. Только чудаки, которых никто не слышит, говорят сейчас о необходимости распределения ресурсов во времени; только блаженные от нищеты духа, по общему мнению, продолжают твердить о равных правах на жизнь одинаково как человека, так и всякой земной твари, волею эволюции и зависимости от человека. Буддизм, пожалуй, больше, чем другие религии, обращает внимание на эти равные права, на эту «жизненную демократию», и учит обережению и даже поклонению дереву, воде, камню и траве, но и буддизм не сумел предостеречь человека от его инквизиторской роли по отношению к своему окружению. Мы вынуждены се-

годня с удивлением, печалью и умилением оглядываться на доносящиеся сквозь века языческие верования наших предков, в темноте своей чутко понимавших взаимосвязь всего со всем и единокровность земного мира; философия предка, порожденная теплом и авторитетом породившей его земли, мало расходилась с практикой, и сколько бы ни казалась она нам сейчас примитивной или наивной, она обещала на веки вечные мир, а не войну, согласие, а не разбой в отношениях между человеком и природой. Маловразумительное существо, каковым с высоты времен представляется нам предок, было умнее, добрее и выгадливее, чем существо высокоорганизованное и высокоразвитое, какими мы себя считаем, употребившее свой разум на тотальное уничтожение пастбищ, с которых оно кормится. Если это разум, так что же такое безумие?!

Еще сто лет назад эвенк на берегу Байкала творил молитву, перед тем как срубить дерево для получения тепла, прося прощения за погубленную жизнь. Русские в низовьях Индигирки возле Ледовитого океана всего только 15—20 лет назад всей общиной шли приветствовать вскрывшуюся ото льда реку и подносили подарки, задабривая таким образом свою благодетельницу. В Африке, на водоразделе Нила и Конго, сравнительно недавно обнаружено пигмейское племя мбути. Шведский ученый Рольф Эдберг, написавший, кстати, прекрасную книгу о воде «Капли воды — капли времени», в другой своей книге под названием «Дух долины» рассказывает о мбути:

«Верховный блюститель жизни мбути — лес. Лес для мбути — живое существо, великодушное, если с ним хорошо обходятся, раздражительное, если с ним обращаются дурно... Когда рождается ребенок, его обертывают в луб, отбитый для мягкости колотушкой из слонового бивня; первое омовение совершают древесным соком — влагой самого леса; таким образом новорожденный сразу принимается в лесную общину. Когда молодой охотник принесет свою первую добычу, ему делают на лбу вертикальные надрезы, в которые втирают смесь золы и лесных трав,— знак того, что лес вошел в его собственное тело. Когда пигмей очень счастлив, он может выйти на поляну и танцевать там в паре с лесом. Пигмеи поют, обращаясь к лесу, и не для того, чтобы задобрить его, а чтобы выразить свою гармонию с ним. Во время племенных ритуалов из тайного хранилища высоко на дереве извлекают деревянный рожок, на нем следует играть так мелодично, чтобы лес слушал и радовался. В свою очередь лес дарует свою силу всякому, кто прикасается к рожку, а также тем, кто танцует вокруг лагерного костра с этим фаллическим символом, олицетворяющим жизненную силу леса. За всеми этими выражениями благородного и радостного единения с лесом кроются присущие мбути чрезвычайно острая наблюдательность и широкие познания о лесе и его законах; без этих познаний таинства лишились бы своего глубокого смысла».

Другой швед, тоже наш современник, журналист Бу Ландин написал книгу «Плакали бы деревья...» — о масштабах уничтожения лесов на планете — и сразу же был поправлен мальорской принцессой, живущей замужем за шведским моряком в Швеции: «Почему плакали бы? Они плачут, я знаю, я с ними разговариваю». И она рассказала, что на ее родине, на средиземноморском острове Мальорка, коренные жители до сих пор рубят дерево сутки, постепенно приготовляя его к смерти и уговаривая, чтобы оно не обижалось за то, что они вынуждены принести его в жертву своим потребностям.

Я удерживаю себя от цитирования человека цивилизованного на лес. Равно как и на воду. Ничего не осталось для него святого ни там, ни там, все превратилось в сырье, животворную силу которого он видит лишь сквозь очки денег и выгоды. Величие и высоту своих ценностей человечество разменяло в азартной игре, страсть к ней становится фатальной, и ставки стремительно приближаются к тому, чтобы разыграть последнее — быть или не быть ему на грешной земле. Где тот дикарь, что падал на колени перед источником, благодаря небо и землю за спасительную влагу и видя в ней знак особой избранности и благословенности места, имеющего этот источник? Разве мы, пытающиеся спасти себя, втайне не тоскуем по этому дикарю, перед которым на началах его психологии и взглядов на мир открывались великие возможности оплодотворения будущего? Как, должно быть, радовалась его шагу земля, носящая его, и с каким вниманием вслушивалась она в голос его благодарений и клятв! И куда девалось в нас его чувство жизни, его соучастие в шуме леса и потоке воды, в восходе солнца и крике птицы? От всего этого мы теперь отделены, если не сказать отлучены; мы все вокруг воспринимаем как свою собственность, все, что творилось Природой миллионы и миллионы лет, переплавляем, пережигаем, перекачиваем и переставляем, все берем с корыстью и недовольством, будто нас обманули. Слишком многое мы, ловкие потомки, извратили в сравнении со своим предком, в том числе собственную природу, и мало в чем преуспели, кроме индустрии развлечений и грабежа, обособления себя тем самым и противопоставления всему окружающему миру. За великое достижение человеческого духа мы выдаем мечту о братстве людей, лукаво не замечая, что это должно бы быть не мечтой, а такой же необходимостью, как потребность полов друг в друге для продолжения жизни, и что так называемого «высшего» братства нельзя достигнуть, минуя «низшее» — попечение о животных и растительных видах. За послевоенный период численность животных на Земле сократилась более чем наполовину. По этому поводу Рольф Эдберг говорит:

«Глядя, как наш род разрывает в клочья тонкие сети зависимостей и импульсов, соединяющих между собой все живое, поневоле желаешь человеку не еще больше человечности, а заимствования некоторых качеств у животных. Когда человек окончательно изгонит создания, вместе с которыми развивался миллионы лет, как бы природа не изгнала человека».

И сомневаться не следует: это произойдет с той же неизбежностью, с какой мозг, лишившись притока питательной крови, превращается в требуху.

Конечно, было бы слишком преувеличением заявить, что отторжение человека от природы свершилось. Он, разумеется, чувствует ее материнскую сущность, однако он, как любой дурно воспитанный сын, полагает, что мать на то и мать, чтобы, не требуя ничего взамен, только отдавать от себя. Нарушен закон между потребностью и возможностью; кроме того, поврежден биологический закон, по которому всякий сын становится когда-нибудь отцом со всеми вытекающими отсюда родительскими качествами и обязанностями, требующими заботы о новых поколениях. Инфантильность из групповой болезни превращается в родовую, человек не хочет взрослеть и, производя новые поколения, снимает с себя ответственность за их судьбу.

Звучат еще порой в нем невнятно и отрывисто душевные струны, которые волновали его предка, околдованного шумом леса и плеском воды, и нынешний человек способен, естественно, растроганно внимать звукам и краскам уцелевшего боголепия, до которого не дошли пока его руки, но все это не более чем глухой рокот моря в раковине, представляющей окостеневшую память. Человек также вышел из моря, вода была его праматерью, сотни тысяч лет равноправно существовал он затем и развивался в лоне дикой природы, являясь одним из ее живых плодов, и сразу это не могло исчезнуть: его ушные раковины, глазные зрачки и волны подсознания все еще хранят воспоминания о материнском чреве. Нас сегодня невольно посещают образы, давным-давно обжитые нашим предком; и сколько же потребуется времени, чтобы заросла новой, более утешительной действительностью действительность настоящего — Хиросима и Нагасаки, Тримайл Айленд и Чернобыль, Рейн и Волга, Арал и Севан, пустыни на месте тропических и сибирских лесов, индустриальные пейзажи, напоминающие фильмы ужасов, во всех концах планеты «красные приливы» и «черные дыры», необратимые изменения в большинстве населяющих Землю видов от самых простейших до самых сложных, в том числе мутация гомо сапиенс, вызванная мутацией «сапиенс». Быть может, и удастся в будущем отказаться от нынешней практики человека, которую иначе, как разрушительной, не назвать; но психологические и моральные последствия ее будут сказываться слишком долго после того, как удалось бы с нею покончить. «Психическое онемение» и «маниакальное отрицание», термины, введенные недавно психологами для обозначения крайностей человеческого поведения от безволия кролика, парализованного приближением удава, до слепоты крота, не умеющего смотреть дальше своей норы и не желающего признавать вокруг себя никаких опасных изменений, — все это не столь безобидно и для настоящего к для будущего, чем хотелось бы думать.

Но и до желанного изменения практики, судя по всему, еще не близко. Сознание, напуганное проявляющимися повсюду горькими плодами цивилизации, заставляет человека искать менее разрушительные способы воздействия на окружающий мир в виде безотходных или малоотходных технологий, энерго- и ресурсосберегающих, которые можно было бы вписать в ландшафт, выкрасив их в зеленый цвет надежды. Речь, таким образом, идет о том, чтобы за счет меньшего изъятия получать столько же или даже больше продукции. О том, чтобы умерить свои аппетиты, человечество не помышляет. Мы по-прежнему собираемся быть прожорливыми и расточительными. При растущем стремительно населении Земли, когда за каждые десять лет появляется новый Китай, изъятия природных ресурсов неминуемо придется увеличивать, самые чистые технологии из воздуха материальные ценности не получат, да и с воздухом становится плохо. О постепенной замене материальных приводных ремней цивилизации нравственными, о необходимости материального самоограничения говорят лишь единицы, на которых смотрят с непониманием и подозрением. Миром продолжает править гомо техникус. Человеческий разум, коему два миллиона лет с тех пор, как наш пращур впервые взял в руки камень и принялся изготавливать из него орудие труда, достиг «ошеломляющих» результатов: развитые страны строят свое благополучие на бедности развивающихся, помещая там вредные производства и выкачивая по дешевке ресурсы, у Советского Союза для этой цели используется Сибирь, да и вся наша страна, облизываясь на благополучие Запада, готова сейчас за валюту продать себя вместе с потрохами, торопливо подписывая с зарубежными фирмами контракты на размещение на своей территории грязной и ресурсопожирающей промышленности. Мышление, что направляет подобные сделки как с одной, так и с другой стороны, — это то же самое, что игра в карты вожаков пиратских групп на одном потерявшем управление посреди океана корабле, разыгрывающих между собой оставшиеся в трюмах продовольствие и воду. Вся Земля сегодня — маленький корабль с очень и очень ограниченными запасами жизнеобеспечения, и разум землян должен бы быть направлен на поиски спа-

сительных путей, а не на шулерство в отношениях друг с другом.

80-е годы, как известно, были объявлены ООН десятилетием пресной воды — уже к этому сроку проблема питьевой влаги стала брать человека за горло. В странах «третьего мира», к примеру, тонна низкокачественной воды оценивается сегодня в 20 долларов. Но программа ООН не будет выполнена — не хватает денег. Их потребовалось бы столько же, сколько человечество тратит на вооружение за пять недель. Всего только на пять недель, на десятую часть одного только года из десяти, взять каникулы в бесконечной гонке создания новых разрушительных средств! — устремленный к определенной цели и не отягощенный милосердием величавый человеческий разум не снизошел до обездоленных водой (как и пищей) и не счел возможным оторваться от увлекательного и прибыльного занятия дальнейшего обездоливания. В результате число страждущих к концу 80-х годов, несмотря на программу ООН, не уменьшилось, а увеличилось в сравнении с началом десятилетия. «И это разум?!» — вправе воскликнуть мы, но, сколько бы недоумения и отчаяния ни вкладывали мы в свое восклицание, от него в мире, к сожалению, ничего не изменится и полмиллиона лучших умов человечества не перестанут создавать последние образцы смертоносного оружия, а десятки миллионов командиров промышленности, ежедневно выбрасывающие на рынок последние же образцы благополучия, не прекратят уничтожать вокруг себя природу. «И это человек?!» — вправе спросить мы и на этот раз, мы, стоящие особняком и сознающие блистательные заблуждения цивилизации, но давайте спросим, в свою очередь, и себя: многие ли из нас согласятся с мнением американского эколога Барри Коммонера, который еще тридцать с лишним лет назад произнес приговор автомобилю и самолету, считая их трагическими просчетами цивилизации в отношениях с окружающей средой. 99 против одного, что и мы не согласимся с Барри Коммонером и уж тем более с Львом Толстым, предостерегавшим на заре технической революции против паровоза, и употребим свои оговорки на необходимость чистого топлива: зато сегодняшним большинством решительно ополчимся против военного и «мирного» атома, забывая, что даем тем самым право следующему поколению согласиться уже и с атомом, чтобы противостоять какому-нибудь новому, еще более страшному и еще более соблазнительному монстру цивилизации. Нет, все мы, одни больше, другие меньше, рабы глобального заблуждения, называемого цивилизацией, все связаны с нею по рукам, ногам и мозгам, все заложники ее до решительного часа, в перерывах между удовольствиями и сомнениями пытающиеся совместить то и другое. И надо ли удивляться, что миллионам землян было отказано в воде, а 500 миллионам отказывается сегодня в пище. Зато, чтобы пощекотать наши нервы техническими и этическими возможностями, время от времени появляются увлекательные проекты, исходящие точно из самой атмосферы жизни, вроде появившегося недавно предложения о совместном советско-американском полете на Марс с двумя космонавтами, один из которых должен быть мужчиной, а второй женщиной и которым в космическом одиночестве в течение долгих месяцев ничто не помешает самым тесным образом сближать наши разнородные системы. Одно такое предложение, и восторг от него, независимо от того, будет или нет осуществлен проект, перекрывает горечь многих общечеловеческих поражений в борьбе за выживание.

* * *

Экология стала самым громким словом на Земле, громче войны и стихии, оно приближается к первым словам начинающих говорить и последним словам умирающих. Звучащее на всех языках одинаково, оно выражает собой одно и то же понятие вселенской беды, никогда прежде не существовавшей в подобных масштабах и тяжести. С экологией справедливо связывают эпидемии, новые болезни, с которыми человечество не знает способов борьбы, природную и человеческую агрессивность, культурное и нравственное ослабление народов, голод и холод, неуверенность в завтрашнем дне. Нет, пожалуй, в цивилизованном мире ни одного политика, ни одного парламентария и делового человека, который бы по нескольку раз на дню не произносил слово «экология». В политических кругах им начинают спекулировать, в деловых — подменять выгодным содержанием и обращать, как это ни парадоксально, против природы; в кругах защитников природы оно стало синонимом нашей беспомощности, поскольку с экологией на устах, как с именем Христа в эпоху крестовых походов, продолжают твориться преступления. Исслюнявленное и истрепанное, оно, это слово, само, кажется, предложило себе замену, отвечающую действительному характеру событий, — выживание.

Приходится говорить именно о выживании, о том, быть или не быть человечеству и в каких условиях и формах быть. Острота этого вопроса, несмотря на некоторые локальные успехи природозащитников, ничуть не снижается, призрак расплаты за невежество и авантюризм все больше воплощается в реальную фигуру сборщика тяжкой, но заслуженной дани. Все чаще проходит он меж нами, предъявляя счет, заставляющий нас смотреть в будущее с тающей надеждой. Если бы случилось такое чудо и мы полностью прекратили бы завтра подавление окружающего мира, счет за содеянное еще многие десятилетия продолжал бы оставаться слишком высоким, чтобы говорить об избавлении от расплаты. Но лучше подобные предположения не строить, человечество не собирается расставаться со своими пагубными привычками, и, стало быть, горизонты мрачных перспектив определить не представляется возможным. В нас срабатывает инстинкт самосохранения, мы не хотим об этом думать и, вероятно, правильно делаем, потому что нами могло бы овладеть отчаяние, в то время как требуются спасительные действия.

В Советском Союзе при сооружении гидростанций потеряно около десяти миллионов га самых плодородных земель по речным долинам и чуть меньше за последние два десятилетия выведено из севооборота непомерными поливами, то есть средством истребления земли стала вода, которую мы защищаем и которой так недостает миллионам людей. Вспоминаются слова Рольфа Эдберга: «Планета вод становится планетой оскверненных вод». Тенденция такова, что Министерство энергетики в Советском Союзе к 200 крупным действующим гидростанциям собирается добавить в ближайшие 15 лет около сотни новых, в том числе равнинные, с огромными затоплениями.

«Если сегодня идет дождь, то это значит, что с неба падает почти чистая кислота», — с последней степенью горечи констатировал недавно Х. Грегор из Службы охраны природы Западного Берлина. Поэтому в «Клубе 30», решившем почти на треть уменьшить выбросы в атмосферу серы, нужно видеть не акт доброй воли, что хотелось бы отыскать в человеке разумном, предусмотрительно заглядывающем в завтра, а акт отчаяния от сегодняшней ситуации: если кислота разъедает камень, каково ее воздействие на существа, созданные не из железа и камня? Гомо сапиенс словно бы доставляет удовольствие щекочущая нервы игра, которой он забавляется на грани смертельного риска: сначала увязить себя по уши в трясине, а затем употребить по примеру барона Мюнхгаузена усилия, чтобы за эти самые едва торчащие уши вытащить себя обратно. Зверь в этом отношении куда осторожней: он обойдет таящее опасность место и не возьмет приманку, если заподозрит рядом капкан. Человек, и видя капкан, не остановится и не остережется, чего бы ему это ни стоило.

Разве не должна испытывать недоумения и чувства тщеты маленькая Швеция, тратящая огромные средства на борьбу с окислением своих озер и защиту лесов, если с неба продолжает падать кислота, поднятая в воздух в Англии или Польше, отказавшихся принимать меры для уменьшения своих ядовитых выбросов? И разве не должен был в ужасе отпрянуть и застыть в муках высачивающийся из технократической окаменелости малыми каплями слабый человеческий разум, когда «мирный» атом Чернобыля грохнул по числу радиоактивных осадков двадцатью хиросимскими бомбами?! Если сернистый газ в средние века считался признаком присутствия дьявола, то не пришествием ли апокалипсического Зверя дохнуло на заигравшееся со своей судьбой человечество из четвертого реактора одной из четырехсот существующих в мире атомных станций?!

Мы привыкли к цифрам. Превышением предельно допустимых концентраций вредных веществ в воде и воздухе в десятки и сотни раз нас уже не удивить и, к несчастью, не испугать. Иногда представляется, что превзойден и сам предел боязни, как некой психологической силы тяжести, за которой начало безразличие невесомости.

Поэтому промелькнувшее недавно сообщение о том, что в южносахалинском заливе Анива пробы воды показали почти астрономические цифры по тяжелым металлам (по кадмию, например, 1650 и 1980 ПДК), прошло почти незамеченным. А между тем кадмием и медью, невесть откуда взявшимися в Анивском заливе, напичканы идущие в пищу морские обитатели, от них гибнет птица. Первые признаки беды появляются у людей. Вслед за «болезнью Минамата» «болезнь Анива», затем болезни многих других заливов и рек, перенасыщение которых опасными примесями достигает критической отметки. Но, пока до массового бедствия не дошло, человек взял за правило проявлять беспечность, граничащую с мужеством изваяния.

Проглотить Чернобыль человечеству помог подоспевший чемпионат мира по футболу в Мексике. Если бы в каждый дом заглянул маленький Чернобыль, как оно в сущности и произошло, его обитателей ничто не заставило бы оторваться от телевизоров. Не знаю, проводятся ли в Южно-Сахалинске конкурсы красоты, но уверен, что самое надежное средство избавиться от неприятных ощущений, выловленных в Анивском заливе, — устроить какое-нибудь смелое и громкое шоу или с красотками, демонстрирующими свои прелести, или со «звездами» рока, способными заглушить любые опасения и тревоги.

Разгорающееся пиршество страстей накануне чумы. Это уж какой-то закон существования: чем горше будни, тем ненасытней желание праздников. Дошло до того, что на некоторых советских атомных станциях (например, Калининской) пришлось вводить дни дисциплины, в которые бы атомщики работали, как полагается работать, и зоны трезвости, где запрещается шутить с атомом в подпитии.

Напугав ненадолго мир, Чернобыль в то же время опустил психологическую планку предосторожности еще ниже, начиная приучать человека и к явлениям такого порядка. Это была 27-я и самая крупная из крупных аварий на атомных станциях, примерно в год по одной, хотя на заре «мирного» атома вероятность аварий оценивалась американскими специалистами в миллиардную долю. Уже по этому факту можно судить о точности прогностических попаданий науки, когда она берется предлагать свои великие открытия, высвобождающие ад-

ские силы. Но если даже предположить, что прогноз ученых оправдался и аварии на атомных станциях практически исключены, давайте взглянем на их благополучную и экологически «чистую», как до сих пор утверждают атомщики, работу. Беру пример из книги американца У. Дугласа «Трехсотлетняя война»:

«Исследования реки Колумбия в районе Ханфорда (штат Вашингтон), где расположен ядерный реактор, показали, что радиоактивность воды незначительна. В то же время установлено, что концентрация радиоактивных изотопов в планктоне в 2 тысячи раз выше, чем в речной воде, в организмах рыб и водоплавающих птиц, питающихся планктоном, — соответственно в 15 тысяч и 40 тысяч раз выше, в организмах птенцов ласточки, которых родители кормят насекомыми, пойманными у реки, — в 500 тысяч раз выше, и, наконец, концентрация радиоактивных элементов в желтке яиц водоплавающих птиц — более чем в миллион раз выше, чем в воде Колумбии».

«Иногда я начинаю ненавидеть свою науку, потому что она дает мне знания, от которых спазмы сжимают горло», — признался советский ученый, известный борец за охрану окружающей среды Алексей Яблоков, имея в виду знания, дающие подобную информацию.

Австралийский врач-педиатр Хелен Колдикотт, много лет изучавшая последствия «тихого» радиационного влияния и написавшая книгу «Ядерное безумие», с решительностью, отказывающейся от всякого компромисса, заявляет:

«Ввиду угрозы, которую ядерная технология представляет для ионосферы, мы должны признать, что гомо сапиенс достиг переломного пункта эволюции. Тысячи тонн радиоактивных материалов, вызванных при ядерных взрывах и утечках из реакторов, ныне расползаются по среде нашего обитания. Не подверженные биологическому разложению, а некоторые из них сохраняющие активность практически вечно, эти ядерные материалы будут продолжать накапливаться, и впоследствии их воздействие на биосферу человека будет трагическим: множество людей начнут заболевать и умирать от рака либо произойдут мутации в генах репродуктивных клеток, что приведет к увеличению частоты появления врожденно деформированных и больных детей, причем не только в следующем поколении, но навеки».

Во всем мире ширится движение против «мирного» атома. Однако около 400 станций, расползшихся по планете, как чудовище, поделившее ее, продолжают работать — поглощать моря воды, отдыхиваться смертоносными парами и выгребать из своих топок радиоактивный пепел, для которого, как известно, не существует надежных способов захоронения. И никто не знает, когда будет следующий Чернобыль — через пять лет или через пять дней? А до тех пор сильные мира сего не собираются отказываться от приглянувшегося им атома, насчитывая за ним по-прежнему кучу достоинств и уверяя, что все его «шалости» детского периода позади. Для спасения его репутации руководители МАГАТЭ, срочно прибывшие сразу после аварии в Чернобыль, сделали все возможное, чтобы ввести человечество в заблуждение. Ворон ворону глаз не выклюет, хотя бы один из них был социалистический, а другой капиталистический. Общая кормушка дороже.

Сейчас нашли новое средство продлить жизнь атомной технологии. Прежние типы реакторов были, оказывается, очень и очень надежными, но все же миллиардная доля случайности не исключалась. В новом типе не останется и миллиардной доли, это будет чудо из чудес, к которому человек поспешит, как на Лазурный берег, проводить отпуска. Советские специалисты, всегда и во все времена запаздывающие с внедрением новых технологий, на этот раз решили быть поперед всех, и два года назад, когда еще не остыл пепел Чернобыля, заключили с западногерманской фирмой «Крафтверкунион» соглашение о совместном строительстве на территории СССР нового типа реактора. Испытывать его у себя фирма не решается, а в России сойдет, она словно создана для всякого рода рискованных экспериментов, ей что в лоб, что по лбу.

Нет, дракон потому не знает о своей гибели, что ему и в голову не приходит погибать.

«Нельзя объять необъятное» — эта старая истина применима и к нашему делу, где, за что ни возьмись, чем ни ограничь цель, все обрастает сразу проблемным множеством, перед которым невольно опускаются руки. Не так пугает сама обстановка, хотя и в ней приятного мало, как едва початый край работы, объединенное тщеславие сопротивления. Никто сейчас не против экологических требований, все «за», но в этом единодушии слишком много равнодушия и корысти, ведущих фальшивую игру. Пример с атомной энергетикой показывает, насколько запаздывает человечество в попытках образумления и к каким прибегает оно ухищрениям, чтобы обмануть самого себя. «Мирного» атома в компании с пестицидами и гербицидами в количествах, в каких они употребляются, уже предостаточно, чтобы заявить о предиамеренном убийстве, весь остальной круг жизнесокрушающей экономики делает преступление всеобщим. Название действий, при которых грабятся и убиваются живущие, существует, но как назвать, из какого словаря добыть слова для обозначения грабежа и убийства еще не родившихся, предназначенных явиться на свет в будущем?!

Экология в наше время — не только образ действий и мыслей, но и образ жизни. В мир явились вызванные экологией новые философские учения (экософия), множество организаций, родственных нашей, ведут восстановительную на теле Земли и в сознании человека работу, но все мы должны испытывать неудовлетворенность от наших усилий: они, как говорилось, не поспевают за разрушительным продвижением. Машина разрушения за счет набранной инерции и направленной в ту же сторону динамической энергии новых технологий, загрязняющая деликатность которых компенсируется ростом их числа, продолжает хозяйничать в воздухе, на воде и на суше.

Человек ныне готов к любому бунту, он отдается ему с каким-то даже сладострастием, но в бунте против этой машины его останавливают жертвы, на какие пришлось бы пойти, чтобы остановить насилие против природы. Уже одно это свидетельствует о степени помрачения нашего рассудка. Цивилизация, зашедшая в тупик, должна бы в поисках выхода вспомнить о заветах, данных человеку матерью-природой через все религии мира, предостерегавших его от неумеренности, честолюбия и ползучего злодейства. Пока не согласится человечество обходиться только самым необходимым, пока не изменит оно свои ширпотребовские цели и не создаст условий, чтобы воспрянуть духу, шагреневая кожа надежды будет все таять и таять.

Мы собираемся в третий раз и в третий раз вынуждены констатировать печальную статистику потерь. Скоро три года, как принято по Байкалу правительственное постановление, тратятся на его охрану немалые средства, и тем не менее загрязнение сибирского священного моря за это время лишь увеличилось. Принято правительственное постановление и по спасению Арала, трагедия которого названа в полный голос, но ни от голоса, ни от принимаемых мер трагедия меньше не стала. Уже и не струит, а через силу перекатывает Волга свои тяжелые от заражений воды. Ушла в прошлое безмятежная жизнь Хубсугула. Есть вероятность услышать на этот раз добрые новости с озера Бива, но, ежели будут они, наша заслуга в этом маловероятна. Мы вправе упрекнуть себя в неуверенности и маловразумительности наших действий. На Биве делается несравнимо больше, чем в наших озерах, чтобы вернуть ему чистоту и безопасность (на Биве гнездятся бакланы, давно покинувшие Байкал), но и здесь, несмотря на все усилия властей и общественности, не удается избавиться от избыточного фосфора в воде.

Мы вправе если не утешение, то, по крайней мере, утверждение свое искать в том, что наше движение и не могло рассчитывать на определенные и скорые результаты и что оно имеет своей целью во имя будущих результатов призыв в светлое воинство по спасению жизни, а на этой стезе наши голоса, надо думать, не звучат напрасно... Это, разумеется, не самая надежная точка опоры, но у нас нет другого выхода, как, обопрясь на нее и исходя из неуверенности и маловразумительности своих действий до сего дня, продолжать их дальше и верней до воскресения надежды.

БИБЛИЯ: ИЗ КНИГИ ПРОРОКА ИСАИИ

...Приступите, народы, слушайте и внимайте, племена! да слышит земля и все, что наполняет ее, вселенная и все рождающееся в ней! Ибо гнев Господа на все народы, и ярость Его на все воинство их. Он предал их заклятию, отдал их на заклание. И убитые их будут разбросаны, и от трупов их поднимется смрад, и горы размокнут от крови их. И истлеет все небесное воинство (звезды); и небеса свернутся, как свиток книжный; и все воинство их падет, как спадает лист с виноградной лозы, и как увядший лист — со смоковницы...

И превратятся реки его в смолу, и прах его — в серу, и будет земля его горящею смолою; не будет гаснуть ни днем, ни ночью; вечно будет восходить дым ее; будет от рода в род оставаться опустелою; во веки веков никто не пройдет по ней; и завладеют ею пеликан и еж; филин и ворон поселятся в ней; и протянут по ней вервь разорения и отвес уничтожения. Никого не останется там из знатных ее, кого можно было бы призвать на царство, и все князья ее будут ничто. И зарастут дворцы ее колючими растениями, крапивою и репейником — твердыни ее; и будет она жилищем шакалов, пристанищем страусов. И звери пустыни будут встречаться с дикими кошками, и лешие будут перекликаться один с другим; там будет отдыхать ночное привидение и находить себе покой. Там угнездится летучий змей, будет класть яйца и выводить детей и собирать их под тень свою; там и коршуны будут собираться один к другому. Отыщите в книге Господней и прочитайте; ни одно из сих не преминет прийти, и одно другим не заменится...



ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА



Панорама мнений

РЫНОК: ПАНАЦЕЯ ИЛИ ЛОВУШКА?

АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВ

ИЗ КРИЗИСА В ТУПИК?

КТО ПРАВИТ БАЛ

Отшумели бурные, иногда яростные и подчас бескомпромиссные дискуссии на двух съездах — первом этапе учредительного съезда КП РСФСР и XXVIII съезде КПСС. Развернутый анализ и оценка их итогов требуют времени. Но есть о чем сказать уже и сегодня.

Мне довелось участвовать в работе обоих форумов в качестве приглашенного члена оргбюро инициативного съезда российских коммунистов (были приглашены также и представители координационных советов демократической и марксистской платформ). Принятый съездами регламент позволил мне выступить на съезде России с конкретным предложением, а на XXVIII съезде — с двумя полновесными выступлениями и одним — от микрофона из зала.

В ходе съезда я отстаивал те позиции по переходу к рыночной экономике, которые в соответствии с новым Уставом КПСС были зафиксированы XXVIII съездом как «позиция меньшинства» (за «заявление» меньшинства проголосовало 1259 делегатов, против — 2012). Суть этой позиции — необходимость срочного проведения общепартийной дискуссии о переходе к рыночной экономике. Меньшинство настаивало на этом, так как, по его мнению, необходимо отсечь такое понимание перехода, когда его сутью считается замена общественной собственности частной, основанной на наемном труде, легализация теневой экономики, то есть переход к строю экономического неравенства с неизбежными массовой безработицей, некомпенсируемым для больших масс населения ростом цен, расслоением общества на сверхбогатых и сверхбедных. Меньшинство настаивало на переходе к социалистическому рынку, то есть рынку товаров, но не рынку частного капитала и рынку рабочей силы. Дальнейшее обсуждение этих вопросов не закрыто — новый Устав КПСС дает меньшинству право отстаивать свои взгляды в партийной печати.

Здесь же я бы хотел подчеркнуть другое. XXVIII съезд в своих резолюциях четко высказался, во-первых, за такое многообразие форм собственности, которое исключает эксплуатацию, во-вторых, за «использование всех имеющихся средств — экономических, политических и правовых — для борьбы с теневой экономикой». Таким образом, провалились попытки быстропеременчивых на мысль, шипящих и хихикающих теоретиков и публицистов вообще изъять из оборота понятие эксплуатации, а теневую экономику отнести к общечеловеческим ценностям.

Так что основными итогами XXVIII съезда участники инициативного съезда РКП, и я в их числе, могут быть довольны. Борьба, конечно же, будет продолжаться: ее истоки коренятся в событиях и позициях, возникших еще до XXVIII съезда.

Сегодня, чтобы лучше увидеть будущее, полезно еще раз оглянуться назад. Начну с совещания советских экономистов и юристов в ЦК КПСС, на котором в прошлом году мне довелось присутствовать. Думаю, что именно оно явилось исходным пунктом последующих новаций в развитии экономических преобразований.

Открывая совещание, М. С. Горбачев сказал, что мы собрались не для того, чтобы обсуждать какие-то частные вопросы экономики, а чтобы обменяться мнениями, каким мы хотели бы видеть наше будущее общество. Сейчас немало разговоров о том, чтобы превратить КПСС в социал-демократическую партию, перейти от общественной собственности к частной. Я думаю, сказал Михаил Сергеевич, нам это не подходит, но давайте обменяемся. Вам слово, Сергей Сергеевич! — обратился он к С. С. Алексееву, юристу, члену-корреспонденту АН СССР, который, как помнит читатель, в то время был председателем Комитета Верховного Совета СССР по

законодательству, а позже стал председателем Комитета конституционного надзора СССР.

«Михаил Сергеевич, я хочу быть предельно откровенным. Я член КПСС, но я социал-демократ. Нам надо воспринять систему социал-демократических ценностей, включая частную собственность». Эта позиция С. С. Алексеева и стала ключевой во всей работе совещания. Из 38 выступивших за два дня работы «выпали» из званного ключа только двое — юрист академик В. Лаптев и генеральный директор ленинградской «Светланы» Г. Хижа. Да и могло ли быть иначе, если, например, академик С. Шаталин еще до совещания, 11 октября 1989 г., заявил в «Литературной газете»: «...следует признать, наконец, что частная собственность должна быть органической частью социализма. И хватит нам размахивать жупелом наемного труда». Не могла быть на совещании иной и позиция Г. Попова, который в той же «Литературной газете» заявил 4 октября 1989 г., что «демократия — это благо само по себе, за которое можно смириться и с ростом экономического неравенства», что главным итогом перестройки в экономике будет дифференциация, «строй экономического неравенства».

Выраженная в выступлениях на совещании в ЦК КПСС линия на реприватизацию экономики была развита на Всесоюзной научно-практической конференции, которая состоялась полмесяца спустя.

Надо сквзать, точно такая же конференция, в этом же Колонном зале, проходила и в ноябре 1986 г. Тот же был председатель — академик А. Аганбегян, теми же были и докладчики, та же была цель — получить одобрение экономической элиты страны, одобрение направлениям экономической перестройки, которые были предложены группой академиков-экономистов и докторов. Были и оппоненты. В 1986 году на трибуну пленарных заседаний они не пробились, но многие из них выступили на секциях. Все они говорили, что реализация рекомендаций, ратующих за рыночный тоталитаризм, неизбежно, уже в ближайшие годы, обернется провалами в области научно-технического прогресса, инфляцией, ускоренным размыванием социальной защищенности основной массы трудящихся, а на горизонте появится крупная фигура советского безработного. К этим предостережениям не прислушались, а выступления оппонентов не были даже помещены в свод материалов конференции, который вскоре был издан под редакцией А. Аганбегяна.

Увы, печальные прогнозы начали сбываться. И, может быть, в этом причина того, что на конференции 1989 года на пленарных заседаниях удалось выступить двум оппонентам — 13 ноября выступил с резкой критикой основных докладов Г. Хижа, а 15 ноября — не без помощи «неформальной» общественности — пробился на большую трибуну и я.

Мне и моим товарищам по московской ассоциации научного коммунизма в последнее время приходилось часто бывать в трудовых коллективах, и мы видели, как быстро «тает их социальное здоровье». Остается все меньше предприятий, в которых сохраняется нормальный трудовой ритм, все чаще наблюдаешь его затухающую инерцию, все больше появляется коллективов, в которых «социальная струна» уже перенатянута и в любой момент может произойти социальный взрыв.

Это может случиться в силу целого ряда причин — как глубинных, связанных с ошибками в самой стратегии экономической перестройки, так и лежащих на поверхности. Возникновению последних нет какого-либо рационального объяснения. Взять, например, введенное с 1 октября 1989 года прогрессивное налогообложение прироста фонда заработной платы для предприятий группы «А», то есть производящих средства производства. Идея эта вовсе не явилась результатом головоломных раздумий академиков-экономистов, она списана с польского положения 1982 года. Известно же было нашим официальным экономистам, что главным результатом этой меры в Польше стало раскручивание инфляционной спирали: чтобы «пробить» прогрессивный налог, предприятия стали «перекидывать» его на цену своих товаров. Ситуация осложняется тем, что проводимая линия на сдерживание доходов неравноправна для разных социальных групп. И не потому ли наша статистика упорно дает лишь обобщенные сведения о росте доходов рабочих и служащих, не выделяя отдельно заработную плату рабочих, в том числе и тех, у кого она не растет.

Другая, «рационально необъяснимая» причина в том, что определенные средства массовой информации, определенные публицисты и определенные крупные экономисты открыли атаку на бóльшую часть рабочего класса, заявляя, что малоквалифицированная его половина является тормозом перестройки, что она не хочет улучшения условий труда, потому что получает надбавки за эти условия, что она выступает против того, чтобы больше получать за бóльшую работу. (См. интервью с Л. Абалкиным. «ЛГ», 2 ноября 1988 г.). Речь идет ни много ни мало о 42 процентах (как минимум) промышленных рабочих и абсолютно преобладающей части всех занятых в сельском хозяйстве. Но, может быть, спор идет об отдельных, случайных высказываниях, призванных, так сказать, подхлестнуть трудовую активность масс, активизировать их рабочую совесть? Ведь резервов-то у рабочего класса действительно предостаточно! Но нет. Высказывания эти систематически повторяются. Вот уже и «Советская культура» вплела свой голос в антирабочий хор. В заметке М. Баглая «Кузбасс, Воркута... А дальше?» читаем: «Сегодня мы можем констатировать: рабочий

класс расколот. Наименее квалифицированная его часть боится реформ и смыкается с городским люмпеном. Квалифицированная часть борется за перестройку. Одна из форм этой борьбы... забастовки» (№ 1, 6 января 1990 г.). И невдомек автору, что во всех прошедших в стране за годы перестройки забастовках и близко не было деления рабочих на квалифицированных — забастовщиков, сторонников реформ (оказывается, чтобы зарекомендоваться в этом «перестроечном» качестве, достаточно всего-навсего забастовать?!), и малоквалифицированных, которые вместо участия в глубоко перестроечных забастовках знай себе смыкаются с люмпеном...

Костяк рабочего класса в СССР — русские. Поэтому было бы даже странно, если бы к атаке на рабочий класс не присоединилась еще и атака, ведущаяся некоторыми средствами информации и некоторыми крупными и крупнейшими экономистами в отношении русского человека. Говорят — нет фактов. Но разве не факт, что по всесоюзному телевидению прозвучали слова: «Русский человек — плохой работник». Причем со ссылкой на Ленина. А у Ленина, как известно, смысловой оттенок был совсем иной. И время было иное. Но кому-то понадобилось вырвать ленинские слова из контекста, и, поданные в урезанном виде, они прозвучали в сегодняшней непростой межнациональной ситуации как призыв к ненависти: плохо живем оттого, что плохо работают русские. Клич брошен, ропот недовольства катится волной. И нет никому дела до истины, до тех реалий, которые тщательно скрывались от народа: Россия ежегодно теряет от неэквивалентного обмена с другими республиками десятки миллиардов рублей, именно она несет основную тяжесть все еще огромных оборонных расходов. Россия явно живет «не по средствам» — живет хуже, чем работает.

В чем же смысл теперешней атаки на рабочий класс и русского человека? В том, чтобы «разгегемонить» их роль и место в советском обществе, переориентировать экономическую перестройку с интересов рабочего класса и объективно совпадающих с ними интересов трудящегося крестьянства, массовой трудовой интеллигенции на интересы так называемой «социально активной части общества», «экономически независимых слоев общества», или, как еще более определенно выражается Г. С. Лисичкин, на вычлененную из неоднородной трудящейся массы «малую группу людей» («Умелец», 1990, № 3).

Такой подход требует отказа от направлений экономической перестройки, которые заложены XXVII съездом КПСС и первым Съездом народных депутатов СССР и которые предполагали, с одной стороны, повышение эффективности централизованного планового управления, а с другой — значительное расширение самостоятельности предприятий. Отказ от этих направлений выражается в свертывании общенародного хозяйствования, свертывании планового хозяйства, в наполнении декларированной планово-рыночной экономики чисто рыночной экономической системой, того типа, который был характерен для Запада около двух веков назад. Речь должна идти в таком случае не о превращении трудящихся в действительных хозяев своей политической и экономической судьбы, как об этом было заявлено на XXVII съезде КПСС, а о неизбежном разделении общества на две части, одна из которых будет получать доходы в результате продажи своей рабочей силы (если, конечно, ее удастся продать), тогда как другая будет жить за счет доходов на капитал.

Последние два года наша экономика стремительно деградирует. Начался процесс абсолютного падения важнейших экономических показателей — объемов производства, национального дохода, валового национального продукта. Внутренний государственный долг перевалил за 400 млрд. руб.; дефицит госбюджета составил в 1989 году 92 млрд. руб.; внешний валютный долг вышел за 40 млрд. долларов и пересек границу, в рамках которой можно было рассчитывать оставаться «приличным» платежеспособным должником; эмиссия денег составила в 1989 году 18,5 млрд. рублей; «ползучая» умеренная инфляция уже подкралась к старту гиперинфляции, когда рост цен начнет выражаться трехзначными цифрами; развертывается процесс расслоения общества на сверхбогатых и сверхбедных; теневая экономика вышла на рубежи, еще недостаточные для создания по западному или японскому типу современных крупных и сверхкрупных организационных частнопредпринимательских форм, но достаточные для немедленной перестройки экономики на началах классического, домонополистического капитализма.

В этих условиях, когда перестроечный ветер явно завернул в экономический тупик, в официальной экономической науке «родилась» идея «непопулярных, но необходимых мер»: продать или заложить золотой запас; удвоить внешний валютный долг (Н. П. Шмелев популярно разъясняет несведущим: сейчас долги никто не платит, и мы тоже не будем. А ведь у американцев есть хорошая пословица: бесплатных завтраков не бывает); поэтапно превратить всю страну в одну сплошную свободную экономическую зону; резко улучшить условия функционирования в стране иностранного капитала; провести ряд девальваций рубля по отношению к иностранным валютам и выйти на конвертируемый рубль; ввести карточную систему с одновременным переходом к торговле по свободным (коммерческим) ценам; продавать в частную собственность все, что покупается, в том числе землю — и иностранцам тоже.

Не все официальные экономисты настаивают на всем этом перечне мер, в чем-то они могут даже и поспорить друг с другом, неизменно делая при

этом множество самых глубоких книксенов. Нетрудно, однако, заметить, что характеристика таких мер, в качестве «непопулярных», отдает некоторым лукавством: они очень даже популярны, вполне подходят для дельцов теневой экономики и фактически означают их легализацию. Как видно, ничего не поделаешь, не дано экономической науке строить практические рекомендации на базе одних альтруистических озарений: как ни говори об общечеловеческой экономической теории, а все равно пробиваются наружу родимые пятна экономических интересов вполне определенных социальных слоев общества. Или, может быть, утверждать такое могут только «заложники сталинистских догм»? Поговорим об этом.

ТЕНЬ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПЛЕТЕНЬ, ИЛИ КОЕ-ЧТО О ТЕНЕВОЙ ИДЕОЛОГИИ

Одна из социальных язв застойного периода состояла в «двойном мышлении», своего рода двоедумии: на работе — коммунист и коллективист, дома — диссидент и мещанин. Вроде бы эпоха гласности ставит на этом крест. Не тут-то было. Оказывается, и гласно можно говорить одно, а думать совсем другое. Сегодня все обществоведы, политики — только за самые-самые честные доходы, только за интересы людей труда. Но вот незадача: стоит только кому-то всерьез поставить вопрос о том, что в обществе появляются все новые и новые спруты, обвивающие тело трудового народа, как тут же раздаются дружные окрики: «Какой спрут?! Какая теневая экономика?! У каждого в среднем на сберкнижке всего по полторы тысячи рублей!» Может быть, подпольный бизнес и существует, добавляют они, а может быть, если следовать строгим западным методикам исследования, его и вообще нет. В игру вводится и новый «козырь»: если даже теневая экономика функционирует, то она единственная сфера хозяйствования, которая заботится о человеке. А те, кто всему этому не верит, — дудочники, которые «с помощью искусно возбужденных страстей стремятся превратить массы в толпу» («Коммунист», 1990, № 4, с. 81). И потому — ату их, авторов «недобросовестных» приемов!

Стремительно ныне бежит время. Если А. Улюкаев, опубликовавший в конце декабря 1989 года статью в «Коммунисте», не оставлял никаких сомнений у читателей насчет того, что денежную реформу могут требовать только «дудочники», то уже в марте 1990 года О. Лацис, непосредственный начальник А. Улюкаева, вынужден признать в том же «Коммунисте»: темой денежной реформы «надо заниматься специально» («Коммунист», 1990, № 4, с. 80). Если тот же А. Улюкаев предостережение о смертельной опасности, грозящей нашему обществу со стороны теневой экономики, объявляет попыткой «из мухи делать слона», «мыльным пузырем», то принципиальный единомышленник названных сотрудников журнала «Коммунист», народный депутат СССР А. Денисов теперь уже предлагает узаконить нелегальный бизнес (и к этому предложению спешат присоединиться все новые жильцы «общего научно-экономического дома» — Т. Корягина, Г. Лисичкин, Б. Ракитский и — несть им числа), видя в этом средство оздоровления всего народного хозяйства. «Я полагаю, что должна быть не скупка средств производства, а организация новых коммерческих предприятий. Проще говоря, надо перевести ныне существующие подобные предприятия из сферы теневой экономики в экономику «легальную». Сейчас для государства эти капиталы — попросту пропащие деньги, поскольку с них оно не получает даже налогов» («Труд», 20 февраля 1990 г.).

Поневоле задумаешься: если теневая экономика есть что-то эфемерное, мифическое, как пытаются нас убедить, то почему же все чаще раздаются призывы ее легализовать? Как же можно строить, пользуясь выражением А. Улюкаева, «на таком скользком мыльном основании... свои политические программы»? («Коммунист», 1989, № 18, с. 81).

Любопытно. Но интереснее то, что критики «дудочников» либо вообще не касаются принципиальных вопросов теории, либо проявляют здесь чудеса неграмотности. Скажем, А. Улюкаеву так и осталось неизвестным, что строгая теория вполне допускает увеличение оплаты живого труда в условиях полной занятости при одновременном снижении себестоимости и стоимости.

Есть и другой способ «решения» теоретических вопросов, во всем блеске продемонстрированный С. Головниным и А. Шохиным в первом номере «Коммуниста» за нынешний год. Суть метода — напустить такого тумана, в котором уже не видно никакой экономики вообще — ни теневой, ни официальной. Вот этот-то туман я и намерен рассеять, пролить свет на современный вариант теневой идеологии, когда люди вроде бы и против теневой экономики и в то же время стараются создать все теоретические предпосылки для ее легализации.

Начнем с истоков проблемы. С. Головнин и А. Шохин утверждают, что теневая экономика прямо порождена командно-административной системой («Коммунист», 1990, № 1, с. 52). Но тогда небывалый расцвет подпольного бизнеса, включающий уже торговлю современным оружием на валюту и распродажу сокровищ Гохрана, должен сопровождаться усилением породившей его формы государственно-экономического устройства общества. В реальной жизни наблюдается обратное: за 5 лет перестройки административно-командная система в значительной мере демонтирована. Откуда же тогда этот невиданный взлет теневой экономики? Разве не ясно, что причина — стремление во что бы то ни стало обеспечить

приоритет рынка над планом? Именно это с неизбежностью ведет к фактической легализации спекуляции в лице торгово-закупочных кооперативов, нерегулируемому процессу обращения денег из безналичных в наличные, распродаже национального достояния оптом и в розницу на внешнем рынке, активизации «теневого промышленного капитала».

С. Головнин и А. Шохин утверждают, что «теневая экономика предстает не только и не столько причиной, сколько следствием деформаций в легальной плановой экономике» («Коммунист», 1990, № 1, с. 55). Такая постановка вопроса — не что иное, как отбеливание подпольного бизнеса, замазывание той деструктивной роли, которую он играет в нынешних условиях. Ведь любому непредвзятому человеку уже ясно, что теневая экономика спешит добить разваленную плановую экономику, торопится, подобно акулам из хемингуэевского рассказа «Старик и море», урвать напоследок кусок пожирнее. Очевидно, что нынешний тотальный «дефицит» организуется самой теневой экономикой, которая наживается на нем. О многочисленных примерах такого рода постоянно сообщают газеты («Правда» от 8 и 12 февраля 1990 г.), о них идет речь и на Пленумах ЦК КПСС (например, выступление на февральском (1990 г.) Пленуме члена Политбюро В. А. Ивашко).

Каковы же «действующие лица» в теневой экономике, кто в ней «командует парадом»? На этот ключевой вопрос у теневых идеологов заранее заготовлен ответ. Отдавая дань истматовским догмам, заученным еще в студенческие годы, они, не моргнув глазом, отвечают: народ. Наше общество, утверждает А. Зайченко, само генерирует теневую экономику, поскольку в СССР доля фонда личного потребления составляет 43 процента валового национального продукта, в то время как в других странах этот показатель равен 60—75 процентам. Эту недостачу население пытается покрыть любыми, в том числе и незаконными, способами («Правительственный вестник», 1990, № 9, с. 6). Этому автору вторят С. Головнин и А. Шохин. «По существу, многие, если не большинство из нас, в той или иной степени в ней (теневой экономике) участвуют... большая часть этих (теневых) доходов поступает в руки рабочих и служащих государственных предприятий и используется потребительски, а не становится капиталом подпольного бизнеса» («Коммунист», 1990, № 1, с. 53, 55).

Воротилы-теневики могут быть довольны своими идеологами: созданная ими «потребительская» теория теневой экономики, где главная движущая сила — трудящиеся, сбивает людей с толку — нельзя же бороться против самих себя! Однако, уверен, ссылка на то, что большинство людей участвует в теневой экономике, на всех нас тень не бросает! Ведь вступаем мы в «теневые» отношения в подавляющем числе случаев в качестве покупателей, измученных извечным, зачастую искусственно созданным дефицитом в госторговле и пришедших на поклон к дельцам «черного» рынка. Что же касается рабочих, скажем, на трикотажной фабрике или мясокомбинате, то чаще всего они вообще не подозревают, что производят продукцию из неучтенного сырья, которая будет реализована «налево». Об этом знает лишь узкий слой подпольных дельцов-капиталистов, организующих нелегальное производство. Что касается «несунов», ставших печальной реальностью нашего времени, они, как выясняется, отнюдь не «делают погоду» в теневом мире. По данным МВД СССР, на 4 процента расхитителей приходится 62 процента всей суммы похищенного («Правда» от 23 декабря 1989 г.).

Чтобы убедить людей в невозможности определения масштабов теневой экономики, С. Головнин и А. Шохин приводят в подтверждение западные методики исследования проблемы, подчеркивая при этом, что, «несмотря на разнообразие подходов, здесь отчетливо прослеживается условность оценок» («Коммунист», 1990, № 1, с. 55). Идея ясна: раз там, у них, толком ничего не получается, то куда уж нам, грешным! Богат список методик: и «монетаристский» подход, и подход «Палермо», и «социологический» метод... Чего здесь только нет! А нет, между прочим, главного — возможности применить эти методы в наших условиях. Судите сами. Подход «Палермо» основан на сравнении фактического потребления с величиной заявленного дохода. Но вот его-то в нашей статистике и нет, поскольку у нас массовое заполнение деклараций о доходах не практикуется. «Трудовой» подход предполагает знание конкретных уровней безработицы, которые сравниваются со средними по стране (региону). Но ведь у нас (пока!) официально зарегистрированных безработных нет.

Спрашивается: зачем в таком уважаемом журнале, каким является «Коммунист», тратить столько места на описание неприменимых у нас методик? Уж не для того ли, чтобы дать возможность своим авторам компенсировать плохое знание проблем теневой экономики в СССР демонстрацией своей эрудиции и осведомленности о положении дел на Западе?

Если даже зарубежные подходы, по признанию авторов из «Коммуниста», дают результаты «ограниченной достоверности», то об отечественных методиках и говорить не приходится. С. Головнин и А. Шохин кладут в их основу величины столь аморфные и неопределенные, что последующие манипулирования с ними сразу заставляют вспомнить популярную пословицу о дышле. Дело доходит до того, что в одном из вариантов, основанном на сравнении объема «избыточных сбережений» (в качестве одного из возможных их значений называется сумма 150 млрд. рублей) и величины неудовлетворенного спроса (значение этого параметра на конец 1989 года оценено в 165 млрд. рублей), получается, что никакого теневого оборота вообще не просматривается; больше того, у теневой экономики возникает минусовый бюджет, она, бедная, кому-то даже еще и должна!

Кому же выгодна такая постановка проблемы: теневая экономика вроде бы и есть, а вроде бы ее нет?! Трудящимся, которых теневая экономика уже взяла за горло? Правительству, дезинформированному подобными писаниями и упустившему время для начала решительной атаки на подпольный капитализм? Или же нелегальным миллионерам и их приспешникам, продолжающим наращивать капиталы под шумок разговоров о том, что нельзя понапрасну пугать народ огромными цифрами? Ответ, думается, ясен.

Обострение ситуации в стране множит и формы теневой идеологии. Когда говорят, что теневая экономика служит людям, — ставят целью оболванить большинство трудящихся. Когда призывают ее легализовать — выполняют четкий социальный заказ. Когда пытаются размыть масштабы теневой экономики, посеять неверие в эффективность методов борьбы с ней — выступают в качестве теоретических сикофантов подпольного капитала. Вот почему по-прежнему актуальны и злободневны классические строки: «Своеобразный характер материала, с которым имеет дело политическая экономия, вызывает на арену борьбы против свободного научного исследования самые яростные, самые низменные и самые отвратительные страсти человеческой души — фурий частного интереса» (К. Маркс, Ф. Энгельс. Собр. соч., т. 23, с. 10).

Легализация теневой экономики — крайняя форма легализации частной собственности в ее откровенно капиталистической форме. Вопрос вместе с тем ставится и в более общем плане.

НУЖНА ЛИ НАМ ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ?

Ответ ее сторонников таков: государственная и колхозно-кооперативная собственность не обеспечивает хозяйского отношения работников к производству и его результатам, отсюда и падающая эффективность хозяйствования, низкий уровень жизни. Частная же собственность не знает проблемы хозяйского отношения — она возникает у частного собственника изначально, вместе с собственностью. Последнее верно. Вопрос лишь в том, действительно ли частная собственность неизбежно, в условиях любой страны и в любой конкретно-исторической обстановке, обеспечивает более высокую эффективность производства и более высокий уровень жизни всех тех, кто хочет и умеет трудиться?

Сторонники частной собственности чаще всего приводят в качестве примера США, ФРГ, Швецию, Южную Корею. Что же, истина действительно всегда конкретна. Давайте разберемся.

США. В период формирования в Штатах капитализма в эту страну со всего мира хлынули крупные капиталы, самые предприимчивые дельцы, самые талантливые умельцы, самые талантливые специалисты. Такова историческая основа того, что США заняли верхнюю строчку в мировой экономической «табели о рангах». Достигнув «высшей власти» в экономическом мире Запада, США прочно сели на шею прежде всего Латинской Америке, да и всему «третьему миру» тоже. Значительная часть американского национального дохода (по разным оценкам — от 15 до 25 процентов) — результат грабежа «третьего мира».

Когда приходится туго, США не стесняются сесть на шею и своим западноевропейским союзникам и Японии. Не так давно, например, возникла угроза краха доллара, и США начали такие манипуляции с курсом доллара, которые привели их союзников к огромным финансовым потерям. Запад скрипел, стонал, ворчал, но терпел, потому что знал: рухнет доллар — рухнет вся финансовая система Запада.

Став самой богатой страной, США взяли на вооружение политику «перекачки мозгов» из других стран: ученым, инженерам, изобретателям, которых США переманили к себе, оклады устанавливались в несколько раз выше тех, что они получали на родине. Таким образом, Америка не только резко умножает свой интеллектуальный потенциал, но и избавляет себя от громадных затрат, связанных с массовой подготовкой специалистов.

В нашей стране такого не было и нет: мы ни у кого не сидим на шее, а вот помогать — помогали и помогаем, и немало...

ФРГ. Эту страну сторонники частной собственности в последнее время вспоминают особенно часто — в связи с событиями в ГДР. Однако эти события носят прежде всего политический характер, хотя, конечно, имеют и экономическую подоплеку — более высокое качество жизни в ФРГ. Дело здесь прежде всего в «стартовых» условиях, благоприятных для Западной Германии. Во-первых, до второй мировой войны западная часть Германии в промышленном отношении была гораздо более развитой, чем восточная; во-вторых, после войны СССР вывез в порядке репараций из Восточной Германии все, что только было можно, тогда как западные союзники практически ничего не вывезли; в-третьих, с 1949 года в ФРГ хлынул огромный американский капитал по плану Маршалла, тогда как разоренная войной Россия никакой сравнимой экономической помощи Восточной Германии оказать не могла. И все же в 1987 году потребление мяса и мясопродуктов составило: в ГДР — 107 кг на душу населения, а в ФРГ — 104, молока и молокопродуктов соответственно — 549 и 366 кг, яиц — 303 и 268 штук, рыбы и рыбо-

продуктов — 7,9 и 4,1 кг. Сейчас, когда немцы получили возможность проехать страну из конца в конец, сравнить качество жизни по обе стороны границы, они признают, что в западной ее части дешевле предметы роскоши, тогда как в восточной — товары, необходимые людям на каждый день.

Швеция. Эта страна не знала войн более 175 лет, ее расходы на оборону никогда не превышали (и не превышают сейчас) одного процента национального дохода. Значительная часть прибыли поступает от фирм, специализирующихся на хозяйственных операциях в странах «третьего мира», обмен с которыми является неэквивалентным. «Черную» работу в Швеции выполняют иммигранты из менее развитых стран — Турции, Югославии и других.

Южная Корея. Объем национального продукта этой страны вырос с 1962 по 1988 год в 65 раз, а в душевом исчислении — с 87 до 3,6 тысячи долларов. Но эти колоссальные хозяйственные успехи связаны не с частной собственностью как таковой. Корея как раз являет пример успешного ведения планового хозяйства. Успехи страны определяются сочетанием трудолюбия, дисциплинированности трудового человека и жестко лимитированного потребления. В среднем, по официальным данным, корейцы работают 54,3 часа в неделю (а по данным оппозиции — даже 73), тогда как зарплата в 9—10 раз ниже, чем в США, в 4—5 — чем в Японии. Важно и то, что Южная Корея не относится к тем странам, которые выступают в качестве лидера капиталоемкого научно-технического прогресса, она поставляет на мировой рынок товары среднего по мировым стандартам уровня качества при жесткой зависимости от американского и японского капитала, японской технологии, оборудования и комплектующих частей.

Выступая 20 февраля 1989 года в Московском Доме ученых с докладом об экономической перестройке в СССР, доктор экономических наук Г. Х. Попов, один из лидеров межрегиональной депутатской группы, вынужден был признать, что если СССР пойдет по пути капитализма, то мы будем жить не как американцы, шведы или западные немцы, а как живут в Индии или в Бангладеш. Это и понятно: у СССР нет тех особо благоприятных условий, которые определили высокий жизненный стандарт в наиболее развитых странах капиталистического мира. Надо иметь в виду и то, что преобладающая часть населения стран, идущих по капиталистическому пути, живет неизмеримо хуже американцев или французов. По данным ООН, в капиталистическом мире в полном смысле голодают не менее 800 миллионов человек.

В последнее время сторонники капитализма избрали такую тактику: мы против капитализма, мы за социализм, но в то же время за плюрализм форм собственности, включая и частную собственность на средства производства. Пусть, мол, частная и общественная собственность соревнуются друг с другом, а от их взаимной конкуренции в выигрыше будут потребители. При этом ссылаются на опыт ГДР, где много частных ремесленников. Но уровень жизни таких «частников» мало чем отличается от уровня жизни рабочих и крестьян, в стране существует многовековая традиция «законопослушного» ремесла, частнособственническое хозяйствование в котором строго регулируется множеством законоположений. Разве с такими «частниками» будем иметь дело мы, если узаконим частную собственность? Вот что говорил о наших отечественных «частниках» М. Горький в 1928 г.: «Необходимо безжалостно разоблачать наших нынешних маленьких буржуа, типов презренных. Они хитры и опасны, проникают во все дыры. Сегодня эти подленькие буржуа лучше организованы, чем раньше, причиняют больше вреда, чем во времена моего детства». Разве не это же самое следует сказать сегодня, имея в виду наши спекулятивные кооперативы?

В разговорах на «широкую публику» сторонники частной собственности любят порассуждать о том, что, мол, частная собственность будет занимать у нас только где-то 10—15 процентов, а остальная собственность останется общественно-кооперативной, акционерной и государственной. Здесь что ни слово, то передержка.

Во-первых, государственная собственность — вовсе не всегда общественная. Истории известны и рабовладельческая государственная собственность (знаменитые египетские пирамиды были построены государственными рабами), и феодальная (в царской России были, например, и государственные крестьяне, и государственные земли), и капиталистическая.

Во-вторых, совершенно неверно, что акционерная собственность сама по себе является уже не частной, а общественной. Иногда даже ссылаются на Маркса, который, мол, считал, что акционерная собственность есть уничтожение капитализма. Однако в данном случае, как это нередко, к сожалению, бывает в последнее время, цитата классика «усекается» в нужном месте, чтобы превратить ее смысл в прямо противоположный. Вся же цитата Маркса такова: «Это — упразднение капитала как частной собственности в рамках самого капиталистического способа производства» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 25. ч. 1, с. 479). Вся история капитализма (в том числе — самого новейшего) показывает, что акционерная собственность — прекрасная экономическая форма для дальнейшего ускоренного обогащения уже и так богатых. При этом чем больше выпускается акций мелкой купюры для продажи рабочим и мелким служащим, тем меньше надо иметь акций, которых достаточно для командования акционерным обществом. Дело в том, что «мелкота» на общие собрания акционеров не ходит, и поэтому контрольный пакет акций (то есть их сумма, дающая возможность диктовать решения общего собрания) нередко составляет 15, а то и 10 процентов.

С учетом этого и надо оценивать разговоры о том, что акционирование предприятий и создание на этой основе «народных предприятий» сделают работника хозяином на производстве. Откуда взялись эти предложения? Они пришли к нам из США, где еще в 1974 году был принят федеральный закон о так называемых «Программах передачи акционерной собственности рабочим и служащим» (ПАС). И каков же там результат? Программами ПАС охвачено около 10 млн. рабочих и служащих, однако 82 процента всего совокупного капитала США, заключенного в облигациях, ценных бумагах, акциях и собственности доверительных фондов, находится в собственности всего 0,25 процента населения США («АиФ», 1989, № 27, с. 6). Специалисты отмечают, что применение ПАС практически не сказывается на экономических результатах производства. Конфликт между призывами руководства к рабочим «ощущать себя хозяевами» и практически неощутимым уровнем участия рабочих в собственности в лучшем случае оставляет последних индифферентными, а в худшем — порождает у них цинизм и еще большее отчуждение.

Надо сказать, что и история, и современность знают одновременное существование (и своего рода соревнование) различных форм собственности. Так, в Англии до сих пор наряду с капиталистической собственностью существуют остатки феодальной собственности, а сама капиталистическая собственность имеет множество форм реализации: индивидуальная частная собственность, акционерная собственность, кооперативная частно-капиталистическая собственность, государственная капиталистическая собственность, муниципальная капиталистическая собственность и т. д. Почему во всех этих случаях речь идет именно о частной собственности? Да потому, что собственность эта используется не в интересах всех членов общества, а в интересах узкого социального слоя, который наживается за счет основной массы трудящихся. При этом неизбежно, что в системе всех этих форм собственности выделяется одна, играющая ведущую роль по отношению ко всем другим. Так, во всех развитых капиталистических странах ведущей является сегодня собственность крупных капиталистических монополий.

Что касается социалистического общества, оно остается социалистическим до тех пор, пока ведущую роль в нем играет общенародная собственность. Конечно, тут же могут спросить: но ведь Ленин определял социализм как строй цивилизованных кооператоров, значит, ведущую роль при социализме должна играть кооперативная собственность?! И опять-таки надо читать самого Ленина, а не «усекателей» его цитат. Ленин же в работе «О кооперации» писал: «Власть государства на все крупные средства производства, власть государства в руках пролетариата, союз этого пролетариата со многими миллионами мелких и мельчайших крестьян, обеспечение руководства за этим пролетариатом по отношению к крестьянству и т. д. ... разве это не все необходимое для построения полного социалистического общества? Это еще не построение социалистического общества, но это все необходимое и достаточное для этого построения». И еще: «Раз государственная власть в руках рабочего класса, раз этой государственной власти принадлежат все средства производства, у нас, действительно, задачей осталось только кооперирование населения». Вот так: во-первых, чтобы кооперация была социалистической, надо чтобы все крупные средства производства были в собственности социалистического государства (сравните с сегодняшними призывами осуществить сплошное «разгосударствление» собственности); во-вторых, даже поголовное кооперирование — это еще не социализм, а только условие его построения.

А что будет, если основные средства производства превратить из государственной собственности сначала в арендную, которая затем неизбежно будет выкуплена коллективами и станет кооперативной, а последняя — тоже неизбежно (не делить же станки в натуре между членами коллектива!) превратится в акционерную собственность? Все станут собственниками? Весь исторический опыт функционирования акционерных обществ (а они существуют с XVII века, превратившись уже в прошлом веке в основную форму организации капиталистической собственности) говорит о том, что акционерная форма — средство усиления всевластия немногих. Лозунг «Сделаем всех частными собственниками!» — либо иллюзия несведущих в экономической теории и истории людей, либо обман со стороны тех, кто на деле заботится об интересах так называемых «всесторонне предприимчивых», «социально сильных» суперменов, с презрением относящихся к «серой массе».

Если могут мирно сосуществовать различные формы частной собственности при ведущей роли одной из них (например, капиталистическая и феодальная), а также различные формы общественной собственности (общенародная — ведущая, кооперативная производственная, кооперативная в сфере потребления, кооперативная собственность общественных организаций, собственность на личное подсобное хозяйство), то разные типы собственности — частная и общественная — мирно сосуществовать не могут, между ними неизбежна борьба по принципу «кто кого». И хотя в социалистическом обществе, наряду с общественной, как показал исторический опыт, может существовать и индивидуальная трудовая частная собственность, у нее в современных условиях нет боль-

шой перспективы: она неизбежно развивается либо в сторону общественной, либо в сторону крупной частной собственности.

Линия на последовательное «разобобществление» собственности означала бы в наших теперешних условиях все более полное вызревание новой целостной системы отношений собственности — системы форм **частной собственности.** Считать иначе — значит предаваться самообману.

Но, может быть, в условиях системы форм частной собственности (индивидуальной частной, групповой частной в виде кооперативной или акционерной, государственно-капиталистической, собственности иностранцев и т. д.), несмотря на резкое усиление имущественной дифференциации — что теперь уже не отрицается и сторонниками перехода к частной собственности, — все-таки всем будет лучше жить? Нет, не будет. Да и как может быть иначе, если реализация идеи — «реприватизация экономики на деле» — неизбежно (и это тоже уже никем не отрицается) породит постоянную инфляцию и достаточно массовую безработицу (профессор Н. П. Шмелев считает, что ничего страшного в этом нет — мы просто разрешим нашим безработным искать работу за границей!). Как откровенно говорит академик Л. И. Абалкин, «всем не может стать одновременно лучше», «одним может стать лучше только при условии ухудшения положения у других» («Правда» от 15 ноября 1989 г.). Важно и то, кому именно будет лучше — самым ли талантливым, трудолюбивым, добросовестным или просто социально ловким, а если говорить прямо — пройдошистым, наглым и бессовестным? У нас уже есть опыт общения с торгово-посредническими кооперативами... А это ведь только цветочки по сравнению с тем «благоденствием», которое сулит нам всеобщая реприватизация.

Где же выход? В советизации экономики.

Советы народных депутатов — органы, потенциал которых позволяет непосредственно реализовать преимущества общенародной собственности. К сожалению, и в этом, на мой взгляд, нет никакого преувеличения, строительство социализма в стране стало временем выхолащивания экономической функции Советов, а потому и подрыва Советов как принципиально нового политического института, главного звена социалистического самоуправления народа.

Реализация действительной, внутренне им присущей экономической функции Советов требует выполнения по крайней мере двух условий: во-первых, возврата к совнархозам того типа, который возник в первые послереволюционные годы; во-вторых, перехода от выборов в Советы по территориальному принципу к выборам по производственному принципу, при котором первичной избирательной ячейкой выступает производственный коллектив.

Хотя возврат к совнархозам в 50—60-х годах был организован далеко не лучшим образом (именно потому, что совнархозы оказались оторванными от Советов), динамика ряда важнейших экономических показателей в 1961—1965 годах была лучше, чем в последующих. Образование совнархозов в 1957 году способствовало и резкому уменьшению управленческого аппарата. В нынешней ситуации совнархозы выполнят свою роль только в том случае, если они будут отделами Советов всех уровней.

Соответствует ли такое решение вопроса об управлении производством историческому выбору России?

КРИТЕРИИ И СУДЬБЫ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ВЫБОРА

Проблема социалистического выбора находится совсем в другой плоскости, чем проблема научных критериев социализма, «социалистичности» общества. Выбор — категория социально-психологической практики масс, а не сравнительных объективных достоинств и недостатков той или иной общественной системы. Поэтому в разговоре о социалистическом выборе важно установить не то, «чей» социализм объективно лучше отвечает законам истории — коммунистов-ленинцев, сталинистов, еврокоммунистов, «демократической платформы КПСС», эсеров или, скажем, той части шведских социалистов, которые еще соглашаются использовать это слово. Важно то, что именно понимают под социализмом массы, которые сделали социалистический выбор.

И в этом отношении у каждого народа, сделавшего социалистический выбор, возможны свои, особые критерии этого выбора.

«Земля — крестьянам, фабрики — рабочим, власть — Советам» — это всего лишь политические лозунги момента, не раскрывающие тот наиболее глубокий уровень представления российского народа о социализме, до которого он дошел своей исторической практикой к 1917 году.

Основа представлений российского народа о социализме — коллективизм в труде, в организации производства и в управлении общественными делами. Это в свою очередь включает: полную занятость (безработица противоестественна и аморальна); отсутствие голодных; отсутствие бездомных; общественная забота о больных и слабых; эффективная помощь общества талантам из «низов»; ненависть к «мироедам», откровенно наживающимся за счет чужого труда, и презрение к сверхбогатству; неприятие «самовоспроизводящегося», оторванного от народа и не понимающего его нужды чиновничьего аппарата. На такую, сидящую в сознании большинства народа модель социализма легко легла идея общественной собственности, которая и стала синтезирующим показателем социалистического выбора в России.

Что касается европейских социалистических стран, то за исключением, возможно, Албании и Югославии, выбор марксистско-ленинской модели социализма был для большинства их народов чужд в значительной мере, противоречил их исторически сложившемуся социальному опыту: народное социальное сознание здесь неотделимо от возможности разбогатеть на основе свободы частного предпринимательства. Такие минусы, как безработица, растущая социальная и имущественная дифференциация, остаются в народных представлениях менее значимыми по сравнению с возможностью разбогатеть. Это, видимо, в той или иной мере относится и к Прибалтике, Западной Украине, Молдавии. Эти народы, как представляется, не могут прийти к органичному признанию социализма, предварительно не «выварившись» в капиталистическом котле, включая развитую государственно-монополистическую фазу.

СССР сегодня расплачивается за попытки навязывания унифицированной сталинской модели социализма народам как своей страны, так и других государств. Расплата может прийти и совсем с другой стороны — из-за попыток унифицированного «исправления» модели социализма по одному рецепту для всех народов.

В Прибалтике неизбежен возврат к частной собственности — как мелкой, так и крупной. И чем раньше это будет понято, тем меньшими это обернется издержками — как для Прибалтики, так и для России.

Ситуация в России характерна двумя принципиальными новациями: во-первых, народ убедили, что настоящий социализм требует ликвидации общенародного хозяйствования и перехода к «народным» предприятиям в форме кооперативов, арендных и акционерных хозяйств; в народе нарастает ненависть к подпольному капитализму и социально ловким людям как главной причине пустых полок магазинов и роста цен.

Народ толкают, с одной стороны, в направлении домонополистического капитализма (процесс первоначального накопления капитала еще не завершен, капиталистические монополии еще не имеют адекватной финансовой базы для своего возникновения), а с другой стороны, постепенно стараются ему внушить, что ради демократии надо пойти на массовую безработицу, инфляцию, ухудшение условий жизни для большой части общества.

Однако ясно, что российский народ, во-первых, не откажется от социалистического выбора; во-вторых, не примет такого изменения структуры своего социального сознания, при котором социалистический идеал включал бы в себя основанную на наемном труде частную собственность (а такова неизбежная и очень скорая перспектива «народных» предприятий) со всеми связанными с этим последствиями.

Парадигма наиболее массового российского сознания такова: движение к социальному равенству; социальная справедливость, основанная на трудовых доходах — результатах своего собственного труда; стабильные (а еще лучше — снижающиеся) цены; социальный механизм, «выталкивающий» наверх самых талантливых и преданных интересам народа, а не собственным амбициям деятелей, — все эти ценности неизмеримо выше возможности личного обогащения, которое всегда осуществляется (и это неистребимый компонент российского социального сознания) за счет эксплуатации других.

Развитие ситуации в СССР будет зависеть и от того, в какой мере успешно или, наоборот, плачевно будут складываться дела в Польше, Венгрии, Югославии, Чехословакии, Румынии и ГДР. Сторонники реприватизации в СССР выдвигают в качестве крайне важного довода «откат» стран Варшавского пакта в капиталистическом направлении, и если этот довод не сработает потому, что в этих странах начнется эмоциональное разочарование широких масс, то в СССР это тут же «аукнется» мощными подвижками массовых социальных векторов.

Текущая ситуация в СССР характеризуется, с одной стороны, невиданным за все годы советской власти недовольством народа, его социальным гневом, направленным на официальные структуры, а с другой — неопределенностью его текущих социальных симпатий и политических предпочтений, их подвижностью. Возник парадокс: народ, в социальном сознании которого глубоко сидит идея общинности, коллективности, неприятия обогащения как смысла жизни, выходит на невиданные по масштабам демонстрации (как это было, например, 4 февраля 1990 г. в Москве) по призыву адептов индивидуализма и личного обогащения. В этом противоречии заключен внутренний механизм дальнейшего развития, направления и конкретные проявления которого для поверхностного наблюдателя могут оказаться совершенно неожиданными и необъяснимыми. В ближайшие месяцы возможно все: и резкая смена политических кумиров масс, и крутое изменение структуры политических движений, и такие мощные социальные катаклизмы, о которых Россия еще не знала в своей истории.

Если выразить теперешнюю фазу развития СССР в нескольких словах, можно было бы сказать, что идет процесс самопознания массами своих действительных, сформированных предшествующим историческим опытом социальных ценностей и предпочтений.

Ближайшим по времени серьезным испытанием для перестройки в СССР станет практика президентского правления, оно, конечно, — наряду с ожидаемым стабилизирующим эффектом — в той или иной мере ограничит свободы,

введение которых в течение определенного времени выступало «эквивалентом» утерянных народом материальных благ.

ЕЩЕ ОДНА НАДЕЖДА?

К сожалению, нет полной ясности в вопросе о содержании, направленности политической линии Президента. И дело здесь в первую очередь вовсе не в том, как именно будут размежеваны функции Президента, Съезда народных депутатов, Верховного Совета СССР, правительства. Это важно, но не это главное.

Главное, на мой взгляд, в решительном прояснении вопроса о том, куда пойдет дальше страна, ставшая президентской республикой. Именно здесь, в этом ключевом вопросе, сегодня так много «парламентской» неопределенности, политической желеобразности — неизбежного спутника накапливающихся политических компромиссов.

Будет наша экономика чисто рыночной или планово-рыночной, а в последнем случае — план будет подчинен рынку или рынок плану? Пойдем ли мы во пути многообразия форм общественной собственности или форм частной собственности? Или пойдем по заведомо ложному пути принципиального (а не временного только) сочетания общественной и частной собственности?

На одной из сессий Верховного Совета СССР говорилось, что если судить по опыту США, то можно припомнить примеры, когда именно «команда» президента, а не конгресс, предлагала решения, вызвавшие бурный экономический рост. Причем решения эти вырабатывались оперативно и компетентно, что порой не под силу коллегиальным органам.

Все верно. Но вот вопрос: на какие силы экономической науки сможет опереться Президент, если и в Верховном Совете СССР, и в правительстве представлено лишь одно, обладающее абсолютной монополией направление экономической науки? Ведь разве не странно, что в ходе обсуждения в Верховном Совете СССР вопроса о собственности на землю даже не был никем из академиков-экономистов поставлен вопрос о том, что введение частной собственности на землю породит абсолютную земельную ренту и как следствие — неизбежный рост цен на продовольствие? А сколько на Съездах народных депутатов и сессиях Верховного Совета СССР было сделано явно (или нарочито?) экономически безграмотных заявлений (например, о том, что возможна основанная на наемном труде частная собственность, исключающая, однако, эксплуатацию, или о том, что якобы практика современного Запада доказала несостоятельность теории Каутского и Ленина о преимуществах крупного производства в земледелии). Ответить-то было некому, все депутаты — титулованные экономисты — «в доску свои». А на последовавшую жесткую критику в специальной литературе (депутаты-неэкономисты ее не читают) можно и не отвечать. И не отвечают.

Как видно из отчета «Правды» о сессии Верховного Совета СССР («Правда» от 28 февраля 1990 г.), необходимость президентства депутаты обосновывали, в частности, тем, что «рыночные перспективы нашей экономики, очевидно, принесут не только сладкие плоды», но и ущерб общегосударственным интересам. Вот для борьбы с этим ущербом-де и нужен Президент.

Признаюсь, меня это насторожило в такой степени, что я внутренне крайне подосадовал на предрешенность президентского правления.

Ведь получается, что уже запрограммированы, как следует из текста отчета в «Правде», и приватизация собственности, и объединение групп кооперативов в картели, и вздувание цен до умопомрачительных высот. Не знаю, шла ли на сессии речь о запрограммированности массовой безработицы, одностороннем и практически беспредельном открытии границ для иностранного капитала, который сможет покупать и нашу землю, о сознательном курсе на создание новых «социальных маяков» — сверхбогатств (что, естественно, предполагает формирование и противоположного полюса — сверхбедности). Но одно ясно: такие неизбежные следствия перехода к чисто рыночной экономике, как это откровенно признано «Литературной газетой» в номере от 16 августа 1989 г., будут встречены откровенно враждебно 80 процентами нашего населения. В печати («Новый мир», «Литературная газета») именно из этого был сделан вывод о том, что пора перейти к «железной руке», то бишь диктатуре, — иначе такую рыночную экономику просто не ввести, произойдет социальный взрыв.

Судя по отчету о сессии Верховного Совета, этот действительно центральный вопрос депутаты просто обошли. Сев в «машину времени», они вышли из нее тогда, когда сопротивление абсолютного большинства народа введению рыночных «прелестей» уже подавлено и Президенту остается со своей «командой» только сглаживать наносимый рынком общегосударственный ущерб.

Сглаживать-то Президент, видимо, сможет. Хотя никто не опроверг и того, что политика — это прежде всего концентрированное выражение экономики. Президенту, который захотел бы в условиях «настоящей» рыночной экономики очень уж сглаживать законы рынка, рынок скоро нашел бы эффективный политический способ указать на дверь, открывающуюся в одну сторону...

Впрочем, если Президент, конечно, захочет, он в состоянии будет сделать так, чтобы экономика была не рыночной, а планово-рыночной, с подчинением рынка плану. Но и здесь важно, чтобы всё не ограничилось словами. А такого опыта за годы перестройки у нас хоть отбавляй.

Мой вывод прост. Подавляющее большинство советского народа не хочет такой экономической системы, в которую будет органично встроена массовая безработица, которая формируется в первую очередь вовсе не за счет ленивых (как пытаются уверить народ некоторые экономисты), а охватывает целые отрасли и регионы — с такой же неотвратимостью, с какой обрушиваются на голову камни от разваливающегося дома. Большинство народа не хочет встроенной в экономическую систему инфляции, оно за такую (причем реально вполне возможную!) систему, в которую встроено снижение цен. Большинство нашего народа, как бы его ни призывали избавиться от «болезни красных глаз», привычки «считать деньги в чужом кармане», никогда не согласится с такой «социальной справедливостью», когда сотни наемных работников «кооператива», будучи во многих отношениях совершенно бесправными, получают до 300 руб. в месяц, тогда как их хозяева-кооператоры «имеют» от «дела» десятки тысяч рублей в месяц каждый. Рабочий не хочет, чтобы он только производил, а распределяли бы только другие. Трудящиеся хотят углубления дифференциации доходов по труду, но не между социальными группами, а внутри каждой социальной и профессиональной группы. Они решительно против курса на создание слоя сверхбогатых людей.

Ситуация сегодня такова, что наши законодатели, видимо, не готовы — ни теоретически, ни политически — внести такие изменения в направления экономической перестройки, которые сняли бы все более острое недовольство большинства трудящихся этими направлениями. Деятельность президентства может стать успешной, если Президент использует свою власть, чтобы резко повернуть руль экономической перестройки с курса на легализацию «теневой экономики» на интересы большинства трудящегося населения.

Но президентское правление может и резко усугубить ситуацию — и экономическую, и политическую, и социальную, — если Президент использует свою власть, чтобы помочь сторонникам «капитализации» экономики, «реприватизации собственности» сломить сопротивление 80 процентов народа.

Если бы я верил в бога, я бы молился за то, чтобы Президент сделал правильный выбор.

* * *

Уверен: эта моя статья вызовет еще один тур то гневных, то с потугой на иронию-сатиру откликов. Я к этому готов. Только поменьше бы истерики, которая так характерна для выступлений иных моих оппонентов, особенно из числа дипломированных аппаратчиков. И, думаю, пора уже перестать заходиться в эмоциональных всхлипах, не зная, как решить вопрос: «левая, правая где сторона?» Еще раз разъясняю: сердце слева, кошелек, набитый теневыми рублями и долларами, — справа. И еще. Поскольку костер как средство моего (и всех прочих «анти...») идеологического перевоспитания сегодня исключен, в очередной раз приглашаю любого из оппонентов к телевизионной дискуссии. Разумеется, в прямом эфире. А то ведь в один из дней работы учредительного съезда КП РСФСР смотрю утром программу «120 минут», а там... сначала С. С. Шаталин ратует за наемный труд, затем С. Станкевич зазывает в капитализм, а затем идет мое изрезанное, перекорёженное интервью против эксплуатации, и тут же — во весь экран лающая собака в наморднике. Так вот, что касается информационного намордника на оппонентов — это подмечено точно... Как сказал бы француз, се-ля гласность а-ля «наши плюралисты».

Т. ВАСИЛЬКОВ

КОРРЕЛЯЦИЯ ЭТАПОВ

С точки зрения ориентации экономического роста на достижение конечных, социально значимых результатов, развитие СССР в 1986—1987 годах шло по восходящей, а в 1988—1989 гг. — по нисходящей линии. За период 1985—1987 годов средняя продолжительность жизни населения страны увеличилась на два года. Общая смертность снизилась на 100 тысяч человек в год. На треть сократилась смертность мужчин от несчастных случаев. В 1986 году впервые с 1967 года произошло снижение преступности. Если в 1983—1985 гг. общее число преступлений в СССР превышало 2 млн. ежегодно, то в 1987 году оно снизилось до 1,8 миллиона.

К положительным сдвигам надо добавить и возросшие в 1986—1987 гг. темпы жилищно-гражданского строительства, которые были самыми высокими за весь послевоенный период.

Однако попытки укрепления государственной дисциплины и социальной переориентации экономики, начиная с 1987 года, оказались заблокированы. Не устранив систему угнетающих ее патологических составляющих, нельзя было рассчитывать

на успех. Без серьезного обсуждения были приняты законы о государственном предприятии (объединении) и кооперации, внесшие разлад в иерархию управления, обезоружившие хозяйственных руководителей. Рост цен и вымывание дешевого ассортимента резко усугубили разбалансированность потребительского рынка и инфляционные процессы. Все сделанное центром нельзя назвать иначе, как финансовый разбой. Если в 1986 г. прирост сбережений населения составил 22 млрд. рублей, в 1987 г. — 24 млрд., то в 1988-м — уже 31 млрд., а в 1989 г. — 41 млрд. рублей. Значительно расширилась прослойка советских миллионеров. «Кооперативное движение» позволило им отмыть грязные деньги и активно включиться в борьбу за политическую власть. Прирост национального дохода в 1988 г. на 4,4 процента против 2,3 процента в 1987 г., как обнаружилось, был связан с перевыполнением плана бюджетных поступлений от продажи алкогольных напитков на 14,5 млрд. рублей. Деятельность «кооперативов», ничтожная по своим экономическим результатам, оказала огромное дестабилизирующее воздействие. Обострился дефицит многих товаров повседневного спроса, произошел отток квалифицированных кадров с государственных предприятий. Сверхдоходы многих кооператоров трактуются их адвокатами как отказ от уравниловки и поощрение сверхнапряженного добросовестного труда. Но нельзя при этом не видеть стремительного ухудшения положения пенсионеров, работавших в предполагаемом ритме кооператоров в течение десятилетий. В соответствии с принципом самофинансирования груз жилищных проблем (как и проблем технического перевооружения) свалили на плечи предприятий, что привело в 1988—1989 гг. к падению темпов жилищно-гражданского строительства.

Результаты попрания общенародных интересов не замедлили сказаться. С 1988 года снова стали ухудшаться демографические показатели. Советский Союз вновь оказался единственной промышленно развитой страной мира, снижающей продолжительность жизни населения. В 1989 году общее количество преступлений значительно превысило «застойный» уровень, достигнув 2,5 миллиона. При этом сказались уже и сугубо перестроечные факторы. Начальник управления КГБ СССР по Москве и Московской области В. Прилуков отметил, что советская преступность все увереннее выходит на международную арену. Этому способствует легализация теневых доходов через кооперативы с дальнейшим открытием счетов в зарубежных банках.

И топчутся господа коммунисты из первого ряда президиума кто со средней ноги, кто с правой на новой платформе счастья для всех, достойных его, скрывая по чьему-то социально-политическому заказу, что рынок этот не Сенной и не барахолка, а народная обираловка.

В отличие от своих предтечей 20—30-х годов, исхитрившихся выдавить индустриализацию (у многих — вместе с жизнью) из народа и накопленных за века богатств страны, в наши годы перестройщики третью часть первоначального накопления сберегли в карманах воровского — теневого капитала, другую намереваются содрать на «упорядочениях», третью — на распродажах земли за рубеж и прочего.

Незаметно (как в школе для умственно отсталых) подменили «больше социализма» на воровскую стихию различных видов групповой частной собственности. Замороченные миллионы коммунистов ломают головы над идеей демонстративно-«беспартийных», как без общенародной собственности власть сохранить Советской, а партию — Коммунистической.

Можно без труда определить момент, с которого был утрачен динамизм развития советского общества. По расчетам В. Селюнина и Г. Ханина, самые высокие темпы экономического развития за всю историю СССР были достигнуты в первой половине 50-х годов. Послевоенное десятилетие оказалось уникальным и по темпам прироста средней продолжительности жизни населения, возросшей за этот период на 20 лет. Кульминационной политической точкой стал космический полет Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года, подготовленный всем предыдущим ходом социалистического строительства. Тогда мало кто сомневался в преимуществах социалистической системы хозяйствования над капиталистической. В конце 50-х годов в США был проведен ряд независимых друг от друга исследований советской экономики с целью оценить ее возможности в соревновании двух систем. Вывод одних авторов сводился к следующему: «Россия переживает чрезвычайно быстрый экономический рост на протяжении последнего десятилетия... Советская экономическая угроза велика и быстро нарастает». Другая группа специалистов отмечала: Советский экономический вызов реален и опасен».

Были проведены в жизнь две крупные реорганизации: переход от централизованно-отраслевой к территориально-отраслевой системе управления промышленностью через совнархозы (1957 г.) и ликвидация машинно-тракторных станций с передачей сельхозтехники колхозам (1958 г.).

Но в Советском Союзе вскоре произошли изменения, развеявшие тревогу Запада.

Справедливо заметил советский ученый В. Якушев: «...Замедление темпов развития на рубеже 60-х годов произошло в результате конкретных решений, которые усилили элементы товарности в экономике и противоречили логике общественного развития, установленной марксизмом».

Всемирным банкирским братством нежно почитается скромный харьковский профессор Либерман, который явился застрельщиком советской экономической реформы 1965 года (его статья в «Правде» сыграла роль сараевского выстрела). «Либерманизация» советской экономики по своим последствиям оказалась более разрушительной для нашей страны, чем фашистское нашествие.

Реформа 1965 года ликвидировала совнархозы, восстановила министерства и реабилитировала категории рыночной экономики. Отсутствие оптимальной системы управления, некомпетентные, несбалансированные, волевые решения лидера привели к подмене динамичного централизма ведомственным монополизмом, не восприимчивым к научно-техническому прогрессу и ориентированным только на рост стоимостных объемов производства. Затраты окончательно приобрели статус результатов. Введение прибыли в число оценочных и фондообразующих показателей деятельности предприятий наделило их интересами, противоречащими общенародным. В условиях гипотетического, а не реального рынка погоня за прибылью способствовала сужению ассортимента продукции, фальсификации ее качества и росту цен. Широкое распространение получила практика приписок и финансовых махинаций. Дисциплина поставок отошло на задний план, и управляемость единого народнохозяйственного комплекса упала.

Осмысляя советскую историю, нельзя рассуждать так, будто она происходила обособленно и зависела только от народов нашей страны. Две мировые войны, интервенция, «холодная война» и гонка вооружений, огромное количество «локальных» войн — все это составляло и нашу историю. Поэтому понимание всеобщей мировой истории в XX веке на уровне причинно-следственных связей является единственной надежной системой координат для выводов о причинах кризиса социализма в СССР. Необходим анализ тенденций развития на Западе в XX веке в единстве с историей советской.

Кризис 1929 года поставил капитализм перед выбором: либо он меняет свою организацию, либо народные массы сметут его при еще одном таком кризисе. Суть дела в следующем: «великая депрессия» была товарным перепроизводством, то есть товаров много, покупательная способность населения низка, цены высоки. И это произошло потому, что никто не был заинтересован в снижении цен, хотя рост производительности труда был огромный.

Поэтому капитализм перешел к прогнозируемому рынку, то есть к плану производства под общественную потребность, к государственному контролю за ценами и т. п. А это неминуемо вело к снижению масштаба цен (цена на единицу товара падала постепенно в результате сознательно учитываемого роста производительности труда). Капитализм перешел, по сути, к потребительно-стоимостным критериям эффективности производства. Как следствие — промышленник и торговец переходили на самофинансирование, то есть вели дело к уничтожению «чистого» финансового, ростовщического капитала, и в связи с понижением масштаба цен росла покупательная способность единицы денег. Таким образом, капиталистическая организация производства вступала в противоречие с законом денежного обращения: начали возникать избыточные деньги, падала цена, падал банковский процент.

Финансисты не могли с этим смириться. Они стали управлять инфляционной моделью экономики: увеличивать, а затем выкупать государственный долг, обменивать свои «пустые» деньги на будущий доход нации, то есть ростовщически грабить уже целые народы. Суть грабежа в том, что облигации государственного долга покупаются при одной производительности труда, а доход по ним получают уже при другой производительности.

Так долго не могло продолжаться, поэтому была за 30—40-е годы перестроена система международных экономических отношений: созданы надправительственные органы — ООН, ЮНЕСКО, МВФ, МБРР, ТНК. Была разобрана прежняя колониальная система — заменена на неоколониальную. И теперь избыточные деньги Запада отдавались «развивающимся» странам. Эта практика капитала и есть закрепление отсталости, так как процент на кредит всегда больше, чем прирост производительности труда в кредитуемых странах. «Культурное» сотрудничество обернулось беспощадной эксплуатацией «третьего мира». Поэтому более триллиона долларов долга развивающихся стран Европе и США — есть фиктивный долг, ибо он выражает лишь меру противоречия развитого капитализма с самим собой, меру избыточных денег в странах развитого капитала. Они это сами цинично признают, называя такую свою практику «экспортом своей инфляции».

Внутренний кризис капитализма, экспортируемый теперь в «третий мир», был готов обнаружиться вторично в истории XX века в конце 50-х — начале 60-х годов. Тому способствовали два фактора: 1) СССР победил в Великой Отечественной войне, восстановил хозяйство в форме полноценной, соответствующей мировому развитию системы индустриальных производительных сил, с устойчивым ростом производительности труда и к тому же поставил себе цель перехода к непосредственно коммунистическим отношениям (имеется в виду не сама форма постановки этой задачи, а именно постановка ее); 2). устойчивый и очень высокий рост национального дохода Японии в 60-е годы (до 20 процентов и более в год!).

Эти два фактора вместе делали практически невозможной практику «экспорта инфляции», так как появились конкуренты мировому финансовому капиталу, стремящиеся к иному мировому экономическому порядку. К тому же стремительно развивались процессы перехода к экономической самостоятельности в арабском мире, во главе с Египтом. Это практически проявилось в действиях ОПЕК в 1968—1970 годы.

Чтобы выжить в историческом соревновании с новым строем, старому капитализму (относительно нового — японского) необходимо было сконцентрировать усилия на одном из противников. Естественно, что им оказался СССР, как наибольшее зло с точки зрения финансиста. Хотя арабов тоже не забывали. .

Пользуясь волюнтаризмом Хрущева, опираясь на неизжитую буржуазность сознания определенных кругов, на бюрократическую организацию государства и науки, совокупный финансист мира оказывал влияние на принятия управленческих решений в СССР.

Так называемую экономическую рефор-

му 1965 года правильно нужно назвать экспортом к нам в страну «инфляционной модели» экономики, когда рост заработной платы начал опережать рост производительности труда, а ведомства стали скрывать растущий разрыв путем приписок и накручивания цены. Не случайно в Швейцарии банкиры почитают Либермана...

Кроме того, мы попались на конъюнктуре мирового рынка: тюменская нефть и БАМ. Когда ОПЕК вырвал справедливые условия оплаты своей нефти, на Западе утратили контроль за масштабом цен, начался так называемый «энергетический кризис». Капитал перешел к жесточайшей экономии на издержках производства: началась экономия энергии и переход на дешевый морской транспорт.

А у нас, как по «случаю», резко увеличились госвложения в эти два проекта. БАМ дал бы эффект от включения в мировые связи, если бы мы поспели с ним к 1978—1979 году (а это было возможно! Транссиб был построен в XIX веке за 10 лет), так как мы привязали бы грузопоток из Америки в Европу через БАМ. Но мы не торопились.

Когда же мы вышли на определенный уровень добычи нефти и ее сокращение было бы проблемой для нас, цены на нефть на мировом рынке упали в несколько раз!

Совокупный финансист не хочет платить нам издержки освоения.

В период 1965—1985 годов внешнеэкономические связи резко активизировались, в результате чего народное хозяйство СССР перестало быть народным и приобрело все черты экономики колониального типа. Доля машиностроения, жилищного строительства, здравоохранения и народного образования в национальном доходе страны неуклонно падала, а сырьевых отраслей — росла. Игра всемирного старого банковского братства на многократное повышение мировых цен на нефть обрекла наш народ на участь крайнего в цепочке.

«Нефтедолларовый наркотик» имитировал экономическую активность, погружая нас в реальную анемию. Освоение нефтеносных районов, потребовавшее значительных материальных и трудовых ресурсов, способствовало обезлюдению российской деревни и обострению проблем сельского хозяйства. Превращение страны в сырьевой придаток способствовало насаждению колониальной психологии. Престижной ценностью становится выезд за границу, молодежь поражена комплексом «смердяковщины» с пренебрежением к отечественному и холуйским пресмыканием перед «цивилизованным Западом». Сложился страшный перекос в структуре производительных сил общества в сторону промежуточного продукта. Запущена инфраструктура, деревня практически оторвана от города.

Так что дело вовсе не в принципе плановости, а в понимании логики развития производительных сил общества, в частности понимании логики развития капитализма и динамики борьбы на мировом рынке и [illegible]га социализма в мировом развитии. Капитал вынужден был повышать уровень жизни трудящихся у себя — это заслуга не столько капитала, сколько существования социализма. Но делал это капитал не за счет своих источников, а главным образом за счет эксплуатации «третьего мира» экспортом туда своей инфляции и формирования фиктивного долга, за счет ввоза к себе «мозгов» и дешевых рабочих рук, за счет кражи идей НТП со всего света.

Но старый капитал, даже влияя на «развитие» социализма, все равно проигрывает, ибо его побивает «новый» капитализм Юго-Восточной Азии. Японцы своей практикой уничтожают основания ростовщического финансового капитала. «Третий мир» почти не должен Японии, зато США имеют колоссальный долг Японии. В США открыто говорят, что без «бесплатного» для них притока квалифицированной рабочей силы и «мозгов» им не выстоять в этой борьбе. Гонка вооружений с желанием разорить социализм разорила и США. За счет стран социализма они хотят выстоять в жестокой схватке на мировом рынке. Приближение мирового финансового кризиса толкает гибнущий ростовщический капитал к экспансии в страны социализма.

США — рантье, работа в конторе и банке им милее, и они не хотят бегать наперегонки с японцами в цехах. А придется, и скоро.

Совершенно очевидно, что на обеспечение задачи ослабления своих основных конкурентов Европы и Японии Соединенным Штатам Амарики объективно понадобится, кроме особой политики Германии, еще и иная политика на Ближнем Востоке, а значит — арабы. И — о, ужас! — отказ от «дорогой» любви к Израилю и... передача его, «дорогого», с рук и на шею СССР или дележ с СССР этой любви, и т. д.

Брежневщина, поднятая на щит теоретиками «развитого социализма», ныне являющимися «прорабами перестройки», была способом умерщвления социализма через разрушение начал плановости (в плане важна не сама форма, а идеи, под которые строится план!) и через создание препон на пути внедрения НТП. И ученые, прежде всего элитарная Академия наук, виновны в разрушении социализма (то-то среди академиков обнаружилось много радетелей капитала).

Весь мир уже 30 лет кормится от НТП в СССР! А у государства, по признанию Генсекретаря КПСС, а ныне Президента, с 1970 года нет концепции внедрения НТП.

Рабочие, крестьяне, трудовая интеллигенция открывают для себя, что за пять лет лидер, его фавориты и К° не предъявили народу концепции развития социализма. Причины застоя не вскрыты. Но все очевиднее корреляция между этапами «перестройки» и положением США на мировом рынке.

В 1987 году разразился биржевой кризис, в результате которого резко ослабли позиции банков США и Европы. Только поворот СССР в 1988 году (февраль) к политической реформе позволил стабилизировать мировую биржу.

Но кризис не преодолен. Это кризис капитализма, из которого он хочет выйти за счет нашей страны.



МИХАИЛ НАЗАРОВ

ЗАПАДНИКИ И ПОЧВЕННИКИ, или РАССЕЧЕНИЕ ДВУГЛАВОГО ОРЛА

«И те и другие любили свободу. И те и другие любили Россию, *славянофилы как мать, западники как дитя...*» (Н. Бердяев. «Русская идея»).

«Да, мы были противниками..., но очень странными: у нас была одна любовь, но не одинаковая.

У них и у нас запало с ранних лет одно сильное... чувство, которое *они принимали за воспоминание, а мы — за пророчество:* чувство безграничной, обхватывающей все существование, любви к русскому народу, к русскому быту, к русскому складу ума. И мы, как Янус или как двуглавый орел, смотрели в разные стороны, в то время, как сердце билось одно» (А. Герцен. «К. С. Аксаков»).

В этих двух цитатах курсивом отражено начало того историософского противостояния внутри русской культуры, которое возникло в XIX веке вследствие напряженных размышлений о судьбах родины в предчувствии назревавшего катаклизма. Судьба России была увидена *в двух разных ракурсах,* и на вопрос — в чем российское призвание? — были даны два разных ответа: западниками и славянофилами (чья традиция соответствует в дальнейшем почвенникам *).

Западники сочли Россию «дитем» в сравнении с «передовой Европой», которую они хотели «догонять». Главной русской особенностью, по их мнению, была социально-правовая отсталость. В то же время первое поколение западников (Чаадаев, Герцен, Грановский), в 1830-е годы, не отрицало своеобразия России и ее особой миссии в истории. Даже «неистовый Виссарион» Белинский писал: «Каждый народ играет в великом семействе человеческого рода свою особую, назначенную ему Провидением, роль и вносит в общую сокровищницу... свою долю, свой вклад; каждый народ выражает собой одну какую-либо сторону жизни человечества»; «только идя по разным дорогам, человечество может достигнуть своей единой цели; только живя самобытной жизнью, каждый народ может принести долю в сокровищницу человечества» («Литературные мечтания»). И даже антипатриотичность философических писем П. Я. Чаадаева провоцировала, побуждала к патриотическим размышлениям о непроявленных возможностях России; она не помешала ему позже написать, что «Придет день, когда мы станем умственным средоточием Европы» (1835 г., письмо Тургеневу). А в «Апологии сумасшедшего» (1837) Чаадаев утверждал: «Я полагаю, что мы пришли после других, для того, чтобы делать лучше их, чтобы не впадать в их ошибки, в их заблуждения и суеверия». И еще: «...мы призваны решить большую часть проблем социального порядка, завершить большую часть идей, возникших в старых обществах, ответить на важнейшие вопросы, какие занимают человечество».

Тогдашние западники были еще не совсем оторваны от религии, для многих из них она была волнующим вопросом, правда, скорее личного, а не историософского порядка. В отходе от религиозного понимания истории и образовалась развилка, отделявшая их от славянофилов. Западничество созревало как русский плод самоуверенного европейского Просвещения, упрощавшего сложность

* Термины «славянофилы» и «почвенники» не идентичны и оба этимологически неточно отражают смысл, который мы вкладываем сегодня в эту традицию: сочетание русского национального и христианского элементов как основополагающих; но за неимением более точного определения будем использовать и то и другое в данном одинаковом значении.

бытия до материального уровня, и их взгляд на российскую судьбу, как видно из цитат в начале статьи, исходил из развивавшегося тогда в Европе секулярного «пророчества» о прогрессе, в русле которого они и надеялись на ведущую роль «юной» России. Характерный пример этого различия: отношение к крестьянской общине, в которой западники видели готовую «социалистическую» форму (А. Герцен), а славянофилы — религиозно-нравственный «хор» (К. Аксаков).

Славянофилы верили в принципиальное мировоззренческое отличие русского пути от чересчур рационального западного, ощущали православие как определяющую координату самого российского жизненного уклада, призывали развивать свои дары, а не копировать чужие. Предвидя разрушительность усиливавшихся общественных процессов, они искали понимание своеобразия российского пути не в секулярном будущем, а в христианском прошлом.

Европа отталкивала их взоры лишь в своем обмельчавшем виде, тогда как в ее глубине они видели «страну святых чудес» (А. С. Хомяков) и свой первый журнал назвали «Европеец». То есть они не отрывали себя от западной культуры, а лишь брали для ее оценки более крупный исторический масштаб, более требовательно относились к ней, острее видели ее недостатки и верили, что призвание России — облагородить европейскую цивилизацию, преодолеть ее противоречия в высшем синтезе. В их системе ценностей скорее Европе было нужно «догонять» Россию.

Как писал И. В. Киреевский: «Мы возвратим права истинной религии, изящное согласим с нравственностью, возбудим любовь к правде, глупый либерализм заменим уважением законов и чистоту жизни возвысим над чистотой слога» (1827 г., письмо Кошелеву). В то же время он считал, что в отрыве друг от друга ставка на «чисто русское» и на «чисто западное» — ложны и односторонни. В частности, «чисто русское ложно потому, что пришло неизбежно к ожиданию чуда... ибо только чудо может воскресить мертвеца — русское прошлое, которое так горько оплакивается людьми этого воззрения. Оно не видит, что каково бы ни было просвещение европейское, но истребить его влияние, после того, как мы однажды сделались его причастниками, уже находится вне нашей силы, да это было бы и великим бедствием». «Оторвавшись от Европы, мы перестаем быть общечеловеческой национальностью».

Резюмируя, можно сказать, что первоначально оба крыла — западническое и почвенническое — хотя и по-разному, ощущали свою принадлежность к общеевропейскому процессу и оба были все же национальными. Они были творчески необходимы друг другу; русская культура XIX в. развивалась как бы в магнитном поле между этих двух полюсов, питаясь его энергией.

Эта энергия, однако, вышла из-под контроля. Вряд ли будет ошибкой продолжить сравнение: оба полюса магнита, теряя в последователях свою духовную высоту, старались оторвать, отринуть от себя соперника — и этим разорвали Россию. Творческие силы почвенников, при отсутствии поддержки сверху и чувствуя неостановимое скольжение страны в пропасть, ушли в пессимизм (Страхов, Данилевский, Леонтьев), уступив место охранительно-националистическому консерватизму (который вряд ли можно производить от славянофилов); западничество выродилось в политический нигилизм. В разразившейся катастрофе, соответственно духу времени, победило «прогрессивное» западническое учение, доведенное до крайних, враждебных всей русской культуре выводов. С его победой «реакционное» почвенничество подверглось физическому уничтожению и запрету. Но так же, как неразъединимы полюса магнита, в осколке былой культуры России, «из глубины» и «из-под глыб», неизбежно возродился неистребимый почвеннический полюсок, усиливавшийся по мере осознания утопичности навязанного «прогресса».

И вот полтора столетия спустя оба полюса вновь громогласно заявили о себе в сегодняшней России. Однако вместо вдумчивого анализа итогов завязана шумная перестрелка из-за дележа все того же магнита...

Трудно упрекать спорящих в нетерпимости, ибо каждая из сторон дает противнику основания для критики. Прежде всего это касается западников. Отталкиваясь от еще непреодоленного наследия тоталитаризма, им, бичующим вскрываемые социальные язвы, следовало бы осознать, что язвы все же на теле России и полосовать бичом по ее телу не следует. Нужно лечить болезнь, вызвавшую их. Причем лекарство от такой болезни — не импортные мази чужих свобод, многие из которых, без внутреннего лечения, способны лишь раздражать застарелые болячки (отношение неподготовленного общества к кооператорам и частникам — тому пример). Для нахождения правильного лекарства необходимо понять, что произошло, понять самих себя.

Ахиллесова пята западников заключается в том самоуверенном нигилизме, который был подмечен за ними еще в XIX веке Н. Н. Страховым: «сперва отречение от своего, а потом и от чужого». Можно уточнить в применении к сегодняшнему дню: непонимание и своего, и чужого. В «Вехах» (1909) С. Н. Булгаков в этой связи писал, что «на многоветвистом дереве западной цивилизации, своими корнями идущем глубоко в историю», атеисты-западники «облюбовали только одну ветвь» в полной уверенности, что присваивают истинно европейскую цивилизацию. Не менее актуально эти слова звучат в наши дни. Ибо наши западники и сегодня ориентируются не на фундамент вечных христианских ценностей в западной культуре, а на ее плоды — такие, как свобода и непреходящая ценность личности, — забывая, что они выросли именно на этом фундаменте (человек достоин уважения как созданный «по образу и подобию Божию», и лишь перед Богом все люди равны).

Еще печальнее, что наши западники неспособны отличить эту свободу от плодов современного разложения той же культуры: таких, как гедонистическое смешение высших и низших уровней человеческой природы (в этом смысл «сексуальной революции»), ориентация искусства на инстинкты и его рыночное опошление (массовая культура), мировоззренческое оправдание собственного греха и эгоизма (нравственный плюрализм).

Сегодня уже и Запад не тот, что был в начале XIX века, и западники соответственно не те. Объекту «веховской» критики — «прогрессивной» интеллигенции начала века — при всей ложности ее ценностей были свойственны нравственный максимализм, жертвенность, аскетизм; нынешние же западники открыто восхищаются тем самым западным мещанством и равнодушием к истине, которому ужасались оба фланга русской интеллигенции в XIX веке.

Вспомним, что близкое знакомство с реальным Западом уже тогда приводило к разочарованию многие наши умы, поначалу преклонявшиеся перед ним, — это произошло с Гоголем, Герценом, Одоевским, Фонвизиным. П. В. Анненков писал в этой связи о Белинском: «С ним случилось то, что потом не раз повторялось с многими из наших самых рьяных западников, когда они делались туристами: они чувствовали себя как бы обманутыми Европой». Это же явление заметно и в русской части третьей эмиграции. Как верно подметил московский автор В. Аксючиц: западничество, особенно современное, есть «специальная установка сознания на восприятие фикций европейской культуры» («Выбор» № 8).

Эта установка приобретается тем вероятнее, чем больше поводов для отталкивания от неблагополучия дома. Черно-белое мышление сказывается прежде всего в такой логике: «если у нас все так лживо и плохо, то в «противоположной» общественной системе все автоматически должно быть правдиво и хорошо». Сегодня эта установка может оказаться для нашей обессиленной страны не только очередным самообманом, но и последним ударом, после которого мы прекратим свое национальное существование, превратившись в территорию для разгула космополитической энтропии — именно она уже хлещет первой в прорубаемое заново окно в Европу... Ибо слишком сильно разрушен наш собственный нравственный фундамент, который мог бы обезвредить новые для нашего организма яды современной цивилизации.

Западнический либерализм имеет смысл лишь в утверждении свободы от насилия и от несправедливости, то есть в отрицательном аспекте реформ. В этом смысле почвенники могли бы приветствовать западничество как союзника. Но вряд ли уже союз на отрицательной платформе сегодня кого-либо удовлетворит. В положительном же смысле, как писал русский философ С. Л. Франк:

«...Слабость русского либерализма есть слабость всякого *позитивизма* к *агностицизма* перед лицом *материализма...*». Это «слабость осторожного, чуткого к жизненной сложности нигилизма перед нигилизмом прямолинейным... Организующую силу имеют лишь великие положительные идеи — идеи, содержащие самостоятельное прозрение и зажигающие веру в свою самодовлеющую и первичную ценность. В русском же либерализме вера в ценность духовных начал нации, государства, права и свободы остается философски не уясненной и религиозно не вдохновленной. ...Вот почему в борьбе с разрушающим нигилизмом социалистических партий русский либерализм мог мечтать только логическими аргументами, ссылками на здравый смысл и политический опыт *переубедить* своего противника, в котором он продолжал видеть скорее неразумного союзника, но не мог зажечь огонь религиозного негодования против его разрушительных дел и собрать и укрепить живую общественную рать для его искоренения».

«Подобно социалистам, либералы... слишком веровали в легкую осуществимость механических, внешних реформ чисто отрицательного характера, в целительность простого освобождения народа от внешнего гнета власти», и их деятельность обессиливалась «отсутствием чутья к самым глубоким и поэтому наиболее важным духовным корням реальности, к внутренним силам добра и зла в общественной жизни, к власти подземных органических начал религиозности и древних культурно-исторических жизненных чувств и навыков» (1918, «Из глубины»).

Именно в этом главная слабость и сегодняшнего либерального западничества, которое неспособно увидеть в национальном самосознании ценность, достойную защиты. Нечувствие западниками нации как духовного явления имеет две крайние разновидности: космополитизм и интернационализм. Оба явления одного уровня, только первое — пошло буржуазной окраски, другое — пошло-антибуржуазной. Одно провозгласило объединение пролетариев, у которых «нет отечества», другое объединяет столь же денационализированную «образованщину».

Этому уровню соответствуют и «протестантские» определения интеллигенции, приведенные Г. Андреевым в «Гранях» № 154: «Прежде всего — сознание *самодовлеющей* ценности человеческой личности» (с. 249), причем сама личность понимается так: «Моя *святая святых* — это человеческое тело, ум, талант, вдохновенье, любовь и *абсолютнейшая* свобода, *свобода от* силы и лжи, в чем бы последние ни проявлялись» (с. 212—213). «Для интеллигента личная свобода — это не только *высшая*, но и *единственно безусловная* ценность» (с. 210). Непонятно только, какое отношение это может иметь к «христианской нравственности». Если что-то религиозное в этих словах и можно видеть — то лишь самообожествление человека, то есть «религию» безрелигиоз-

вого гуманизма. Именно в этом индивидуализме и в отрицательном аспекте «свободы от» заложено «отщепенство» и горделивый «героизм» того ордена, который в начале века назывался интеллигенцией и против которого выступали авторы «Вех». Неудивительно, что они не относили себя к понятию «интеллигенции».

И даже западники, считающие себя христианами, слишком часто отказываются видеть между ценностью личности и всеединством человечества перед лицом Бога существование промежуточных ступеней, одна из которых — нация. Ведь «нет ни эллина, ни иудея» лишь в соизмерении с Царством Божиим; в земной же жизни именно народы — деятели истории. Это подтверждается и в Новом завете, например, словами Христа своим ученикам: «идите, научите все народы» (Мф. XXVIII, 19); схождением Святого духа на апостолов, обретших знание «иных языков» (Деян. II, 4); сохранением «всех народов» до конца времен (Мф. XXV, 32). Упрощенчество «христианского» нигилизма выхолащивает реальную ткань национально-общественной жизни, оставляя лишь ее абстрактные контуры. В практическом жизненном строительстве он, как правило, тоже оказывается бесплодным. К нему тоже вполне применима классическая характеристика западничества: люди, «объединяемые идейностью своих задач и беспочвенностью своих идей» (Г. П. Федотов).

Не в этом ли и сегодня лежит причина одного «из самых жестких упреков, который сейчас можно сделать либеральной или демократической интеллигенции в нашей стране», — как правильно заметил С. Аверинцев, а именно: «что она предпочитает вести разговор либо в своем кругу, либо объясняться с мировой общественностью, но меньше всего — со своим народом»? («Советская культура», 17.02.90).

Но и в современном почвенничестве идеализм нередко не учитывает практику, да и сложность всей шкалы ценностей. Опасно идеализировать народ и полагать, будто Россия может изолироваться от человечества, пойдя иным, исключительно нравственным путем. Почвенники часто недоучитывают несовершенство человеческой природы. С греховным человеком не построить идеального общества, задача может заключаться лишь в разработке механизма сдерживания греха, в сублимации эгоизма воспитанием. В порыве вверх нам не следует отвергать нижерасположенные достижения цивилизации, в том числе западные социально-правовые структуры. Разумеется, для создания здорового общества одних лишь социальных механизмов недостаточно, но без четких справедливых законов оно также невозможно.

В целом почвенников, по их христианскому мировоззрению, следовало бы считать бо́льшими европейцами, чем западников, которые сегодня единолично претендуют на эти названия. И можно лишь сожалеть, что некоторые почвенники видят на Западе лишь тот же поверхностный слой, что и западники, лишь иначе относясь к нему. При этом упускаются из виду возможные союзники российского возрождения, ибо в западном обществе есть свое деление на «почвенников» и «космополитов». Последние, как и везде, напористее, тоже претендуют на звание «Ум, Честь и Совесть эпохи», но вовсе не обязательно соглашаться с их претензиями.

В сущности, почвенники отвергают не западную цивилизацию, а ее современный, американизированный тип: ставку на «просвещенный эгоизм» и примирение с греховностью человека. Продолжая традицию славянофилов, которых западное «мещанство» шокировало приземленностью целей национальной жизни, наши почвенники стремятся к более высокому идеалу. Но для его достижения, вероятно, необходима не реставрация прошлого, а тоже — осознание уроков происшедшей катастрофы. Простой возврат к прошлому был бы обессмысливанием всех наших жертв. Как предвидел Страхов: «Может быть, нам суждено представить свету самые яркие примеры безумия, до которого способен доводить людей дух нынешнего просвещения; но мы же должны обнаружить и самую сильную реакцию этому духу; от нас нужно ожидать приведения к сознанию других начал, спасительных и животворных» («Борьба с Западом в нашей литературе»).

Так, в бессилии русского консерватизма, оказавшегося неспособным предотвратить обвал государства, С. Франк видел ту же «...первичную духовную причину. Русский консерватизм опирался на ряд давних привычек чувства и веры, на традиционный уклад жизни, — словом, на силы исторической инерции, но он уже давно потерял живые духовные и нравственные корни своего бытия и не чувствовал потребности укрепить их в стране или, по крайней мере, не понимал всей ответственности и сложности этой задачи...» Он «обесплодил себя своим фактическим неверием в живую силу духовного творчества и недоверием к ней». Самый трагический факт «состоит во внутреннем сродстве нравственного облика типичного русского консерватора и революционера: одинаковое непонимание органических духовных основ общежития, одинаковая любовь к механическим мерам внешнего насилия и крутой расправы...».

«И, может быть, самым глубоким и общим показателем этой застарелой и тяжкой нравственной болезни русского национального духа является ужасающее общественное бессилие и унижение русской церкви... Русское религиозное сознание постепенно уходило от жизни и из жизни, училось и учило терпеть и страдать, а не бороться и творить жизнь; все лучшие силы русского духа стали уходить на страдание и страдательность, на пассивную и бездейственную мечтательность. И параллельно этому вся действенная, жизненно-творческая энергия национальной воли становилась духовно непросветленной, нравственно необузданной, превращалась в темное буйство злых страстей и бесплодно-отрицательного рассудочного умствования».

Выработанный из этого опыта идеал: «С общественно философской стороны этот идеал может быть понят как возрождение мечты славянофилов об органическом развитии духовной и общественной культуры из глубоких исторических корней всенародного религиозно-общественного жизнепонимания — мечты, которую Достоевский позднее определил в понятии *почвенности*. Правда, уже у славянофилов этот идеал был отравлен и обессилен романтической мечтательностью, сентиментальным непониманием трудности и ответственности его осуществления в будничных условиях политической и экономической реальности. Но по своему существу именно в этом идеале намечено единственно здоровое и оздоровляющее направление общественно-политической мысли и воли. Вся наша жизнь должна быть пропитана духом истинного, высшего реализма... Для этого реализма общественным идеалом может быть не выдуманная, оторванная от жизни, отвлеченная идея, извне вторгающаяся в жизнь и коверкающая ее, а лишь живая сила устремления, органически вырастающая из самой жизни и движения народного сознания...» («Из глубины»).

Возврат в прошлое невозможен. России предстоит новая жизнь. Но в наших исторических учреждениях, быте и политических реалиях нам предстоит увидеть не механически отбрасываемые и произвольно меняемые формы, а «проявление и следы нравственного и духовного прошлого народа, которые могут изменяться и развиваться лишь через органическое перевоспитание и внутреннее совершенствование народной воли и мысли... Лишь в таких непосредственных, не искусственно созидаемых, а исторически слагающихся и растущих формах жизни... проявление истинной народной воли, т. е. осуществление подлинного идеала демократии как внутренней обоснованности общественных отношений и политического строя на живом духе, конкретных нуждах и идеальных устремлениях народа», — мудро заключал С. Франк.

Нечувствие сегодняшних западников к российской проблематике такого уровня закрывает им взор также и на противоречие между их стремлением послужить на благо своей стране — и рецептами западных пропагандистов, цели которых иные: не возрождение России, а (в лучшем случае) — «мутация русского духа». Предлагаемый ими выбор между двумя вариантами — или американизм, или тоталитаризм — есть пропагандное упрощение, и можно лишь сожалеть, что многие наши «прорабы перестройки» надевают на себя эти шоры.

При наличии столь скудного выбора им не остается ничего иного, как втискивать в «тоталитаризм» всю русскую историю, «тысячелетнюю рабу», и следовать совету маркиза де Кюстина: «здесь все нужно разрушить и заново создать народ». Родство западников с подобной советологией проявляется и в том, что причины тоталитаризма объясняются национальными особенностями русского характера (напр., И. Бестужев-Лада — «Неделя», № 11, 1989; Ф. Бурлацкий — «Комсомолец Киргизии», 3.01.1990), при игнорировании особенностей марксистской идеологии.

В XIX в. Достоевский еще мог написать, что «все споры и разъединения наши произошли лишь от ошибок и отклонений ума, а не сердца, и вот в этом-то определении и заключается все существенное наших разъединений». К началу XX в. сложилась ситуация, к которой применимы его дальнейшие слова: «Ошибки и недоумения ума исчезают скорее и бесследнее, чем ошибки сердца... Ошибки сердца есть вещь страшно важная: это есть уже зараженный дух иногда даже во всей нации, несущий с собою весьма часто такую степень слепоты, которая не излечивается даже ни перед какими фактами, ...напротив, перерабатывающая эти факты на свой лад, ассимилирующая их с своим зараженным духом, причем происходит даже так, что скорее умрет вся нация, сознательно, то есть даже поняв слепоту свою, но *не желая* уже излечиваться» (Дневник писателя, январь 1877 г., гл. 1).

Сегодняшняя слепота многих советских западников, их бесчувственность к собственной «матери» и угодничество перед чужой заставляют предположить, что в рассеченном «двуглавом орле» сердце вообще осталось, кажется, не на их стороне. В сущности, реализовав в XX веке совет де Кюстина, западничество в России историософски изжило себя, и западником сегодня можно быть, лишь бессердечно не понимая причин и итогов этого эксперимента...

Современное космополитичное западничество — наследник не столько западников XIX века, сколько того победившего течения, с которым спорили «Вехи» — как оно сформировалось в последние 70 лет нашей истории. Вероятно, поэтому тоже (а не только благодаря моральной поддержке из-за границы) западники имеют сегодня лучшие политические позиции в «перестройке»: из-за внутреннего родства с господствовавшей идеологией, о котором писал С. Франк. Тот факт, что из споров XIX века (например, между Гоголем и Белинским) читателям в СССР была доступна лишь точка зрения западников — достаточное подтверждение этого родства.

Этим, возможно, объясняется и то, что до литертурной «реабилитации» А. Солженицына доступ к средствам массовой информации в СССР имели лишь представители космополитической эмиграции. Несомненно, что эта политика «наведения мостов» с родственными силами на Западе возникла не без содействия сверху *. Многие верховные реформаторы,

* С началом перестройки в творческие поездки за границу посылаются преимущественно западники. В этой связи стоит отметить их возникший альянс с Радио Свобода. Первый, «исторический» визит представителей советских западников на эту радиостанцию был прокомментирован в информационном бюллетене Радио Свобода (Shortwaves, февраль 1988) следующими словами: «Г-н Матусевич (беседовавший с советскими гостями директор русскоязычной службы РС. — М. Н.) выразил мнение, что столь известные представители советской культур-

признавая материальные успехи «капстран», также принимают упрощенный выбор «или — или», предлагаемый Западом. Но эта ситуация вряд ли отражает подлинную расстановку сил, симпатии и интересы российского общества, и по мере расширения сферы свободы можно ожидать изменений в пользу почвенников. Если они проявят хотя бы половину активности сегодняшних западников.

Трудно не заметить, что не западничество, а почвенничество приняло на себя в России основной удар интернационального тоталитаризма, предотвратив его наступление на Запад, «мировую революцию» — подобно тому, как Россия заслонила Европу от другого нашествия, в XIII веке. Неудивительно поэтому, что почвенническая половина рассеченного «орла» не вполне здорова. Она еще в болевом шоке — чем только и можно объяснить ее подозрительность, излишнюю категоричность в выявлении врагов России, неотмежевание от символов учения, которое ее же в свое время пыталось уничтожить.

Впрочем, терминологические неотмежевания такого рода — применяются ли они в тактических целях, то ли по инерции — встречаются у обеих сторон. Из-за этого кое-кто на Западе не видит сути идущего спора: он идет не «за» или «против» реформ, а за их направление. А поскольку разделение на эти фланги проходит через все слои общества, чем выше слой — тем больше этих «родимых пятен» и тем больше затемняется проблема. Для обозначения одного типа невежества публицисты-западники выбрали термин «национал-большевизм», но свою сторону в споре пощадили — а следовало бы по аналогии назвать «интернационал-большевизмом». Ибо он спорит, не опираясь на общечеловеческие нравственные ценности, а «классовыми аргументами».

Пример тому — выступление В. А. Твардовской в «Вопросах философии» (№ 9, 1988), для которой противник плох не шлаками отжившей идеологии, а нравственными зернами истины, которые проросли в работах его представителей, пусть еще в уродливой форме, под идеологическим прессом тоталитаризма. Того же рода — выступление М. Шатрова против печатания А. Солженицына; статья Р. Медведева против И. Шафаревича, напоминающая о его антисоциалистических работах: мол, Шафаревич «скрыл от читателей, чего добивается, отрицая Сталина и сталинизм» («Московские новости», № 24, 1988 г.); панегирик Т. Ивановой недавно изданному «цитатнику» основоположников с рекомендацией его школьникам и всем тем, «кто хотел бы окрепнуть духом в борьбе, найти аргументы в пользу коммунистической идеи» («Книжное обозрение», № 44, 1989); вера В. Коротича в коммунизм — «общество, где все будут все иметь и никто ничего не будет делать» («Комсомольское знамя», Киев, 21.02.1990).

Следует заметить, что дискуссия между обоими флангами выиграла бы при выборе более точных адресатов.

Так, в западничестве можно видеть как минимум три фракции: 1) воинствующий либерал-космополитизм (напр., А. Янов, Б. Хазанов, Б. Сарнов); 2) «интернационал-большевизм» (примеры указаны выше); 3) «христианский» космополитизм (неофиты, эволюционирующие от агностической позиции Г. Померанца в направлении о. Александра Меня, но не дорастающие до универсализма последнего).

Фракции у почвенников следующие: 1) сторонники правового государства на основе христианской традиции (А. Солженицын и его единомышленники); 2) «национал-большевизм» (некоторые авторы «Молодой гвардии» и группы «Памяти»); 3) эстетически-ностальгические утописты разного толка.

Думается, первые фракции наиболее характерно отражают мировоззрение обоих флангов. Вторые — временное явление, которое неизбежно отойдет в прошлое. Третьи фракции — будут существовать всегда как побочные, которые в своих крайних выражениях могут приходить к сходному разочарованию не только в своем утопизме, но и в России (как, например, в XIX в.: у западников — эмигрант Печерин, ставший католическим монахом: «Как сладостно отчизну ненавидеть/И жадно ждать ее уничтоженья»; а у почвенников — эстетический консерватор К. Леонтьев: «Я признаюсь, за последние годы совершенно разочаровался в моей отчизне», утратив «веру в ее выздоровление»; он не находил даже у славянофилов отличия от западного эгалитарного свободопоклонства»...)

Зарубежная советология замечает «родимые пятна» лишь у почвенников и полагает, что они, в отличие от западников, якобы не искренне отрицают тоталитаризм. Однако именно почвенники потенциально идут в его преодолении гораздо глубже, ибо глубже их представление о мире и человеке. Лишь критики с поразительным нечувствием абсолютных духовных ценностей не способны отличить «соборность» от «идейной монолитности», «совесть» от «революционного правосознания», «богоносца» от «авангарда прогрессивного человечества»; и лишь пишущие слово Бог с маленькой буквы могут утверждать, что различие между русской идеей и тоталитаризмом «не в разности ориентиров и путей, а в степени, как сейчас выражаются, «продвинутости» по общему для всех них пути» (все это демонстрирует С. Чупринин в «Знамени» № 1, 1990 — в чем основной порок и его манифеста, и «беллетристов-футурологов» типа В. Войновича).

Даже если у почвенников и в самом деле можно чаще встретить такие «родимые пятна», то не оттого, что они им нравятся, а оттого, что в их шкале ценностей сегодня важнее борьба «за что», а не «против чего», которое и без того находится в отступлении. Почвенничество прорастает через отмирающие догмы, в действенность которых уже почти никто не верит. Оно преодолевает тоталитаризм утверждением подлинных национальных ценностей, и можно спорить лишь о границе допустимых компромиссов. Хочется надеяться, что после выступления Б. Бондаренко в «Литературной России» (30.03.90) в становлении почвенничества наступит новый этап:

«При блоке с аппаратом мы обречены на поражение. Разве не звучит фарсом перелицовывание великой столыпинской фразы в «Платформе патриотических сил России»: «Нам нужна великая Советская Россия»?» «Теряя поддержку народа, мы опираемся на партийные коридоры власти, а они громогласно предают нас оптом и в розницу... Дальнейшая стыковка с партаппаратом нас окончательно добьет... Наша высшая цель — духовное культурное и христианское возрождение России».

Западники же до сих пор отвергают лишь политические следствия тоталитаризма, не анализируя их духовных причин. Именно поэтому их внимание часто концентрируется на последних исторических периодах болезни, без охвата многовекового развития «вируса». Именно поэтому рецепты западничества по-своему опасно утопичны.

Главною ценностью западники провозглашают свободу — но без осознания, что она раскрепощает и лучшие, и худшие стороны человеческой природы. Причем скольжение вниз требует меньше усилий, чем подъем вверх. Западное общество это ясно демонстрирует. Либералистическая теория, что сумма эгоизмов автоматически обеспечивает здоровье общества — все больше оказывается еще одной утопией, которая еще не дошла до саморазоблачительного конца, неуклонно к нему приближается. Капитуляция перед греховностью человека ведет к энтропии духа, и в таком человечестве трагическое развитие запрограммировано. Логическое завершение этой тенденции — все тот же Апокалипсис, репетиция которого состоялась в России на основе другого соблазна. Статья И. Шафаревича в «Новом мире» (№ 7, 1989) вскрывает общий корень этих двух разных «прогрессивных» утопий: материалистическое понимание прогресса.

Известно не лишенное справедливости замечание, что западники противопоставляли реальной России идеализированную Европу, славянофилы же реальной Европе — свой идеал России. При кажущемся равенстве этих формул в идеале славянофильства-почвенничества содержится все же нечто большее: в нем есть духовное усилие к преображению, к преодолению греховности человека. Это — импульс самосовершенствования не только на индивидуальном, но и на общенациональном уровне, задаваемый христианством. Капиталистический же Запад — плод рационалистического снижения христианского идеала; он приспособился под греховность человеческой природы, отказавшись от попыток восхождения вверх. Б. Парамонов (Радио Свобода), несомненно, имеет право призывать к «мутации русского духа» в этом направлении, но незачем называть это «русской идеей». «Русская идея» — фермент нашего духовного роста.

Она приобретает сегодня особенное значение как единственная защита российского корабля в открывающемся бурном мировом океане. Тогда как реализацию западнической утопии можно сравнить с открытием кингстонов: для надежд на эту панацею сегодня еще меньше шансов, чем их было в начале века.

Дело не только в отсутствии у России так называемых демократических традиций (они есть: вече, земские соборы, крестьянский сход, земское самоуправление — но предусматривают единые духовные ценности, а не этический плюрализм: именно поэтому был неудачен опыт Думы, которая оказалась не на высоте стоявших перед Россией задач). Дело, видимо, и в другой структуре русской души, которая делает невозможным копирование западных плюралистических моделей. Бердяев правильно писал, что «от прикосновения Запада в русской душе произошел настоящий переворот, и переворот в совершенно ином направлении, чем путь западной цивилизации. Влияние Запада на Россию было совершенно парадоксально, оно не привило русской душе западные нормы». Наоборот, это влияние раскрыло в русской душе разрушительные силы: в отличие от Запада «в России просвещение и культура низвергали нормы, уничтожали перегородки, вскрывали революционную динамику» («Истоки и смысл русской революции»).

Это происходило вследствие более цельного и максималистского русского мироощущения, к которому плюрализм не мог привиться как релятивизация истины. Эта особенность России проявлялась, например, «в самой полноте и чистоте того выражения, которое Христианское учение получило в ней, во всем объеме ее общественного и частного быта» (И. Киреевский). Так же и атеистическое учение было воспринято максималистским «орденом интеллигенции» как всепоглощающая вера, устоять против которой российский корабль не смог, в отличие от западного корабля с его плюралистическими переборками, не дававшими ему потонуть при пробоине в том или ином отсеке.

Воздействие «единственно верного учения» на сознание нашей интеллигенции Достоевский предвидел (в бреду Раскольникова) как нашествие духовных вирусов-«трихинов»: «страшную, неслыханную, невиданную мировую язву», которой «мир осужден в жертву» и от которой многие должны погибнуть, а прочие зараженные будут считать себя как никогда «умными и непоколебимыми в истине». «Все были в тревоге и не понимали друг друга... не могли согласиться, что считать злом, что добром... Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе...» Побеждает в таких условиях злейший.

ной жизни не согласились бы участвовать в радиопередаче РС без разрешения вышестоящих властей... Г-н Матусевич сказал, что не отбрасывает возможности того, что сторонники реформ Горбачева хотели использовать большую аудиторию слушателей Радио Свобода для поддержки гласности — в этом возможное объяснение неожиданного визита».

Лишь в этом смысле верно, что революция в России объясняется «национальными особенностями русского народа»: в том, что его организм оказался наиболее беззащитен против вирусов. Но это не дает оснований ни Бердяеву объяснять ее «детерминированностью русской историей» (смешивая «цельность» и «тоталитарность» русского характера), ни кому-то выхватывать из очень небрежных формулировок бердяевской книги (цитированной выше) политические доказательства того, что ответственен за катастрофу русский народ, очень хотевший ее и поэтому пошедший за большевиками (Б. Сарнов — «Литературная газета», 29.03.1989). В столь радостном подхватывании этого соблазна Бердяева как национал-большевиками, так и космополитами-русофобами происходит взаимная аннигиляция их расхожих мифов. Во времена Бердяева не было коммунистических Китая, Кубы, Албании, Камбоджи, но те, кто его цитирует сегодня, должны все же задуматься, какая «национальная идея» детерминировала такие же режимы там.

Если что Бердяев в своей книге и доказывает, так это не «национальные корни русского коммунизма», а непригодность русского народа для западной модели сегодняшнего уже не только политического, но и этического плюрализма. Поэтому почвенничество, способное наполнить русскую цельность этически цельным содержанием, является единственной жизнеспособной альтернативой для будущего.

Нужно также учесть, что большие объемы требуют больше времени для смены содержания — видимо, этой цельностью русской психики можно отчасти объяснить и медленное становление сегодняшнего почвенничества: оно «откачивает воду» не из малых поврежденных отсеков по очереди, а из всего затонувшего корабля сразу. Поэтому вода, к сожалению, будет подмешана к их рассуждениям еще долго. Однако и здесь нужно различать обстоятельства и цели — поэтому, например, за «социалистическими поисками» публициста М. Антонова можно видеть искреннее стремление к большей, чем на Западе, социальной справедливости, а не к сохранению под водой «затонувшего корабля». Поэтому даже у некоторых защитников Сталина — людей, исторически и политически неграмотных, — можно видеть, в сущности, желание порядка, протест против бесхозяйственности, коррупции, вседозволенности... Они тоже чувствуют в России «мать», и их беда в том, что они знают свою мать лишь больной, никогда не видев здоровой, и так же, как С. Чупринин, не чувствуют абсолютных духовных ценностей, необходимых для ее выздоровления...

Мне кажется, что эта душевная цельность, пусть в искаженном виде, сохранилась в русском народе несмотря на весь «генетический урон», о котором пишет В. Солоухин в работе «Читая Ленина». Духовное поле народа определяется не «генами» какой-то его части, а всей национальной традицией, которая может быть уничтожена лишь вместе со всем народом. Поэтому и сегодняшнее его состояние — ожесточенность, рост преступности, нравственный упадок в широких слоях — не основание для окончательного пессимизма. Вспомним еще раз Достоевского: «чтоб судить о нравственной силе народа и о том, к чему он способен в будущем, надо брать в соображение не ту степень безобразия, до которого он временно и даже хотя бы и в большинстве своем может унизиться, а надо брать в соображение лишь ту высоту духа, на которую он может подняться, когда придет тому срок. Ибо безобразие есть несчастье временное, всегда почти зависящее от обстоятельств, предшествовавших и преходящих, от рабства, от векового гнета, от загрубелости, а дар великодушия есть дар вечный, стихийный, дар, родившийся вместе с народом, и тем более чтимый, если и в продолжение веков рабства, тяготы и нищеты он все-таки уцелеет, неповрежденный, в сердце этого народа» (Дневник писателя, январь 1877, гл. 1).

Можно надеяться, что описанные выше издержки становления нашего почвенничества — временные и не столь опасные. Его более устойчивый недостаток, наверное, все та же мечтательность. К сожалению, большинство почвенников не дают программы конкретных решений и надеются, что из народа «само собой» вырастет зерно, замысленное историей. Иногда за «зерно» принимаются чисто внешние формы. Как писал еще И. Киреевский, пропитанность русской жизни христианством составляла ее главную силу, «но в этом же таилась и главная опасность для ее развития. Чистота выражения так сливалась с выражаемым духом, что человеку было легко смешать их значительность и наружную форму уважать наравне с ее внутренним смыслом» (ПСС И. Киреевского, М., 1913, т. 1, с. 219).

В этой мечтательности кроется организационная слабость почвенников, которую необходимо срочно преодолеть. Их органическая сила и духовная правота реализуют себя, лишь если будет четче осознано, что Замысел Божий о человеке и о нации не действует автоматически. Это закон, но его действие, как писал В. Соловьев, обусловлено дарованной нам свободой воли и проявляется двояко: если нация осознает его и следует ему — он становится для нее законом жизни; если же не осознает и не следует — он осуществляется как закон смерти. На этом уровне лежит выбор между западничеством и почвенничеством и решается дилемма «Иного не дано».

Таким образом, осознание масштабов «перестройки» не должно ограничиваться лишь рамками одной страны — СССР. Реформы следует рассматривать в мировом контексте. Во-первых, потому, что эксперимент, поставленный над Россией, берет свои истоки в духовном развитии западноевропейской цивилизации и может быть надежно преодолен лишь с учетом ее опыта. То есть необходимо осо-

знать несовершенство природы человека и то, как в условиях свободы и несвободы по-разному проявляются его темные и светлые стороны. Во-вторых же, потому, что западное общество само переживает кризис и должно искать выхода из него в том же направлении, что и мы.

Для осознания этого полезно ознакомиться с опытом тех, кто имел возможность оценить результаты развития разных общественных систем. Как писал Г. П. Федотов о русской эмиграции: «С той горы, к которой прибило наш ковчег, нам открылись грандиозные перспективы: воистину «все царства мира и слава их» — вернее, их позор. В мировой борьбе капитализма и коммунизма мы одни можем видеть оба склона — в Европу и в Россию: действительность как она есть, без румян и прикрас» (Г. П. Федотов. «Россия, Европа и мы», 1932).

Этот опыт, перефразируя прот. Георгия Флоровского, можно сформулировать так: нужно стремиться не «назад, к отцам»; не вбок, к чужим отцам; а «вперед, к отцам». То есть, вернувшись в русло нашей нравственной отеческой традиции, двигаться в ту точку будущего, где российский путь пересечется с западным, если Запад тоже захочет сделать шаг на новую ступеньку в совершенствовании человеческой цивилизации.

Есть ли надежды? Не знаю. Но сегодня, в отличие от XIX века, речь идет не об эстетическом неприятии «мещанства» и не о романтических призывах к «светлому, доброму и чистому». Речь идет о спасении человечества от нарастающих последствий его эгоизма. Усиленный современной техникой, он принимает угрожающие масштабы. Перед лицом открывающейся впереди пропасти человечество все же должно задуматься о направлении своего пути. Выживание будет зависеть от того, насколько своевременно будет осознана опасность. Русские мыслители XX века «с вершины горы, на которую прибило их ковчег», эту пропасть давно увидели и дали в своих работах не только ее описание, но и начертали путь, как ее избежать. Стране надо срочно знакомиться с оставленной ими картой*.

Что же касается противостояния между западниками и почвенниками, то оно сейчас, наверное, непреодолимо. В этом проявляется не только напряженный и неустранимый диссонанс всей жизни российского общества, еще не осознавшего свое место в мировой истории. В этом можно видеть и своеобразие российской культуры, заложенную в ней двухполюсную антиномию как богатство и красоту. Но чтобы раскрыть ее потенциальные возможности, мы обязаны вернуть этому противостоянию роль генератора культурной энергии. Это возможно на уровне национального синтеза: когда российское почвенничество, в согласии с Достоевским, осознает в себе координату всечеловечности, а западничество, вспомнив хотя бы о Герцене, из подражательского станет национальным.

Именно такому синтезу русская культура обязана своими высшими пиками — в Пушкине, Достоевском, В. Соловьеве, С. Франке (кстати, они дали и наиболее глубокое понимание друг друга: Достоевский и Франк — Пушкина, а Соловьев — Достоевского). Такой пик можно видеть и в русской религиозной философии XX века.

Основу для этого синтеза можно видеть в том свойстве, о котором Достоевский писал, что русские «может быть наиболее способны, из всех народов, вместить в себя идею всечеловеческого единения, братской любви, трезвого взгляда, прощающего враждебное, различающего и извиняющего несходное, снимающего противоречия» (Дневник писателя, август 1880, гл. 1). Ранее ту же мысль выразил К. С. Аксаков: «Дух нашего народа есть христианско-человеческий». «Русская история имеет значение Всемирной Исповеди». И даже: «Русский народ не есть народ; это человечество; народом он является оттого, что обставлен народами с исключительно народным смыслом, и человечество является в нем поэтому народностью» (ППС К. С. Аксакова, М., 1889, т. 1).

Точка синтеза, конечно, ближе к славянофильско-почвеннической традиции, чем к западнической, — это верно и для прошлого века, и особенно для нынешнего. Потому что синтез есть новая ступень познания целого, он возможен при осознании всего масштаба российской истории, а не одних лишь мутаций Нового времени. Мировоззрение почвенников, осмысляющее судьбу России в ее религиозно понимаемой, бытийственной целостности, вмещает в себя не только убежденность в своей правоте, но и понимание того, почему западники субъективно полагают, что правы они.

Целительная формула синтеза, по замечанию Г. Федотова, лежит именно в нашем прошлом: «западнический соблазн Петербурга и азиатский соблазн Москвы — два неизбежных срыва России, преодолеваемые национальным духом. В соблазнах крепнет сила... Было бы

---

* Для этого необходимо уже сейчас переиздать в России хотя бы следующие книги, многие из которых стали библиографической редкостью даже на Западе и которые могли бы служить пробуждающемуся российскому обществу пособиями в этом вопросе, например:

Н. Зернов. «Русское религиозное возрождение XX века», ИМКА—Пресс, Париж, 1974.

Прот. В. Зеньковский. «Русские мыслители и Европа». ИМКА—Пресс, Париж, 1955.

А. В. Карташев. «Воссоздание Св. Руси». Париж, 1956.

Н. А. Бердяев. «Философия неравенства». Берлин, 1923. Париж, ИМКА—Пресс (2-е изд., 1970).

С. Л. Франк. «Духовные основы общества». ИМКА—Пресс, Париж, 1930 (2-е изд., «Посев», США, 1988).

Прот. Сергий Булгаков. «Православие». ИМКА—Пресс, Париж, 1985 (2-е изд.).

И. А. Ильин. «Путь духовного обновления». Изд-во Обители преп. Иова Почаевского, Мюнхен, 1962; «О монархии и республике». Изд-во «Содружество», Нью-Йорк, 1979.

«Вехи». Сборник статей о русской интеллигенции. Москва, 1909 (2-е изд., «Посев», 1967).

«Из глубины». Сборник статей о русской революции. Москва, 1918 (ИМКА—Пресс, 1967).

только третье... — магнитный полюс, куда обращается в своих колебаниях стрелка духа. Этим полюсом, неподвижной, православной вехой в судьбе России является Киев: то есть идея Киева» («Три столицы»).

Здесь имеется в виду, что не в секулярном просвещении, пересаженном с Запада Петром I, а в православной Киевской Руси лежит вселенский исток нашей культуры: эллинско-христианский, делающий и нас, и Западную Европу европейцами (нашу эллинскую составляющую можно провести к «христианину до Христа» — Платону). Живая вода из этого источника могла бы восстановить и двуглавого орла — наш рассеченный герб. Вот почему дорог нам Киев — матерь городов русских»; вот почему «Москву — Третий Рим» так притягивал Константинополь — исток нашей христианской государственности... Энтузиасты бережного очищения этого родника, как, например, С. Аверинцев, личным примером свидетельствуют, что синтез возможен и сегодня.

В заключение следует сказать, что космополитом стать просто, тогда как национальное самосознание требует длительного созревания. После казенного злоупотребления патриотизмом не все открывают в нем для себя жизненно важную ценность — к таким людям следует проявлять терпение. Вдумчивых западников, как и в XIX веке, вылечит от иллюзий и «ошибок ума» сам Запад: «не столько от споров и разъяснений логических, сколько неотразимою логикою событий живой, действительной жизни, которые весьма часто, сами в себе, заключают необходимый и правильный вывод...» (Ф. Достоевский. Дневник писателя, январь 1877, гл. 1). Тем же, у кого непреодолимые препятствия и «ошибки сердца» исключают причастность к российской судьбе во всей ее исторической полноте, — разумнее согласиться на мирное сосуществование с русской культурой, осознав, что народ не может подлаживать к ним свою историю и судьбу.

Мюнхен, 1989 г.



ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА



КСЕНИЯ МЯЛО, ПЕТР ГОНЧАРОВ

ЛИНИЯ СУДЬБЫ

Не стоит обманывать себя: «новое мышление», принесшее столь весомые, хотя и неоднозначно оцениваемые результаты во внешней политике, внутри страны потерпело однозначный крах. Свидетельством тому — все множащиеся очаги межнациональных конфликтов, своим разогревом с лихвой компенсирующие затухание холодной войны.

Неуютный призрак гражданской войны в СССР — и сегодня еще ядерной сверхдержавы, к тому же нашпигованной АЭСами и опаснейшими химическими производствами, — в последнее время начал тревожить даже воображение Запада, еще недавно готового столь бурно приветствовать «конец империи». Как если бы этот «конец» и впрямь мог наступить в результате всего лишь дружеской договоренности на приятной вечеринке!

Теперь, прозрев, «Филадельфия инкуайрер» пишет, например: «Еще крепче спать по ночам нам мешает не страх перед новым конфликтом между сверхдержавами, а хаос в Советском Союзе. Мысль о гражданской войне и тысячах ядерных боеголовок — это поистине страшная мысль».

Между тем по мере того как бурно разворачивается процесс суверенизации национальных территорий и как все более отчетливо прорисовываются очертания национальных вооруженных сил, перспектива эта становится все менее фантастичной. Тем более что число национальных армий, равно как и число национальных территорий, уходит в бесконечность. Само же понятие «империя» стало быстро утрачивать ту хрестоматийную простоту, которое оно имело, например, в сочинениях З. Бжезинского — «нерусские народы», угнетаемые «господствующим русским народом».

Едва лишь обратившись к реальности, общественное мнение обнаружило, что «господствующий русский народ» принадлежит к числу наиболее разоренных, выбитых и отброшенных назад в своем развитии за 70 лет и что для огромного числа народностей, проживающих на территориях союзных республик, «имперским» выступает именно «местный» суверенный этнос. Именно в этом поле развернулись наиболее свирепые национальные конфликты, что уже само по себе должно было бы заставить задуматься об исходной порочности принципа этнической монополии на территорию. Однако в каком-то ослеплении мы продолжаем искать выхода на путях дальнейшего развития как раз этого принципа, тем самым затягивая смертельный узел на сотнях тысяч, если не на миллионах людей. Беженство, уже превращающееся в исход, буквально вопиет об этом. Мы же упорно не желаем видеть, что процесс внутренне детерминирован, проходит через определенные стадии в своем развитии, а потому поддается достаточно точному системному анализу и прогнозированию.

Сейчас мы как раз находимся на подступах к новой стадии, и последствия такого перехода, если он осуществится, заставят поблекнуть все пережитое до сих пор. Ибо если все предшествующие межнациональные конфликты разворачивались по внешней дуге государства, от Балтики до Памира, то сейчас речь идет о возгорании дуги внутренней, о перенесении пламени в уже нестабильную, густонаселенную и многонациональную зону — в бассейн Волги и прилегающих к ней территорий.

Сложные политические процессы, идущие в Татарии (южная часть новой дуги) и Башкирии (северная часть), делают пожар здесь высоковероятным. А для того чтобы эта дуга запылала, чтобы огонь охватил огромный регион, рассекающий Российскую Федерацию на две части — западную и восточную, нужен, в сущности, только один неверный шаг.

К сожалению, этот шаг высоковероятен, выглядит, на первый взгляд, морально и политически оправданным, соответствующие требования сформулированы, а общественное мнение, не углубляясь в анализ и в историю вопроса, пока неспособно оценить как опасность, так и противоправность готовящегося решения.

Печатается в порядке дискуссии.

Речь идет о восстановлении территориального политического статуса республики немцев Поволжья. Причем вопрос ставится однозначно: восстановление исторической справедливости по отношению к этому народу (необходимость чего сама по себе не может вызывать, разумеется, никаких сомнений) равняется восстановлению его восходящей к 1924 году государственности. Основанием для такого отождествления видится упразднение этой государственности и депортация населения в глубь страны в августе 1941 года.

Именно так ставит вопрос общество «Возрождение», так ставит вопрос и печать, на страницах которой пока в основном слышится голос только одной стороны, а именно — немецкой. Другая же — многонациональное население, проживающее ныне на территории, большей немецкой республики (представители около 20 народностей), — предстает неким оглупленным стадом, не понимающим «своего счастья» (при немцах ведь настанет товарное изобилие, не мудрствуя лукаво, заверяют на страницах «Известий»). Это «стадо», «топочущее» и «свистящее», как описывает его А. Кичихин в опубликованной газетой «Нойес лебен» статье «Анатомия шовинизма», легко внушаемо, им манипулируют вездесущие аппаратчики, так кстати возникающие везде как «первотолчок» всех конфликтов, шовинистично (вот только в каком смысле: ведь население здесь исключительно многонациональное, и против воссоздания автономии выступают не только русские?). Всех немцев без разбора эта тупая масса считает фашистами, «сатанински упряма» («Эхо планеты») и никак не хочет понять, что виновником всех бед, пережитых человечеством от сотворения мира и до наших дней, является исключительно Сталин. Что же до Гитлера, то он к ситуации — и экономической, и демографической, сложившейся ныне в Поволжье, никакого отношения вроде бы и не имеет, и людям, «занявшим чужую землю», пора бы это понять.

Изложенная нами гротескная схема посылок и выводов — не наш вымысел, а, к несчастью, лежит в основе большинства публикаций по проблеме, в чем читатель легко может убедиться, просмотрев хотя бы ту же «Анатомию шовинизма». К тому же весь вопрос рассматривается вне исторического контекста, и подобный аисторизм оборачивается новой неправдой, которая в свой черед грозит обернуться новой несправедливостью и новыми человеческими трагедиями. Отличительной чертой этой новой неправды является агрессивное морализирование (не путать с моралью!) по поводу проблемы, которая требует совсем другого: анализа и понимания всех ее аспектов, ибо поверхностное морализирование, в котором мы так преуспели в последнее время, увы, создает иллюзии легких решений, за что, между прочим, уже расплачиваются жертвы национальных конфликтов.

Между тем, сколь бы ни было это прискорбно, но история однозначно свидетельствует: практика депортаций и интернирования населения, этнически родственного противнику, была расхожей в международном праве XX века, что отнюдь не умаляет трагедии советских немцев, но обязывает рассматривать ее в более точном историческом контексте и в соотнесении с трагедией, пережитой другими народами, особенно нашей страны, в годы второй мировой войны.

Итак, немного истории. В середине июля 1936 года началась гражданская война в Испании, и уже к осени гибель Республики была несомненной. Фалангисты быстро приближались к Мадриду, наступая четырьмя основными колоннами.

Именно в эти дни один из наиболее видных генералов, командовавших войсками мятежников, Эмилио Мола, выступил по радио. Угрожающе обрисовав боевые действия, развернутые этими четырьмя колоннами, он добавил, что наступление на правительственный центр будет начато пятой колонной, которая уже находится внутри Мадрида.

Так впервые прозвучали эти слова, которым суждена была долгая жизнь и которые сыграли огромную роль в судьбах немцев во время войны. Сотрудник Амстердамского государственного института военной документации Луи де Йонг в 1956 году выпустил в США специальное исследование, предмет которого был обозначен уже в самом заглавии: «Немецкая пятая колонна во второй мировой войне». В этой книге, на долгое время попавшей в центр общественного внимания, автор дает убедительное объяснение живучести понятия, причин, по которым оно так быстро укоренилось.

«В термине «пятая колонна», — пишет он, — была определенная потребность. Он был необходим не только в республиканской Испании, но и за ее пределами. Он нужен был людям, которые почти в течение четырех лет чувствовали, что и сами они находятся под угрозой тех сил, которые поддерживали Франко, то есть со стороны национал-социалистической Германии и фашистской Италии».

Прогерманский фашистский путч 1934 года в Австрии, возникновение немецких объединений под знаком свастики практически во всех странах Европы и даже за океаном (особенно в Бразилии), очевидные связи национал-социалистических ассоциаций с Берлином, их агрессивное наступление в Саарской области, Судетах, Мемеле (Клайпеде) — все это уже задолго до начала войны интенсивно формировало атмосферу недоверия и настороженности по отношению к местным немцам, которых берлинские власти именовали «фольксдойчами».

Де Йонг отмечает: «Нацизм доказал, что может быстро подчинять их своему влиянию... Третий рейх, словно магнит, притягивал к себе немцев, разбросанных по всему миру».

Страх перед пятой колонной, носивший международный характер, откровенно прорывался на страницах печати и на радио. Исключением, считает нужным заметить де Йонг, оставался Советский Союз, где не наблюдалось ничего похожего на антинемецкую истерию, захлестывавшую европейские страны.

Особенно высока была температура этой истерии в Польше, где, когда речь заходила о местных немцах, их обычно именовали «гитлерами». Очень резкой была и реакция на аннулирование Гитлером 28 апреля 1939 года польско-германского пакта о ненападении. Немецкие сельскохозяйственные кооперативы были распущены, почти все немецкие школы и все немецкие клубы закрыты, многие немцы — активисты культурных учреждений арестованы, кое-где произошли стихийные погромы.

В середине августа поляки снова произвели аресты среди немецкого населения, а на немецкие издательства и органы печати был наложен запрет.

Еще до начала войны на стенах были развешаны плакаты с предостерегающими надписями: «Берегись шпионов! Немецкий шпион тебя слушает!». Пик же антинемецких репрессий пришелся на сентябрьские дни, последовавшие за гитлеровской агрессией.

«Гони их на Восток!» — такова была принципиальная установка. В некоторых случаях для вывоза немцев подавались поезда, но чаще им приходилось идти пешком. Один из проделавших этот путь позже вспоминал: «Когда нам приходилось следовать через мало-мальски значительный населенный пункт, на обочинах улиц быстро скапливались толпы взбешенных местных жителей, слышалась брань, в нас плевали, бросали камни или навоз, били палками. И все это проходило безнаказанно...»

Гнев поляков, хотя и понятный, но принимавший столь дикие формы, подкреплялся, увы, очевидной радостью, с которой местные немцы встречали гитлеровские войска.

И это не осталось тайной для Европы: польское эмигрантское правительство способствовало изданию в Париже в апреле 1940 года книги «Немецкое вторжение в Польшу», где достаточно подробно и красноречиво описывалась деятельность немецкой пятой колонны.

Масла в огонь подлил и сам Гитлер, чьи слова в почти одновременно выпущенной книге «Говорит Гитлер» процитировал Герман Раушнинг: «Никакая линия Мажино нас не остановит. Наша стратегия заключается в том, чтобы уничтожать противника изнутри, завоевывать его любыми средствами».

Соответственно, когда вал германской агрессии достиг Голландии, паника разрослась до таких размеров, что, как сообщает современник, всякий считал себя вправе задержать любого «подозрительного» немца.

Впрочем, 10 мая 1940 года в 5 часов утра на места были разосланы шифрованные телеграммы, официально разрешавшие арест более чем полутора тысяч немцев. Всем остальным немецким подданным или выходцам из Германии было приказано не покидать своих жилищ, причем под действие этого приказа подпало несколько десятков тысяч политических беженцев и евреев, эмигрировавших из Германии.

Особенно бурным был всплеск в Бельгии, где население еще хранило воспоминания о немецкой оккупации первой мировой войны. Естественно, здесь также приняли меры против всех лиц, подозреваемых в принадлежности к пятой колонне, причем столь решительно, что тюремные камеры быстро оказались переполненными, а кое-где арестованных расстреливали прямо на месте.

Крупный эшелон был отправлен из Брюсселя в Орлеан, и люди, запертые в вагонах с надписями «члены пятой колонны» и «шпионы», лишь время от времени получали немного воды; раз в сутки им выдавали по куску хлеба. Стояла невыносимая жара, а в вагонах, смешанные воедино, томились немецкие подданные, фламандские нацисты, коммунисты, евреи. В пути несколько человек умерло, одна женщина родила. На станции Тур эшелон встретила возбужденная толпа. «Нефти! — кричала она. — Дайте нам нефти, чтобы облить ею и сжечь подлецов; надо уничтожить эту нечисть». После долгих мытарств заключенные прибыли в район переполненных концентрационных лагерей, у предгорьев Пиренеев.

С началом войны все немецкие подданные, проживавшие во Франции, были интернированы, в том числе политические эмигранты и бежавшие из Германии евреи, в числе которых оказался и Л. Фейхтвангер.

Интернирование было проведено и в Англии, при этом Черчилль, помнивший антигерманские выступления 1915 года, опасался, что в случае серьезного кризиса укрывшиеся в Англии эмигранты могут стать жертвами народного гнева.

Так отреагировала на угрозу пятой колонны «цивилизованная Европа», по отношению к которой у нас в последнее время потеряно всякое критическое чувство и которая сейчас также не любит вспоминать о себе, требовавшей «нефти» для аутодафе. Впрочем, напоминаем об этом не для того, чтобы укорять кого-либо, тем более что людей лишал разума слишком обоснованный, к несчастью, страх перед немецким нашествием, а чтобы восстановить тот исторический и международно-правовой контекст, в котором было принято решение о депортации советских немцев.

И рассматриваемый в этом контексте Указ Президиума Верховного Совета СССР «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья», — как бы мы ни относились к подобной практике сегодня, — отличался только одним: тем, что был принят не превентивно, как в Польше, не в день начала войны, как во всех без исключения европейских странах, а тогда, когда армия вторжения продвинулась далеко в глубь страны, над которой нависла реальная угроза военного поражения и полнейшего уничтожения. Не сопровождала его и антинемецкая истерия, хотя, как сообщает тот же

опирающийся на архивные документы де Йонг, к этому времени факты вывешивания местными немцами флагов со свастикой на оккупированных территориях кое-где имели место, а как мы видели, в Европе этого сплошь и рядом оказывалось достаточно для стихийных погромов и расправ.

Эпоха имела свой стиль действий, но в конечном счете, как и в Европе, первопричиной страданий, перенесенных немецким народом в это время, была гитлеровская агрессия, о чем в последнее время вспоминают не так уж часто и о чем совсем не вспоминают в своих выступлениях лидеры «Возрождения».

Между тем истинно нравственный подход к вопросам политики требует не забывать и об этом, подтверждением чему может быть позиция, занятая А. Д. Сахаровым (которого, думается, никто не упрекнет в «великодержавности») по вопросу об интернировании. Депутат С. А. Ковалев вспоминает на страницах журнала «Природа», как при обсуждении законопроекта о чрезвычайном положении Сахаров в ответ на твердое заявление оппонента об абсолютной недопустимости подобной практики неожиданно возразил: «Обстоятельства могут быть всякие. Об этом надо еще подумать...»

«Ну как же, — говорю я ему, — ведь Конгресс США два года бурно обсуждал эту проблему и в конце концов принес извинения японцам, интернированным во время войны». На что Андрей Дмитриевич ответил: «Да, принес. Но заметьте, через 30 лет после войны, а не только через два года. А принес бы он эти извинения, если бы японский десант на территорию США состоялся или его реально можно было бы опасаться?»

Ну а поскольку немецкий «десант» на территорию СССР состоялся, одновременно с тем, как на Восток пошли эшелоны с депортированными, на покидаемую ими территорию хлынули толпы эвакуированных — беженцев из западных районов страны, составивших здесь костяк нового населения. Об этом следовало бы не забывать, касаясь столь больной темы и тревожа воспоминания, которые лучше было бы не тревожить. Видимо, надо понимать и другое: эти люди, их дети и внуки имеют по крайней мере такое же право на память о пережитых страданиях и уважение к ней, что и ни в чем не повинные депортированные немцы Поволжья. И даже там, где их страхи и реакции кому-то кажутся преувеличенными, уместнее было бы рассеивать их убеждением, а не окриками, которые лишь закрепляют уверенность людей в том, что от «немцев» ничего другого ждать и не приходится.

А «Собеседник», например, в своем ретивом стремлении единым махом решить проблему так рисует «морально-политический облик» беженцев военной поры: «Беженцам было не до хозяйственной деятельности, они ломали избы по соседству, чтобы только поддержать огонь своего временного очага...». Они-то и разорили цветущий край. Вступать в дискуссию с подобным уровнем исторической правдивости и нравственного чувства, конечно, бессмысленно, но суждение поучительно как образчик тех приемов, с помощью которых хотят убедить местное население.

Разговаривая с местными жителями, слушая их выступления на митингах, читая их письма, убеждаешься, что более всего их ранит и возмущает именно это непростительное упрощение истории, смещение трагических акцентов только в одну сторону. Наконец, упорное нежелание сторонников восстановления автономии признать тот факт, что сложившаяся здесь сегодня демографическая ситуация есть прежде всего результат второй мировой войны. И главную ответственность за эту ситуацию несет, стало быть, страна-агрессор, а не люди, искавшие спасения от ужасов гитлеровского вторжения. Люди, которым странно и дико слышать требования сделать «все, как было», — как если бы ничего не было!

«Но тогда: сделайте и так, чтобы мы не бежали сюда под бомбами с малыми детьми на руках. Сделайте так, чтобы не сожгли наши деревни, не разрушили города, не убили наших отцов, братьев, мужей, сыновей, не угнали в Германию дочерей. Виним ли мы во всем этом наших, советских немцев? Нет, конечно. Но не хотим, чтобы обвиняли и нас, видя в нас захватчиков, бесчувственных к чужим страданиям».

«Мне 80 лет... Попала в Поволжье как эвакуированная из Калининской области. У меня сохранился документ, выданный мне как начальнику эшелона. Везла я своих земляков в город Бальцер (Красноармейск). Это было в сентябре 1941 года. Сколько мы пережили за дорогу, попадая под обстрелы и бомбежки! Все почти ехали с детьми. У меня, например, их было трое. Старшему было всего 11 лет. А теперь у меня уже выросло целое поколение внуков — 20 человек. И мне не безразлично, как они будут жить, не будут ли, как и мы в свое время, беженцами.

Немцы просят выплатить им за вклад в развитие страны, а кто выплатит нам за погибших мужей, сыновей, отцов?!»

И чем отчетливее за спиной восстанавливаемой автономии начинает проступать тень «старшего брата» — ФРГ (впрочем, теперь уже объединенной Германии), тем больнее оживают в людях эти воспоминания и тем меньше они, к удивлению наших журналистов и лидеров «Возрождения», готовы соблазниться изобилием пива и колбасы, а строже говоря, материальными благами, которые якобы сулит им возрождение немецкой государственности. Какую же из двух стран, судьбы которых столь тесно, но и столь драматично переплелись между собой, советские немцы считают своей родиной, с тревогой спрашивают люди.

Из другого письма: «Кто же, если не наш народ, народ всех наций, оставил свои кости на полях сражений при освобождении своей Родины и на полях европейских стран? Чьи невзрачные деревянные обелиски стоят по всем дорогам войны, со звездочками из жести консервных банок? К кому же вы сейчас, дорогие товарищи, предъявляете свой иск? — Людям, которые, как и вы, сорваны с мест своих «маленьких родин», где они родились, жили и любили, как и каждый человек? Или мне — за то, что я прошел войну, принес шесть ран? После войны я был вынужден уехать с родины своей. Не по собственной воле, а потому, что мой брат был в плену и меня вынуждали за ним следить и доносить вымышленные на него виновности перед Родиной. На брата, который бежал из концлагерей Норвегии, прошел Швецию, Финляндию, привел с собой 20 человек и в конечном результате — «изменник» — попал в штрафную.

Наши дети, рожденные здесь, имеют уже детей, вернее, уже наши внуки имеют свои семьи. Так где же будет их Родина? Приезжайте, селитесь. Езжайте с детьми, организуем вместе, сообща — как положено нам — немецкие школы. Человек должен знать и не забывать, если он желает, свой язык — язык предков...

А автономия — приоритет какой-то одной нации над другой — это будет нечестно».

Бесхитростные эти письма, стиль которых мы постарались сохранить полностью, по сути, очень глубоко вскрывают и самую сердцевину проблемы, и основные причины обострения ситуации на Волге.

Для нас представляется бесспорным, что именно упорное нежелание «Возрождения», равно как и других сторонников автономии, выслушать и понять противоположную сторону, а также призрак Германии, маячащий за автономией, более всего осложнили здесь межнациональные отношения. Хотя изначально население не ставило под сомнение само по себе право немцев вернуться в Поволжье, жить здесь, открывать немецкие школы, создавать немецкие сельсоветы и так далее.

Люди понимают, что поистине преступным, не имеющим, в отличие от августовского постановления 1941 года о депортации, аналогов в политической практике демократических государств был Указ от 26 ноября 1948 года, гласивший: немцы, калмыки, ингуши, чеченцы, балкарцы, крымские татары и другие народности переселены в отдаленные районы навечно, и самовольный выезд их с мест поселения карается каторжными работами сроком до 20 лет. И, строго говоря, в соответствии с ныне действующими международными правовыми нормами и практикой стран, осуществлявших депортацию этнических немцев в годы второй мировой войны*, объектом компенсации может быть именно ущерб — моральный и материальный, понесенный пострадавшими от Указа 1948 года, притом, конечно, не только немцами.

* О том, как непросто решаются проблемы компенсации в совсем уж бесспорных, казалось бы, случаях, говорит то, например, что Германией до сих пор не решен этот вопрос в отношении цыган, бывших тем не менее объектом такого же тотального геноцида на оккупированных территориях, что и евреи.

Право на компенсацию ясно и бесспорно в данном случае, однако не столь ясен реальный механизм его осуществления. Кому предъявлять иск и кто будет платить? Абстрактное «государство» или весь многонациональный народ федерации, переживший и войну, и геноцид одновременно? Потомки раскулаченных крестьян и расказаченных казаков? Но они и сами имеют право на компенсацию, тем более что смертоносная для русских и украинцев коса коллективизации, в общем, благополучно миновала тогда и крымских татар, и немцев Поволжья. А кто компенсирует крестьянству ущерб, понесенный им от десятилетий «беспаспортного», крепостного, по сути, существования, в правовом отношении мало чем отличавшегося от положения спецпереселенцев? Как видим, вопрос, кажущийся столь простым справедливо возмущенному моральному чувству, реально, будучи погружен во всю сложность прожитой нами истории, уводит в перспективу бесконечной распри между народами с целью определить наиболее виновного среди них, который за все и заплатит. Однако в этом случае мы недалеко уйдем от 1948 года.

Есть и другой путь: «некредитоспособным» объявляется государство, накопившее слишком много неоплаченных векселей, по которым оно не может рассчитаться со своими гражданами. В сущности, так и обстоит дело в ходе радикальных, опрокидывающих обанкротившуюся власть революций, но в этом случае, понятно, исчезает и ответчик, которому можно было бы предъявлять иск и от которого можно было бы чего-нибудь требовать, например автономии.

И уж во всяком случае компенсацией не может быть территория, ибо суверенитет над последней осуществляет не политический режим, а народ.

Вопрос придется решать иначе, исходя из сложившейся демографической ситуации и международных правовых норм, существенно отличающихся от «ленинских принципов национальной политики», на основе которых в свое время решался Советским правительством вопрос о создании государства немцев Поволжья. А с точки зрения международного права, многие акты, касающиеся национальных территорий — республик, принятые после 1917 года, вообще не имеют легитимного, то есть законообеспеченного характера. Их правовое основание могло бы быть либо в государственных актах предшествующего периода, подтверждаемых новой властью, либо в общенародных референдумах.

Ни того, ни другого, естественно, не было. Правовые документы о новых государствах рождались только правящей партией и подтверждались правительством, не избранным в соответствии с какими-либо международно признанными процедурами. А потому у страны, вступившей на путь демократических преобразований, был только один выбор. Либо

консенсусное, во имя всеобщего мира и во избежание кровопролития, признание сложившегося национально-территориального устройства — но в этом случае и самого Союза ССР как такового, так как вне его все внутренние «суверенные государства» фиктивны — и эволюционное движение к демократическому самоуправлению на входящих в его состав территориях. Либо всеобщая делегитимация (то есть отрицание законности) этого устройства, как не соответствующего международному праву и являющегося результатом исключительно волюнтаристских, командных решений верховной власти, не подтверждаемых никаким народным волеизъявлением. Стоит только вспомнить, к примеру, «передарение» Крыма — в 1954 году — абсолютно самодурский акт эпохи «великого десятилетия», чтобы стали сверхочевидными масштабы такого произвола.

Но подобная делегитимация не может быть частичной, и если Грузия отменяет акты 1921 года, а Молдавия в один пакет с пактом 1939 года «завязывает» даже Бухарестский мир 1812 года, и все это никак не оценивается верховной союзной властью, то, очевидно, и решения 1918—1924 годов вовсе не являются «священными» для населения Саратовской области.

Напротив, именно оно выступает сегодня высшим судией в этом вопросе. И оно отнюдь не отказывает советским немцам в праве жить, работать и реализовывать свои национальные права на этой земле, готово изыскивать формы приоритетного в ряде случаев учета интересов пострадавшего народа, а выступает лишь против предоставления особого правового статуса — государственности — абсолютному этническому меньшинству семи районов области.

Вызывает в этой связи сверхнедоумение методологическая вольность выступлений людей, чье положение требует исключительной точности слова и правности действия. Председатель комиссии по проблемам советских немцев, член Верховного Совета СССР Г. Н. Киселев учит: «Следует исходить из основополагающих принципов устройства нашей федерации, советского общества, ленинской национальной политики, платформы КПСС, наконец, — принципов международного права» («Советская Россия» от 31 октября 1989 г.).

Это поучение напоминает рецепты чернокнижников — в полнолуние, в полночь взять хвост василиска, цветок папоротника, немного корицы...

О содержательной стороне поучения можно рассуждать лишь сострадая, ибо «исходить из основополагающих принципов... советского общества», катастрофически теряющего свою государственность, да еще «на платформе КПСС» в условиях перехода к многопартийности, опираться при этом на ленинскую национальную политику, возникшую в период стремления к мировой революции и всеобщей интеграции на условиях пролетарского интернационализма, невозможно без нарушения основополагающих принципов нашей федерации (союза народов, а не территорий) и норм международного права, отвергающих национальный приоритет меньшинства над большинством.

Между тем сам Киселев в той же публикации утверждает: «Реально взвешивая ситуацию, можно предполагать, что массового переселения не произойдет...» Это, пожалуй, вывод несомненный: за 15 лет, с 1974 по 1989 год, в Поволжье вернулось лишь 40 тыс. советских немцев, которые и составляют сегодня 7 процентов населения, проживающего в «остром» регионе. Да, собственно, и до войны на территории республики немцев Поволжья проживала лишь четвертая часть этнических немцев, что, в общем, связано с искусственным, «декретным» происхождением этого государства и ставит под сомнение его законность.

Но «Возрождение» и значительная часть общественного мнения исходят, между тем, из некоей несомненности абсолютной его легитимности, видя в нем к тому же единственное условие реализации национально-культурных прав народа. Эта мысль была высказана недавно и в интервью председателя общества «Возрождение» Г. Г. Гроута, категорически заявившего: «Чтобы сохранить российских немцев, есть только один вариант — воссоздать их автономную республику. Государственность — не самоцель. Это возможность на официальных и конституционных правах обеспечить культурное, правовое, духовное, экономическое будущее народа».

То же прозвучало и на совместной пресс-конференции Г. Коля и М. Горбачева в вопросе, заданном корреспондентом «Зюддойче цайтунг» (Мюнхен): «...Как Вы намереваетесь исправить совершенную в отношении этой национальной группы несправедливость, не предоставляя ей автономной территории?»

Однако как отреагировал бы этот гражданин ФРГ, если бы ему сказали, что для решения национальных проблем проживающих в его стране турок, югославов, поляков и т. д. необходимо создать им, на земле ФРГ же, отдельные территориально-государственные образования? Вернее всего, отверг бы самую мысль об этом, да, пожалуй, еще расценил бы ее как проявление стремления вмешаться во внутренние дела другой страны. Более того, этнические немцы проживают в США, в Латинской Америке, в странах Европы, но нигде и речи не идет о предоставлении им особой «государственности в государстве». В свое время немецким поселенцам в Пенсильвании было отказано в праве создать свое национальное образование, как в подобном же праве было отказано шведам в Миннесоте. А когда жители Саратовской области предлагают немцам реализовывать свои национально-культурные цели в формах общественных движений, землячеств, союзов — то есть в формах, принятых во всем мире, это навлекает на них обвинение в шовинизме.

Но тогда давайте будем последовательны и к «шовинистическим» государствам отнесем все демократические государства, где не действуют «ленинские принципы национальной политики» и где нет этнических территорий, а общественная и культурная национальная деятельность тем не менее процветает.

А. Кичихин в своей «Анатомии шовинизма» с возмущением сообщает о гибели республиканской библиотеки немцев Поволжья, и мы вполне разделяем это возмущение, если говорить о самом факте варварского обращения с культурными ценностями. Но при чем здесь автономия? Разве не такому же и даже еще большему разгрому подверглось культурное наследие других народов, имевших и автономию, и союзную государственность — в том числе и «имперского», по мнению многих, русского народа? Видимо, зависимость здесь отнюдь не хрестоматийно прямая, и не стоит эмоционально педалировать драму культурной деградации всех народов нашей страны со слишком уж откровенно обозначенными и очень конкретными политическими целями.

Гроут упомянул о «российских немцах», но их история насчитывает более 200 лет, в течение которых немцы прекрасно сохраняли свой язык, уклад, быт, внося вместе с тем огромный вклад в жизнь и культуру своего нового Отечества. История же автономии насчитывает всего 22 года, и неужели они так убедительно превосходят предшествовавшие им два столетия?

Почему вообще считается столь простым и несомненным вопрос о немецкой государственности в России?

* * *

Славяно-германские миграционные потоки имеют многовековую и бурную историю, но самые мощные «волны» германских переселений пришлись на царствование Петра I, а затем Екатерины II, когда и произошло заселение немцами земель на Волге. При этом, направляясь на «царские», то есть государственные земли, мигранты не попадали под крепостное ярмо и даже, осваивая богатые черноземы на Украине, пользовались огромными льготами перед закрепощенным местным населением.

Но никогда до 1918 года вопрос об особой (или обособленной) немецкой государственности не стоял в России, а расселение немцев шло как естественный процесс, в результате которого возникали районы компактного проживания. Вспышка же пангерманских настроений с началом первой мировой войны уже в 1915 году заставила царское правительство рассматривать вопрос о депортации немцев из России.

Следует заметить также, что немцы были не единственным народом, осваивавшим относительно свободные территории России. На востоке расселялись корейцы, китайцы, существовали кочевые народности, на юго-западе земли получили болгары. Историческая правда вообще требует отметить характер Российского государства как союза народов, а не союза территорий. Это отнюдь не означало идиллического состояния межнациональных отношений — все государства мира шли к межэтническому согласию через трагедии и потрясения.

Однако дореволюционная российская государственность, по существу, уравнивала права малых и крупных народов, а также исключала возникновение «иерархии» этносов. В сущности, каждый был «россиянином» (Ф. Бурлацкий ошибается, полагая, что это понятие не прилагалось к мордве, якутам, ненцам и т. д.) в том смысле, как каждый гражданин США, будь он китайцем, негром, славянином, англосаксом, является «американцем», и это было самодостаточным политическим определением. С этой точки зрения права немка Ирма Эйзиних, которая пишет: «А может, с первых дней Советской власти у нас велась неправильная национальная политика? Один мой родственник говорит, что надо из паспортов и анкет изъять графу «национальность». Как в Америке, где есть только одна национальность — американец, выражающая принадлежность к стране».

Взятый после революции курс на выпячивание национальной принадлежности был особенно неограничен для страны, в которой на протяжении веков исключительную роль играл критерий как раз наднациональный — конфессия. И вот здесь действительно можно было говорить об иерархии, наверху которой находилось православие и в соответствии с которой определенные места и должности в государстве не могли принадлежать «инославным». Однако в этом случае, не столь опять-таки исключительном, как представлялось до сих пор (избрание, уже в середине XX века, католика Кеннеди президентом веротерпимых США стало сенсацией в свое время), приведение сложившейся практики в соответствие с нормами международного права и требованиями развития предполагало совсем другую технологию политического действия, нежели выбранная большевиками. Применение же этнического критерия на территориях, где население группировалось по совершенно другим признакам, привело к разрывам органичного целого и возникновению «иерархии» этносов, что не только не уничтожило, но даже усилило давление на находящихся внизу пирамиды. При этом были заложены мины нынешних территориальных конфликтов, так как границы по большей части проводились произвольно, административными решениями, без учета как исторических традиций, так и того, что в России практически не было мононациональных территорий. Да и эти границы всего лишь на 15—17 процентов оформлены подобием правовых актов и уже сегодня ставятся под сомнение во множестве регионов. Наконец, сплошь и рядом искусственная эта государственность создавалась на территориях, где для нее не существовало никаких объективных условий и где она не сложилась исторически, в отличие, например, от Грузии, Армении, Литвы, некогда обладавших ею. Между тем государственностью, как и здоровьем или красотой, никого нельзя просто наделить зако-

нодательным актом. Как правило, такие акты только утверждают, закрепляют уже сложившуюся объективно реальность. А потому создание подобных псевдогосударств отнюдь не сделало более счастливыми наделенные ею народы (напротив, число народов России уменьшилось по сравнению с тем, которое большевики унаследовали в 1917 году), но зато дало мощный толчок формированию национальной бюрократии там, где при нормальном развитии событий должно было бы формироваться местное (а стало быть, национальное в местах компактного проживания) самоуправление.

Ибо далеко не все народы проходят в своем историческом движении этап государственности, не имеющий ничего общего с компактным заселением какой-либо территории этническим большинством.

Иными словами, к государственности можно прийти, но ее нельзя получить как подарок, декретом. История жестоко мстит за нарушение своего естественного хода.

К тому же не существует никаких монолитных и неизменных «ленинских принципов национальной политики», к которым столь часто взывают. Позиция В. И. Ленина в этом вопросе, как и во многих других, заметно менялась в разные периоды и в зависимости от конкретной политической ситуации. Перед революцией он, например, на первый план выдвигал задачи интернационалистского, интеграционного характера, отмечая: «Целью социализма является не только уничтожение раздробленности человечества на мелкие государства и всякой обособленности наций, не только сближение наций, но и слияние их».

Позже, однако, был взят курс именно сегрегационный, ведущий к дроблению территории на множество не просто мелких, но карликовых государств; интеграционные же функции целиком возлагались на партию большевиков, как единую, пронизывающую их все структуру.

Первым опытом новой национальной политики и стало 19 октября 1918 года принятие Правительством Советской России декрета о создании немецкой автономной области, в 1924 году реорганизованной в АССР немцев Поволжья. Никакого референдума, никакого учета общественного мнения других национальных групп, проживающих в Поволжье, не проводилось. Да и трудно сказать, учитывалось ли мнение статистического большинства немцев. Во всяком случае, любопытный документ — описание Больцерского кантона АССР НП, составленное его руководителями в мае 1940 года — сообщает: В начале 1918 года образовалась в г. Саратове группа социалистов-интернационалистов, интересовавшаяся организацией самоуправления немцев в Нижнем Поволжье. В апреле месяце того же года эта группа получила разрешение от Центральной власти объединить все немецкие поселения в Нижнем Поволжье и образовать самоуправление немцев Поволжья. Таким образом в апреле 1918 года в г. Саратове был организован Комиссариат по немецким делам. Затем согласно декрета Совнаркома от 19.10.18 г. в Нижнем Поволжье была образована автономная область немцев Поволжья...

«Технология» очень характерна для эпохи, когда «группа товарищей» могла ворочать судьбами миллионов, превратив страну с тысячелетней историей, государство, выстроенное вековой работой многочисленных населявших его народов, в испытательный полигон для стратегии и тактики мировой революции и устроения будущей «земшарной республики».

Мировая революция как цель, достижению которой и должно было бы способствовать создание немецкой автономии, открыто обозначена Лениным, подписавшим Декрет Совнаркома об образовании первой в Советском Союзе Автономной области, названной «Трудовой коммуной немцев Поволжья».

«Совет народных комиссаров, — говорилось в нем, — выражает уверенность, что при условии проведения в жизнь этих положений борьба за социальное освобождение немецких рабочих и крестьян и немецкой бедноты в Поволжье не создает национальной розни, наоборот, послужит сближению немецких и русских трудовых масс России, единение которых — залог их победы и успехов в международной пролетарской революции».

Думается, авторы, продолжающие упорно догматизировать решение 1918 года, должны не забывать и о «международной пролетарской революции», успеху которой оно предназначено было служить. Не знаем, правда, как они собираются сочетать такой подход с «новым мышлением» и «приоритетом общечеловеческих ценностей», для нас же несомненно, что придется делать выбор в что настала пора для критической переоценки этой части ленинского наследия, ибо на историческом расстоянии хорошо видна трагическая порой несовместимость интересов «мировой революции» с правами народов, а уж тем более — правами человека.

Нетрудно понять, почему первой стала именно немецкая автономия, хотя уж немцы-то никак не относились к угнетенным империей народам: Германия была той страной, где ожидалась следующая волна если не мировой, то всеевропейской революции.

И, конечно, ситуацию окрашивал Брестский мир, униженное и неполноправное положение России, открыто заявленные немецкой стороной требования экстерриториальности для немецких колонистов, шантажирование реэмиграцией со всем имуществом и капиталами, что, разумеется, резко ударило бы по разрушающейся экономике и что, кстати сказать, до удивления напоминает нынешнюю тактику «Возрождения».

«Жертвой» новой политики пал, между тем, традиционно украинский город Покровск, превратившийся в Энгельс — столицу всей АССР НП, что само по себе говорит о каком-то изначальном ее дефекте. Будущие бури уже присутствовали здесь в зародыше.

За два года, последовавших за созданием автономии, из нее выехало 80 тысяч граждан различных национальностей, а въехало 86 тысяч немцев, и эта статистика несколько омрачает райскую картину межнационального согласия, которую рисуют сейчас многие журналисты.

Многонациональность явно не была сильной стороной республики.

Предметом мифотворчества стала и ее экономика: она действительно развивалась хорошо, но не «фантастично», как это изображается сегодня. Особенно если учесть, что автономию обошли социальные потрясения коллективизации, индустриализации, да, пожалуй, и волны репрессий: «гулаговская» литература во всяком случае не фиксирует массового появления немцев на этом «архипелаге» вплоть до 1941 года. Истребление национальной интеллигенции — драма, пережитая всеми народами нашей страны, и она не обошла также немцев, но ее все-таки трудно сопоставлять с катастрофами, пережитыми с 1918 года Россией, Украиной или Средней Азией.

А кое-где, например в Бальцеровском кантоне, положение вообще было довольно скверным, урожаи мизерными по сравнению не только с дореволюционной Россией, но и с другими регионами России советской, половина улиц не освещалась, 65 процентов жилья требовало капитального ремонта.

В этом контексте не очень понятно звучат обещания Г. Гроута: Немцы—педанты. Извините, это в крови. Мы заранее сказали, что принимать предприятия, землю будем по станку, по квадратному метру пашни. Представляете, сколько хищений, разбазаривания, халатности вскроется. Ну а потому «не пущать» и прикрываться при этом гласом народным, его мнением. Десятки лет так делалось в нашей стране, прием испытанный!

Что верно, то верно: хищений и разбазариваний в нашей стране, к сожалению, сколько угодно и желающих скрыть их — тоже. Но нас интересует здесь другое: какие предприятия «по станку» собирается принимать Гроут? На территории пресловутых семи районов Саратовской области их работает 94, и они выпускают продукции на 1,2 млрд. рублей. Однако построены они после 1945 года. И после 1945 года вложены в сельское хозяйство и социальную инфраструктуру села 1,6 млрд. рублей. К тому же все эти вложения произведены в структуре народнохозяйственных связей с областью и РСФСР в целом. А потому созданное имущество не принадлежит ни немцам, ни какому-либо другому этносу как субъекту государственности. Даже в случае его приватизации функция распоряжения собственностью скорее принадлежит Федерации, а функцию владения следовало бы передать трудовым коллективам. Но абсолютно недопустимо вводить принцип этнической собственности, и уж совсем непонятно, почему собственность на имущество, созданное в регионе после 1945 года, должна принадлежать немцам.

Между тем в пылу шума и споров ничез не последней важности вопрос о готовности самих немцев ехать в Поволжье. Легкость, с какой в планах «Возрождения» Поволжье то и дело заменяется Калининградом (Кенигсбергом), заставляет усомниться в этом, равно как и в том, что основным движущим мотивом является здесь тоска по родине отцов. Но если такова достаточно массовая потребность, то, вероятно, можно было бы начать с возвращения на эту землю, не ставя предварительных условий и не призывая осуществить то, что никак не может соответствовать нормам правового государства, — командный акт наделения меньшинства особыми правами на общую территорию и общее имущество.

Несомненно, такое возвращение, жизнь и работа рядом с местным населением, равные права в управлении регионом, широкая национально-культурная и национально-общественная деятельность, органическое, в соответствии с потребностями немцев, расселение естественным образом быстро привели бы к рациональной, объективно складывающейся структуре их самоуправления и пропорционального участия в выборных органах власти.

Такой путь не исключал бы также деловых взаимоотношений субъектов хозяйственной деятельности — заводов, фабрик, хозяйств — с заинтересованными фирмами ФРГ (Германии) без каких-либо политических условий с какой-либо стороны, не порождал бы межэтническое противостояние, грозящее непредсказуемыми результатами в будущем.

Если же наши сограждане — немцы не согласны на простое возвращение в Поволжье и делают выбор в пользу своей этнической родины, обязанностью государства является максимальное облегчение их переезда. И, разумеется, человек, поставленный перед выбором между присоединением к этническому сообществу в этническом государстве и верностью земле, где жили поколения его предков, делает этот выбор вполне самостоятельно, имеет безусловное право на него. Однако ясно также, что вряд ли стоит заманивать людей, уже сделавших свой этнический выбор, обещая им этническую государственность в России, тем более что делать это придется за счет людей, без всяких условий выбравших Россию. И вряд ли последних удовлетворит компенсация в виде баварского пива и южнонемецких колбасок.

Между тем советский немец сейчас именно выбирает — выбирает между двумя своими ипостасями: российским немцем и германским немцем, и проблема автономии — такая, какой она стоит сегодня, — это, в сущности, проблема превращения немцев российских в немцев германских. Ибо речь уже не идет, как это было для столь многих немцев на протяжении нескольких веков, о соединении своей судьбы с судьбой России, а о выборе наиболее оптимальной формы реализации своей «немецкости» — в своей экстерриториальной государственности либо в Германии. Либо же — и это видится оптимальным решением — в

своей маленькой «Германии на Волге», связанной особыми узами с Германией Великой. Неужели кто-то может думать, что подобное взламывание всей структуры общенародной памяти может пройти без взрыва, который способен не просто сотрясти, но и обрушить и без того уже хрупкие устои «общеевропейского дома»? Политический протекторат немцев над россиянами — нечто психологически неприемлемое, невозможное. И какими бы благими намерениями ни руководствовались люди, с характерным для нашей жизни пренебрежением к «психологии» вообще говорящие лишь об экономической стороне проблемы, — психологии будет принадлежать решающее слово, а процесс неизбежно и стремительно свернет в то русло, в которое он только и может повернуть.

Модель мы уже 3 года наблюдаем в НКАО. Когда мы только начинали заниматься темой «ливанизации Союза», нам пришлось выслушать немало обвинений в «нагнетании ужасов», «сгущении красок» и т. п. Надеемся, что полумиллионная армия беженцев, муки и кровь жертв в какой-то мере отрезвили наших оптимистических оппонентов. К тому же не мешало бы задуматься и о том, что клокочущая лава насилия кое-где удерживается сейчас — и то с трудом — только присутствием войск, которое тоже, однако, не может продолжаться до бесконечности. Но кто возьмет на себя ответственность за вмешательство войск в российско-немецкий конфликт, если он, как это высоковероятно, примет острые формы, и кто решится исчислить все возможные последствия такого вмешательства?

К сожалению, и в экономике, гипотетический расцвет которой является «ультимо рацио» для сторонников автономии, прежде всего — о чем свидетельствует уже имеющийся опыт межнациональных конфликтов — придется, к несчастью, исчислять убытки. И хозяйственные последствия возгорания «Волжской дуги» могут поразить воображение, так как этот регион — от севера Башкирии до Прикаспия — отнюдь не нищ заводами и фабриками, а является поставщиком самой разнообразной продукции — от помидоров до самолетов и космической техники. Общий объем (расчетно) производимой в год товарной продукции по Волжской дуге — не менее 25—27 млрд. рублей. Такой объем продукции требует наличия основных фондов (здания, сооружения, оборудование и т. д.) стоимостью около 100 млрд. рублей. В новом межэтническом пожаре не будет производиться продукция, и утратится уже существующая база — основные фонды производства и сельского хозяйства. Пострадает от этого все население РСФСР, в том числе и этнические немцы.

В этом расчете потерь уже созданного привлекательной приманкой выглядят обещанные 20—30 млрд. западногерманских марок (с возвратом не без процентов), вероятно, для восстановления разрушенного. В этом предложении инвестиции их адрес и условия их предоставления указаны точно — Республика немцев Поволжья, условие — ее государственность. Плательщиком же, ответчиком за кредит является собственно государство — федерация народов России. Кто и чем платит?

Если же деньги эти предоставляются «безвозмездно», то ситуация выглядит совсем прозрачной: «мздой» в данном случае выступает сама по себе территория, кусок земли над Волгой, с которой россиянам предлагается в данном случае разорвать «особые» эмоциональные и историко-культурные связи, ибо они объявляются прерогативой только одной этнической группы.

А потому позволительно сделать вывод: настойчивое требование создания для группы населения отдельной государственности, отличной от той, которая, за вычетом периода 1918—1941 гг., традиционно существовала и продолжает существовать на данной территории — территории государства Российского, ныне Российской Федерации, явно преследует какие-то иные цели, нежели те, что провозглашаются открыто. По сути дела, речь идет о наделении одной этнической группы особыми правами и возможностями по сравнению не только с представителями иных народностей, проживающих на той же территории, но и по отношению вообще ко всему объему прав, которыми Федерация наделяет своих граждан и которым пользуется она сама как государство. В конечном счете речь идет о создании на водоразделе между западными и восточными частями России «государства в государстве», замкнутого по отношению к сопредельным областям и максимально открытого по отношению к своему этническому патрону. Вместе они способны преподать «аборигенам» урок образцового хозяйствования, о чем, в частности, открыто говорит Республиканская партия, и на этой основе создать условия для быстрой экспансии, своего рода прорастания Германии в Россию.

Что же до механизма реализации этой цели, то он такой, каким обозначают его сами лидеры «Возрождения» и каким он прочитывается на страницах «проавтономистской» печати — ничем не отличается, по сути дела, от колонизации многонационального большинства территории, не желающего ее отсечения от тела общего государства, мононациональным меньшинством. В этой перспективе понятие «колонисты», которым обозначали в свое время прибывших на «царские» земли выходцев из Германии, обретает новое и не сулящее межнационального согласия, равно как и политического равновесия, звучание. Ибо представить себе, с помощью какого механизма подлинного волеизъявления народа этническое меньшинство намеревается осуществлять государственные полномочия над большинством (которое, против воли самого этого большинства, получит в своеобразную «аренду» вследствие административного акта восстановления автономии), невозможно.

Очевидно, сама ситуация будет с неизбежностью толкать к тому варианту, который уже развивался «Возрождением» и который вызвал бурную негативную реакцию у жителей Саратовской области. «Восстановление автономии, — писали они в этой связи, — предполагается начать с подбора руководства и формирования временного правительства, включив в него советских, партийных и хозяйственных работников-немцев из мест сегодняшнего проживания. И на неопределенный срок выборность власти будет заменена временным правительством, тем самым все граждане автономии, независимо от национальной принадлежности, будут лишены избирательных прав — что недопустимо и является грубым нарушением принципов построения правового государства».

Такие «инициативы» немецкой стороны поражают более всего тем ущербом, что они наносят прежде всего интересам самих советских немцев. Ведь в ломающемся государстве, где ставятся под сомнение геополитические реальности, восходящие едва ли не к X веку, в атмосфере нарастающей межэтнической напряженности и настороженности гораздо больше шансов на успех имела бы другая тактика: поиск консенсуса, точек соприкосновения, учет взаимных интересов и бережное отношение к взаимным болям и обидам.

Агрессивный натиск на местное население, психологическое давление на него, до какого-то истерического апогея доведенное прессой, настолько неэффективны в данном случае, что для столь грубого просчета, несомненно, должны существовать какие-то весомые, невидимые поверхностному взгляду причины.

Ключ к их пониманию, на наш взгляд, дает сравнение с ситуацией, сложившейся вокруг проблемы восстановления прав турок-месхетинцев. Тоже репрессированные — причем, в отличие от немцев, даже вне всякой связи с общеевропейской атмосферой вокруг «пятой колонны» — они сейчас, после ферганских событий лета 1989 года и нескольких последовавших за ними волн насилия, оказались вторично депортированными и в положении поистине трагическом. Расселяемые частично в российской средней полосе, частично — в и без того переполненном беженцами Баку, а теперь еще и в Карабахе, они до сих пор тем не менее не получили разрешения вернуться на свою историческую родину — в чем никто не отказывает немцам Поволжья. И даже более: именно в разгар ферганской резни, когда в Россию из Узбекистана хлынул поток беженцев, в Грузии прошли демонстрации протеста против возвращения месхетинцев на родину. Об этом умолчала печать, столь красноречивая в разоблачении «саратовских варваров». А некоторые неформальные движения Грузии — например либерально-демократическая партия — вообще ставят вопрос об упразднении каких-либо автономий на территории республики, считая их «спекуляцией имперской политики».

Любая попытка критического анализа сложившейся ситуации вызывает нарекания во вмешательстве в суверенные права Грузии. Однако в таком случае позволительно потребовать такого же уважения к суверенным правам России, а между тем в тех же кругах, где обходится молчанием вопрос о дискриминации турок-месхетинцев в Грузии, активно ставится вопрос о возможном предоставлении им автономии на территории РСФСР. Отказывают в праве на автономию: гагаузам — Молдавия, полякам — Литва, и это тоже не вызывает ни протестов, ни даже комментариев. Но одновременно никаких комментариев и возражений не вызывают эстонские притязания на псковско-печорские земли. В чем же причины столь различного толкования самого понятия «суверенитет», в зависимости от того, идет ли речь о России или о союзных республиках?

Видимо, в том, что вся российская территория — особенно за пределами автономных образований — многим представляется сегодня «бесхозной», не имеющей суверена, чем-то вроде целинно-залежных земель, от которых каждый желающий может отрезать куски в зависимости от «способности и потребности». Разумеется, подобное восприятие не могло возникнуть без достаточно серьезных на то реальных оснований, и они действительно есть, сложились как объективный результат всего советского периода отечественной истории. Как следствие «де-суверенизации» русского народа, некогда создавшего эту государственность.

Учитывая бурные эмоции, которые вызывает сейчас само понятие «русские», считаем нужным уточнить: в соответствии с традицией отечественной истории, в которой никогда не доминировал «этногенетический» подход, мы основным критерием национальной личности считаем ее культурно-историческую идентичность. В этом смысле «русский» тот, кто считает себя принадлежащим к этому народу и разделяющим его судьбу, в соответствии со ставшей хрестоматийной фразой сподвижника Суворова, генерала Вильгельма Христофоровича Дерфельдена: «Мы — русские, и с Божьей помощью все одолеем». «Русскость» традиционно была понятием скорее духовным, нежели биологическим. Однако столь же определенно заявляем, что не видим никаких причин, по которым следовало бы стыдливо умалчивать об этнических русских («великороссах»), как всякий этнос, имеющих соответствующие права.

Однако именно это «право на права» и было поставлено под сомнение после 1917 года, когда, кстати сказать, объявив русский народ виновным перед другими и обязав его искупать эту «родовую вину», и заложили основы принесшей столь пышные плоды в 1948 году теории «коллективной ответственности» наций.

Как заметил Г. Гроут, комментируя возможную массовую эмиграцию немцев из СССР, «если популяция исчезает, ее место моментально занимает другая». Очень верное соображение и в высшей степени приложимое к русским, которые за 73 года своей послеоктябрьской исто-

рии практически перестали существовать как государственный народ — и в политической структуре Союза, и для других народов страны, и в своем собственном самосознании.

Кризис русского суверенного самосознания сегодня, судя по всему, приближается к пику, а это создает иллюзии, что русские легко могут быть сброшены со счетов при набирающем обороты национальном дележе территорий. Утверждать с абсолютной уверенностью, что это не так, мы не возьмемся, ибо подобного распада всей закодированной в ее культуре и истории «программы» государственного бытия Россия не переживала, вероятно, со Смутного времени.

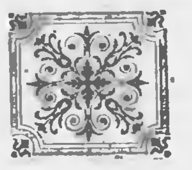
Однако с большой вероятностью можем прогнозировать другое. Если обретение суверенного самосознания, новое рождение русских как народа государственного не произойдет, а начнется — бесконечное в перспективе — размывание его в пятна «русскоязычного населения», там и сям разбросанного на «моносуверенных» территориях других российских этносов, то в недалеком будущем обрушатся, как иллюзорные, и сами эти государства. И как с принятием декларации о суверенитете РСФСР стало вполне очевидно, что Союза не существует без России, столь же очевидным станет и другое: не существует России без русского народа, суверенность которого является условием и гарантией суверенности всех других населяющих ее народов. Это уже сегодня очень хорошо видно в Поволжье, где пренебрежение правами русских (да и объектом травли в печати являются именно русские, на что несомненно указывает слово «шовинизм» — ну разве есть у нас в стране какие-нибудь другие «шовинисты»!) — уже обернулось таким же пренебрежением правами татар, украинцев, чувашей, приехавших сюда карабахских армян и т. д.

А потому все попытки реализовать этнические суверенитеты на путях ущемления соответствующих прав русских, на путях раздробления их и превращения в «национальные меньшинства» (хотя бы даже они и составляли на многих автономных территориях статистическое большинство) обречены на поражение. Результатом может стать только полное обрушение евразийской геополитической общности, лишенной своего многовекового стержня и держателя.

В хаосе этого крушения первыми жертвами окажутся прежде всего самые малые народы (судьба турок-месхетинцев уже указывает на это), а весь разворачивающийся ныне процесс получит значение прелюдии к турниру совсем других и куда как более серьезных претендентов на реальный, а не декоративный суверенитет над освобождающимися пространствами.

С той склонностью к почти симфоническим повторам иных своих тем, которую иногда обнаруживает история, она не случайно переносит процесс на Волгу, вертикальную ось всей той геополитической структуры, будущность которой сегодня поставлена под вопрос.

И если немцы ныне выбирают между российской и германской своими ипостасями, то русские, а шире — россияне — выбирают между государственным существованием и исчезновением России как целостного и самостоятельного субъекта истории. Подобный выбор на века определяет судьбы народов, и ощущение этого придает иррациональную напряженность проблеме немецкой автономии на Волге, которая столь многим кажется легко разрешимой с точки зрения житейского здравого смысла.



ВАДИМ КОЖИНОВ

Необходимое дополнение к недавней статье

После появления моей статьи «Сионизм Михаила Агурского и международный сионизм» («Наш современник», 1990, № 6) я получил несколько писем, авторы которых, одобряя статью в целом, высказали одно (и одно и то же) замечание. Так, например, кандидат технических наук, участник Великой Отечественной войны Ю. С. Шиманский из Москвы пишет:

«В 1919 г. произошло событие, произведшее на читающий народ огромное впечатление: было объявлено, что наконец-то теория относительности получила экспериментальное подтверждение...[1] Замечу, что в настоящее время это доказательство не считается абсолютно достоверным. Но это стало известно позднее. Следует, однако, заметить, что и в 1919 г., и в последующие годы полученное доказательство рядом крупных физиков считалось сомнительным... Вероятно, вследствие этого Нобелевская премия по физике в 1921 г. была присуждена А. Эйнштейну не за работы по теории относительности, а за работу по фотоэффекту... Но в 1919 г. возражения против теории относительности практически не публиковались... Стала знаменита не только теория относительности, но и ее автор А. Эйнштейн... Естественно, он и привлек внимание сионистов».

Словом, подводит итог Ю. С. Шиманский, «не потому стал Эйнштейн всемирно знаменит, что им почему-то именно в 1919 г. заинтересовались сионисты, а наоборот, они им заинтересовались, потому что он стал всемирно знаменит в 1919 г. ...Считать, что своей всемирной славой Эйнштейн обязан сионистам, — значит переоценивать возможности международного сионизма и сионизма в СССР, во всяком случае в те годы».

Рассуждение это заслуживает пристального внимания, и, чтобы до конца разобраться в сути дела, следует тщательно рассмотреть последовательность событий. Сожалею, что в своей статье я не изложил историю «экспериментального подтверждения» теории относительности.

Итак, что же происходило в 1919 году? Эйнштейн и его теория относительности к этому году были известны, как уже отмечалось, лишь в чрезвычайно узком кругу специалистов. В феврале 1919 года с Эйнштейном по своей инициативе встретился один из виднейших деятелей сионизма, Курт Блюменфельд, поскольку, как он позднее, в 1956 году, вспоминал, «Феликс Розенблюм (ныне[2] министр юстиции Израиля Пинхас Розен) представил список еврейских ученых, у которых мы хотели пробудить интерес к сионизму». Через несколько дней Эйнштейн присутствовал на докладе Блюменфельда, а затем «имел место ряд бесед» и т. д. (см. об этом мою статью в № 6 «Нашего современника», с. 151—152).

Важно учитывать, что «к концу войны (1914—1918 годов.— **В. К.**) руководство ВСО (Всемирной сионистской организации.— **В. К.**) встало на путь проанглийской ориентации, которая окончательно установилась с переводом штаб-квартиры ВСО после первой мировой войны из Берлина (точнее, из Копенгагена, где в период войны действовало сионистское координационное бюро, связывавшее берлинский центр с сионистскими организациями во всем мире) в Лондон»[3].

И именно из Англии в мае 1919 года были отправлены две экспедиции, которые, в частности, ставили перед собой задачу обнаружить во время солнечного затмения то отклонение лучей света, которое, как предполагалось, должно подтвердить истинность теории относительности.

Правда, как совершенно верно говорит в своем уже цитированном письме Ю. С. Шиманский, «отклонение луча света могло быть следствием других причин, выясненных значительно позднее, а кроме того, полученная величина отклонения соизмерима с ошибками наблюдения»; именно поэтому Нобелевская премия за 1921 год была присуждена Эйнштейну не за теорию относительности, а за открытие закона фотоэлектрического эффекта — открытие, которое как раз не приобрело ровно никакой популярности. Открытие это было сделано Эйнштейном еще в 1905—1906 гг.— то есть за 16—17 лет до присуждения Нобелевской премии[4]. И история этого присуждения совершенно ясна: к 1921 г. Эйнштейн имел уже неслыханную, несравнимую ни с чем известность, но вместе с тем еще не создалось такое положение (см. мою статью в № 6 журнала), при котором несогласие с теорией относительности квалифицировалось чуть ли не как преступление... Поэтому, с одной стороны, Эйнштейну все же присудили Нобелевскую премию за весьма давнюю работу, но с другой — еще имели смелость не признавать истинность теории относительности, и она не упоминалась в документах о присуждении премии.

Однако вернемся к истории «экспериментального подтверждения» теории относительности

---

[1] Это не совсем точно: до конца 1919 г. только в самом узком кругу физиков знали о теории относительности; между тем из фразы Ю. С. Шиманского можно сделать вывод, что эта теория была широко известна и недоставало только «подтверждения».

[2] То есть в 1956 году.

[3] Международный сионизм: история и политика. М., «Наука», 1977, с. 35.

[4] См. А. Пайс. Научная деятельность и жизнь Альберта Эйнштейна. М., 1989, с. 358—371.

сительности. Эта история подробнейшим образом изложена в уже упомянутой книге А. Пайса, признанной наиболее серьезным из созданных до сего времени исследований жизни и деятельности Эйнштейна.

Итак, вот последовательность событий. В конце 1918 года штаб-квартира Всемирной сионистской организации (с ее главой Хаимом Вейцманом) перебралась в Англию. В феврале 1919 г. Курт Блюменфельд «ввел» Эйнштейна в «систему» сионизма. В конце мая две экспедиции из Англии поставили пред собой задачу экспериментально подтвердить теорию относительности. «Затем, — пишет А. Пайс, — настало 6 ноября 1919 г., день, когда Эйнштейн был канонизирован» (с. 291), то есть как бы признан «святым» (А. Пайс замечает там же: «Весьма соблазнительно провести здесь параллель с... канонизацией, хотя в данном случае речь идет о живом человеке... Канонизированная личность почитается всеми»). И «с 7 ноября 1919 г. начала создаваться легенда об Эйнштейне» (с. 293). Пайс имеет в виду, что 7 ноября 1919 года в знаменитой лондонской газете «Таймс» были опубликованы материалы под такими заголовками: «Революция в науке», «Новая теория строения Вселенной» и т. п. На следующий день та же газета опубликовала статью «Революция в науке. Эйнштейн против Ньютона»... Новость была тут же подхвачена прессой Нидерландов...» (с. 293—294). А 14 декабря популярнейшая немецкая «Берлинер иллюстрирте цайтунг» поместила фотографию Эйнштейна на первой полосе с заголовком «Альберт Эйнштейн — новый гигант мировой истории» (с. 294).

До этого времени имя Эйнштейна появлялось почти исключительно в научных журналах, издававшихся тиражом всего в несколько сот экземпляров. И Пайс справедливо пишет: «Можно точно определить, когда родилась легенда об Эйнштейне, — это произошло 7 ноября 1919 г., после публикации в «Times» (с. 295) — то есть в лондонской газете.

Уже 9 ноября последовал отклик за океаном — в «Нью-Йорк таймс», написанный в духе чисто рекламной журналистики (поскольку нью-йоркская «Таймс» была не такой респектабельной, как лондонская). Пайс пишет, что английский физик Томсон, «если верить газете, выразился следующим образом: «Это одно из величайших — возможно, самое великое — достижений человечества за всю историю науки». Слов, которые я (то есть Пайс. — В. К.) выделил, Томсон не произносил, но, конечно, так лучше звучит... В статье говорилось, будто один из выступавших на заседании Королевского общества» (в Лондоне 6 ноября.— В. К.) заявил, что с Евклидом покончено (это не соответствовало действительности, но лучше «смотрится»)... Позднее, — продолжает Пайс, — передовые «New York Times» стали все более подчеркивать ту дистанцию, которая отделяет героя от простого человека,— а это необходимо для создания и поддержания мифа. Одиннадцатое ноября: «Новость эта (т. е. теория Эйнштейна.— В. К.) так поразительна, что начинаешь сомневаться даже в таблице умножения». И т. д., и т. п. (с. 295—296). И Пайс заключает так: «Я знал его (Эйнштейна.— В. К.) уже в старости, когда слава и известность были источником веселого удивления, а иногда и раздражения для Эйнштейна... Однако в молодости (точнее, в зрелые годы, ибо в 1919-м ему было уже сорок лет.— В. К.), судя по фотографиям и кинокадрам, он получал удовольствие от встреч с репортерами и восхищения публики» (с. 298).

Невозможно поверить, что начавшаяся с 7 ноября 1919 г. деятельность средств массовой информации всего мира, направленная на создание «легенды», или «мифа» об Эйнштейне, была самопроизвольным, спонтанным явлением. За всем этим, конечно же, стояла мощная и имеющая всемирный характер сила. И Ю. С. Шиманский едва ли прав, утверждая, что сионисты «заинтересовались» Эйнштейном, «потому что он стал всемирно знаменит в 1919 г.». Дело обстояло явно противоположным образом...

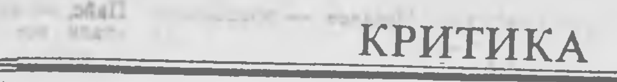
В последнее время то и дело появляются публикации, авторы которых прямо-таки требуют «не преувеличивать» силу и возможности сионизма. Одним из первых таких «сигналов» была статья «Что сказал «А» и что сказал «Б» («Советская культура» от 9 февраля 1989 г.), написанная главным специалистом по сионизму в Институте США и Канады АН СССР С. Роговым совместно с В. Носенко.

Но вот что удивительно: всего за три года до того, в 1986 году, вышла книга «Серые кардиналы Белого дома», написанная тем же С. М. Роговым совместно с А. А. Кокошиным и посвященная в основном внешней политике США. В этой книге, в частности, утверждалось:

«Воздействие различных, в том числе сионистских, организаций еврейской общины в США не ограничиваются американо-израильскими отношениями или ближневосточной проблемой, они имеют гораздо более широкие и глубокие возможности... Деятельность сионистов... оказывает деформирующее, негативное воздействие на внешнеполитический механизм США в целом» (с. 237).

Короче говоря, внешняя политика США в целом зависит от сионизма, и не нужно, по-видимому, доказывать, что этот факт имеет громадное значение для жизни всего мира. И естественно задать вопрос С. М. Рогову: что же изменилось с 1986 по 1989 год — роль сионизма или его собственная роль?

КРИТИКА



ДМИТРИЙ ЖУКОВ

Б. САВИНКОВ и В. РОПШИН

ТЕРРОРИСТ И ПИСАТЕЛЬ

11.

Лауреат Нобелевской премии по литературе Уинстон Черчилль так описывал Савинкова: «Невысокого роста, с серо-зелеными глазами, выделяющимися на смертельно-бледном лице, с тихим голосом, почти беззвучным. Лицо Савинкова изрезано морщинами, непроницаемый взгляд временами зажигается, но в общем кажется каким-то отчужденным». В другом месте Черчилль называет Савинкова «странным и зловещим человеком», но отдает должное его непримиримости, смелости и редкой выносливости.

Знаком был Савинков и с сотрудником английской разведки я знаменитым писателем Сомерсетом Моэмом, который как-то сказал ему, что теракт требует особого мужества. Савинков возразил: «Это такое же дело, как и всякое другое. К нему тоже привыкаешь». Моэм вспоминал, что не встречал человека, который бы внушал ему столь предостерегающее чувство самосохранения при общении. И цитировал кого-то в применении к Савинкову: «Берегитесь, на вас глядит то, чего опасались древние римляне, на вас глядит рок».

Зинаида Гиппиус и ее супруг простирали свое литературное покровительство над Савинковым так далеко, что именно Д. С. Мережковский заключил договор с «Товариществом М. О. Вольф» об издании книги В. Ропшина «Конь Бледный», которая вышла первым тиражом в 3100 экземпляров в феврале 1912 года и принесла автору гонорар в размере десяти процентов с продажной цены.

До этого она печаталась в журнале «Русская мысль» и имела большой успех.

Проза «Воспоминаний террориста», с которой мы успели познакомиться по далеко не худшим отрывкам, деловита, но воспоминания суть воспоминания, какими бы ни были амбиции их автора, и в значительной своей части они могут претендовать на вечность лишь в душах старых эсеров, если есть еще в живых таковые. Правда, директор одного издательства, вознамерившийся было опубликовать их заново, изменил решение, высказав мне опасение, что как бы они не послужили ныне техническим руководством для не в меру ретивых молодых людей.

Проза «Коня Бледного» красочна, исполнена живых картин природы и сочного разговорного языка, тонких психологических наблюдений. Впрочем, то же самое можно сказать о любом другом талантливом литературном произведении. Зинаиде Гиппиус было видней, когда она говорила и об умении В. Ропшина схватывать то, что нужно в данный момент (а «моменты» в истории повторяются на каждом ее витке), и о собственной манере... Эта лаконично-быстрая манера нам весьма знакома. Мы ее обнаруживаем в прозе двадцатых—тридцатых годов и рады видеть, как она зарождалась. Речь еще шла и о мгновенном становлении писателя, как бы родившегося сразу с бородой и усами и басом потребовавшего себе места под солнцем.

Ну, это не совсем так. Уже мелькнула гектографическая брошюрка «Теням умерших». Есть красочные наброски в бумагах Савинкова и строки в письмах, говорящие о литературном честолюбии молодого террориста, женатого на дочери знаменитого писателя и следившего за литературой, несмотря на занятость... Кстати, он сохранил чужие письма превосходно. К сожалению, его собственные письма к литераторам, которых он удостаивал своим благоволением, не всегда хранились с должным пиететом.

Любопытно просмотреть и записные книжки Савинкова. Вот та, что была при нем во время его побега из Вологды за границу через Архангельск и Норвегию, с набросками стихов, с неплохими ландшафтными и портретными рисунками, точно передающими угрюмую красоту северной земли и ее жителей. С записью о жене: «Чем дальше от Веры, тем я больше думаю о ней, чем больше думаю, тем сильнее чувствую, как я ее люблю. Она для меня — все или почти все. Я не знаю, как буду жить без нее. Думаю, что не смогу. Да и нужно ли это?»

Скажем сразу — это прошло. В зрелые годы, женатый вторым браком на Евгении Ивановне Зильберберг, он позволял любить себя очень многим женщинам, что продолжалось всякий раз до тех пор, пока любовь

Продолжение. Начало в № 8 за 1990 год.

не превращалась в ненависть, а это происходило стремительно.

Или вот письма старшего брата Александра из заключения, с жирным штемпелем «Просмотрено прокурорским надзором». Мелькают имена Ибсена и Бергсона. «Ну, однако же, дорогой Боря, ты серьезно взялся за защиту декадентов. У них есть кое-что, пишешь ты, очень достойное внимания, и советуешь поторопиться, чтобы мода не захватила этого «кое-что»...

Становится ясным, что, кроме семейных традиций, кроме общения с писателями, было и литературное ученичество, вынашивание замыслов, стремление не отставать от «моды», и все это надо знать, чтобы понять, какими путями шел Б. Савинков к В. Ропшину, как менялся его характер, каковы были его книжные пристрастия, какой опыт, кроме террористического, обусловившего тему, лег в основу создания «Коня Бледного».

Россия — страна великой неустроенности и неприкаянных, странных людей. Такое ощущение в повести (пусть будет так) В. Ропшину удалось создать. Нет фона — гигантских шагов экономики, деловой предприимчивости русских людей, разбуженных капитализмом, деятельности великих ученых, инженеров и мыслителей, что обещает невиданный расцвет. Есть Россия патриархальная и обреченная, с ее «бесами», бесконечными разговорами о смысле жизни, богоискательством и всеобщей обеспокоенностью, переходящей в кровавую ненависть.

Действие происходит уже после неудавшейся революции и дарования демократических свобод (куцых, как и в наше время), которые партия (читай: эсеры) пытается использовать для борьбы в конституционных, парламентских рамках и «застенчиво», в лице члена комитета Андрея Петровича, пробует уговорить боевиков временно прекратить террор.

Но машина запущена, и неотвратимость губительного движения ее колес выражается в характере главаря боевиков Жоржа, по паспорту великобританского подданного Джорджа О'Брайена (в современном написании), прибывшего в родной город, где его группа готовит покушение на губернатора. Кто он, этот губернатор? Может быть, хороший человек, радеющий о благе народа? Это все равно. Главное — убить. Для Жоржа — это утверждение вседозволенности, прощание с православной этикой, с христовым праздником детства и юности, от которой тянется тоненькая ниточка — эгоистичная, нерадостная любовь к Елене, уже вышедшей замуж за офицера.

Героя повести нельзя отождествлить с Савинковым. Но были и такие, которые могли сказать о себе: «У меня нет родины, нет имени, нет семьи». И еще: «Счастлив, кто верит в воскресение Христа, в воскрешение Лазаря. Счастлив также, кто верит в социализм и грядущий рай на земле. Но мне смешны эти старые сказки...» Остается лишь свобода убивать. «Во имя крови, для крови».

Ваня, играющий в слежке роль извозчика, — из породы каляевых и сазоновых. Он старается откреститься от смердяковщины, ищет утешения в пути Христа, положившего душу за други своя. Грех убийства страшен, но он надеется, что Бог простит его за любовь к людям.

«Химик» Эрна, снаряжающая бомбы, уверяет, что ей стыдно жить, когда кругом страдания народные. Она из тех скучающих, которые ищут в терроре избавления от тоски, как и в любви к Жоржу.

Студент Генрих искренне верит в лозунг: «В борьбе обретешь ты право свое». Он идейный, он убежден, что люди будут свободны и сыты.

Федор из рабочих. До того, как стать террористом, он получал один целковый в день. Глаза его горят классовой злобой ко всем, кто получает больше. «Всех бы их, безусловно». Поставить к стенке. Это готовый комендант будущей Чека, исполнитель приговоров «троек», вырывающий у своих жертв золотые зубы во имя осуществления социальной справедливости.

В повести — ситуации, узнаваемые по описаниям слежек и убийств, прошедших чередой в уже известной нам жизни Савинкова, вплоть до споров, убивать или не убивать вместе с губернатором его детей...

Федор вступает в перестрелку с полицией и кончает с собой. Ваня убивает губернатора. Эрна застреливается. Взрывы, гибель товарищей, их предсмертные письма, тюрьма... все савинковские впечатления перемалываются и приперчиваются едкими откровениями в коротких, энергичных фразах повести В. Ропшина.

В самоуничижении Жорж признается себе, что он — Смердяков. В голове его рефреном повторяются безумные стихи:

Если вошь в твоей рубашке
Крикнет, что ты блоха,
Выйди на улицу
И — убей!

Елена, возлюбленная Жоржа, прелестна. Она хочет дарить радость и мужу, и любовнику. Но Жорж, сам никогда не придерживавшийся законов человеческих, позволявший себе спать со многими женщинами, капризно требует жертвы — бросить мужа. И когда она отказывается, Жорж убивает его. В этом есть своя логика. Раз убивать дозволено, то можно убить не только во имя революции, можно убить, повинуясь собственной прихоти.

«Мне смешны мои судьи, смешны их строгие приговоры. Кто придет ко мне и с верою скажет: убить нельзя, не убий? Кто осмелится бросить камень? Нет грани, нет различия. Почему для идеи убить — хорошо, для отечества — нужно, для себя — невозможно? Кто мне ответит?»

Но в пустой душе нет места любви. Кровавая жертва напрасна. Остается скука в балагане, называемом жизнью. И непонятно уже, что льется в театре марионеток — клюквенный сок или настоящая кровь. Остается лишь пустить себе пулю в лоб...

И все это происходит на очень красивом фоне русской природы, звона колоколов, народных обычаев... того, чему угрожает гибельная, как мы теперь понимаем, любовь и ненависть героя повести и ему подобных. Но это говорит лишь еще раз о незаурядности писателя В. Ропшина и сложности природы Б. Савинкова.

12.

Когда же был написан «Конь Бледный»? Как родилось название и псевдоним В. Ропшин?

Об этом можно узнать из писем Зинаиды Николаевны Гиппиус (дворянская семья фон Гиппиус переселилась из Мекленбурга в Москву еще в 1515 году), дочери обер-прокурора сената и жены писателя Дмитрия Сергеевича Мережковского, известной поэтессы, подписывавшей свои литературно-критические статьи псевдонимом Антон Крайний, основавшей с мужем религиозно-философское общество.

Их много, этих писем к Савинкову, в архивах. И первое, написанное 25 февраля 1903 года в Париже, зовет его в гости к Гиппиус с Мережковским в пятницу вечером почитать «что-нибудь интересное». Но через несколько дней она, обнадеживая его («вы очень хорошо можете и будете писать»), упрекает его в подражании то Пшибышевскому, то Ремизову, то Романову.

К маю из переписки становится ясным, что повесть уже написана. Но критику Антону Крайнему кажется, что отношения Жоржа с Еленой «дисгармоничны», однако «автор вводит **положительный** элемент в вопрос половой любви» (выделено Гиппиус. — Д. Ж.). Елена неестественно молчит во время встречи в саду.

Зинаида Николаевна учит (!) Савинкова, что в революции все должно кипеть. «Корчи змеи, меняющей кожу». Письмо за письмом с критическими разборами повести. Велико внимание знаменитой поэтессы к начинающему автору. А ее маститый супруг прикидывает, как бы напечатать повесть в России, но не получается...

12 сентября Савинкову торжественно сообщают, что журнал «Образование» перешел в руки Мережковского, а также газета «Утро». Появилась возможность публикации. «Повесть ваша производит страшно сильное впечатление». На кого?..

А через несколько дней повесть уже набрана. «Эпиграф страшно нужен... заглавие хорошо, а псевдоним неудачен и даже евреем пахнет».

Пока мы не знаем, как называлась повесть (или роман) изначально, однако узнаем нечто любопытное о литературных нравах того времени. Газеты и журналы, издательства принадлежат богатым еврейским буржуа. Как и главенство в революционных политических партиях. Ныне в определенных кругах вроде бы считается признаком истинной интеллигентности покорное сотрудничество ведущих писателей начала века с тогдашними хозяевами общественной жизни, но переписка и дневники Чехова, Горького, Куприна, Блока и многих, многих других носят следы недовольства неофициальной цензурой, хотя в общении с издателями это тщательно скрывалось. Как ни прискорбно такое двоемыслие столь почитаемых нами писателей, но открытый бунт любого из них подавлялся решительно лишением публикаций и славы, а впоследствии и жизни, что заставляло быть осторожными.

Ни Зинаида Гиппиус, ни Борис Савинков не были исключением, хотя их публичные высказывания полны почтения к издателям, как тогда говорили, «страха ради иудейска». Так, 6 октября 1908 года Гиппиус сообщала Савинкову, что вела переговоры в издательстве «Шиповник» с его владельцами «Коппель и Поппель-манами» о публикации романа в «Жидовнике», но Копельман отказал ей. И тут же черкнула: «Блок очень хочет прочесть вашу рукопись. Завтра поговорим, как это устроить».

А 8 декабря она уже писала Савинкову, что роман будет напечатан в журнале «Русская мысль» в 1909 году за подписью В. Ропшин. Гиппиус изменила первоначальный псевдоним. И дала название — «Конь Бледный». («Ругайте, как хотите, но изменить уже нельзя.) И эпиграф подобрала. И обещала предисловие Мережковского, если «Шиповник» вдруг согласится на отдельное издание. Потом Савинков воспринимал себя в литературе только В. Ропшиным, а название и эпиграф отозвались через много лет в «Коне Вороном»...

Узнаем мы и на кого производила впечатление вещь В. Ропшина. Гиппиус переслала ему письмо Брюсова от 4 (17) февраля 1909 года.

«Дорогая Зинаида Николаевна!.. Очень хорош «Конь Бледный». Прочел его с нарастающим наслаждением. Немного a la Пшибышевский. Но его недостатки смягчены. Во всяком случае в десять раз талантливее любой вещи Леонидаса I».

Так Брюсов назвал Леонида Андреева.

Хотя «Конь Бледный» пошел в «Русской мысли» с выдирками, повесть критики заметили.

Они совершенно верно писали, что было страшное напряжение. И вдруг оно оборвалось. Стало ненужным. Была волна веры и упования. Потом подошел лукавый гном, шепнул на ухо слова сомнения, и в душе воцарился демон пустоты и уныния.

Причины послереволюционного упадка когда-то мы знали назубок, проходя курс марксизма-ленинизма вкупе с историей партии. Не думаю, чтобы курс изменился коренным образом...

Но по выходе «Коня Бледного» писали об «ужасном спорте» — охоте на людей, об опыте, «произведенном современной жизнью над... душой русского человека», о «мефистофельском смехе» Жоржа над партийным руководством, рассылающим свои директивы.

Неизвестный рецензент отметил в «Нашей газете», что «даже со стороны жизненности она (повесть. — Д. Ж.) куда интересней и конкретней андреевской «Тьмы». В ней нет алгебры человеческой жизни, выкладками которой так любит заниматься Андреев».

Мережковский в большой статье пропел гимн повести. Амфитеатров объявил ее пасквилем на «работников движения». Все читатели восприняли ее как разочарование в терроре и протест против него.

И ни для кого не было секретом, что за псевдонимом В. Ропшин скрывается Б. Савинков.

Тот самый, о котором в деле, заведенном полицией давно и неоконченном, содержавшем летопись его деяний, говорилось:

«...Б. В. Савинков представляет собой наиболее опасный тип противника монаршей власти, ибо он открыто и с полным оправ-

данием в арсенал своей борьбы включает убийство. Слежка за ним и тем более предотвращение возможных с его стороны эксцессов крайне затруднительны тем, что он является хитрым конспиратором, способным разгадать самый тонкий план сыска. Близкие ему и хорошо знающие его люди обращают наше внимание на сочетание в нем конспиративного уменья и выдержки с неврастеническими вспышками, когда в гневе и раздражительности он способен на рискованные и необдуманные поступки...»

Характеристику эту явно дал Азеф...

13.

А тем временем В. Ропшин уже написал новый роман. Когда создавался «Конь Бледный», еще не было заявления Бурцева о провокаторстве Азефа. Теперь же все летело в тартарары, и разочарование усугубилось. В эмигрантском «далеке» энергия Савинкова тратилась на литературные занятия и на мелочный подсчет таяния гонораров, уходивших в основном на вино, женщин и лечение последствий покупной любви. Среди революционеров в Париже это было обычной статьей расхода.

Роман «То, чего не было» задумывался как широкоохватный, многоплановый, призванный показать и революцию 1905 года, и террор, и не просто показать, а подвергнуть все анализу, наподобие толстовского, разве что не хватало изобразительной мощи классика, который влиял и продолжает влиять на манеру письма многих литераторов. Такой способ сочинения романов был бы плодотворен, если бы дело не шло дальше пространности периодов и чисто внешних приемов, знакомых и разложенных по полочкам. Но мы еще вернемся к этому...

«То, чего не было» — роман о трех братьях Болотовых — Андрее, Александре и Михаиле, дворянах, которые идут в террор и гибнут один за другим. Можно искать аналогию с братьями Савинковыми — Александром, Борисом и Виктором, но судьба тех иная, хотя и давшая почти все наблюдения автору. Сразу же, с первых страниц, мы знакомимся с огромным хозяйством партии, разбросанным по всей России, с ее «динамитными мастерскими, тайными типографиями, боевыми дружинами, областными и губернскими комитетами, крестьянскими братствами, рабочими группами, студенческими кружками, офицерскими и солдатскими союзами», с психологией Андрея Болотова, привыкшего к конспирации и отчуждению от людей и даже своих родных ради победы «гордо поднятого красного знамени», ради восстания ста миллионов русских крестьян, после чего тут же воцарится социальная справедливость и наступит рай.

Напрасно мы будем искать в романе тех самых крестьян, интересы которых представляют социалисты-революционеры. Правда, партийный руководитель Арсений Иванович гордится тем, что в юности пахал землю, от чего остались у него лишь мудреные поговорки и слово «кормилец», с которым он обращается к любому собеседнику. Он радуется поражению России в войне с Японией. «Кто в барышах?» Революция. Это известный принцип — «чем хуже, тем лучше».

Члены комитета партии в Петербурге собираются два раза в неделю. В. Ропшин сравнивает их с каменщиками, что само по себе двусмысленно, однако обращает на себя внимание такая фраза: «Но как каменщик не властен разрушить дом или не достроить его, а властен в этом только нанявший его хозяин, так и они не властны над революцией, и попытки их руководить ею были всегда и неизменно бессильны».

Здесь напрямую просматривается толстовская схема (Наполеон, дергающий за веревочки внутри кареты), как и в рассуждении о том, почему «военный организатор» товарищ Давид, знакомый с десятком солдат, считает естественным, что весь полк должен подняться и «начать убивать и умирать».

Впрочем, «зеркало русской революции», выступавшее против смертной казни, ужаснулось бы, читая в романе, как дешева человеческая жизнь для рабочего парня, который искал себя в терроре и отравил из мести четырех казаков ядом, полученным у фельдшера Яши.

Перед Андреем Болотовым встает сакраментальный русский вопрос: «Кто виноват?» Правительство? Народ, который достоин своего правительства? Почему ждут крестьяне и хотят ли они революции? Что дает дезорганизующий террор? «Теперь он уже знал, знал наверное, что где-то в его жизни кроется ложь».

Но Болотов гонит тревожные мысли, он уже не представляет себя вне партии («Слава партии!»). Это сближает его с Давидом Коном, который слепо, талмудистски, верит руководителям. «Он не посмел бы спросить, кто они и кто дал им неограниченные права». Революция для Кона — это «исполнение велений Божиих», путь к владычеству «избранного народа» на земле. Он убивает «радостно», восклицая: «Прекрасны жилища твои, Израиль!», мечтая, как после «грозного дня возмездия и гнева» «все фабрики в полном составе слушали бы ученые лекции о Марксе».

При чтении романа ныне отчетливо видно, что такое революционная ситуация. Это не следствие застоя экономики, развала, нет. Это духовный кризис. Сила прежних идей исчерпала себя, и яд неверия привел к разброду. Недовольны все, и всяк чувствует себя не на своем месте. У В. Ропшина это ярко выражено в «слепом» беспокойстве солдатской массы, которой государева служба всегда была ненавистной, а теперь казалась непереносимой, и пророчески звучат слова о том, как «при первом мятежном крике зазвенят в солдатских руках винтовки и переколют и перестреляют господ офицеров», как «вместо полкового шитого золотом знамени взовьется красный флаг революции».

А революция была уже на дворе. Весь 1905 год, начавшийся январской бойней, прошел под знаком убийств, стачек, демонстраций, «мятежного крика» на броненосце «Потемкин», всероссийской забастовки. По Савинкову, революцию ждали все — и министры, и жандармы, и революционеры. И для всех она оказалась неожиданной.

Царский манифест 17 октября, обещание созыва Государственной думы, свободы печати, совести, союзов, собраний — все это запутало и даже обескуражило все стороны. Более того, объявление гражданских свобод выбило из колеи профессионального революционера, потому что «кроме навыков конспирации он не вынес из партии ничего: многотрудная жизнь миллионов серых людей была ему неизвестна, непонятна и недоступна». Заметим в скобках, что именно в этом обстоятельстве крылась подступающая трагедия миллионов, которые окажутся под жестокой властью профессиональных революционеров, а потом профессиональных бюрократов, все так же далеких от многотрудной жизни.

Московское восстание — это самая яркая часть книги. И не потому, что Андрей Болотов уже в другом свете видит Берга, Залкинда и других руководителей, много и самонадеянно говорящих. Он убеждается в том, что говорят одни, а бомбы бросают и дерутся на баррикадах другие. В этом клубке противоречий перемалываются человеческие судьбы, и во весь рост поднимается главный вопрос всякого кровопролития, от которого отворачиваются ангажированные кем бы то ни было историки и философы, — вопрос соотношения добра и зла. Делать зло во имя очень далекой доброй цели? Нет ли здесь опасности того, что зло порождает лишь зло? Что пролитие крови приводит лишь к новому, еще большему пролитию крови, а душа человеческая развращается до крайней, самоубийственной степени?

Но это легко говорить теперь, по истечении почти столетия, видя порабощение, истребление и вырождение великого русского народа, остатки которого ничему не научились и уныло движутся к самоистребительной смуте, повинуясь движениям палочек ненавидящих все русское дирижеров.

Исповедовавший «юдо-христианство», крупнейший популяризатор и толкователь русской философии Н. А. Бердяев делал обширные попытки трактовать участие различных слоев и групп в русской революции, безоговорочно приписывая ей азиатский характер. Даже коммунистическую революцию он отторгал от марксизма, приходил к таким парадоксальным выводам: «Самый интернационализм русской коммунистической революции — чисто русский, национальный. Я склонен думать, что даже активное участие евреев в русском коммунизме очень характерно для России и русского народа. Русский мессианизм родствен еврейскому мессианизму». Логики здесь мало, но в той же работе «Истоки и смысл русского коммунизма» он писал о народническом миросозерцании (что интересно, поскольку в романе Савинкова речь идет о наследниках народников — эсерах). Участие дворянства в этом движении Бердяев объясняет «по преимуществу мотивами совести», а участие разночинцев (к которым автоматически относятся евреи) — «мотивами чести». Итог известен — «кающиеся дворяне» были истреблены почти поголовно и замещены «невольниками чести»...

Дворянин Б. Савинков в обличье В. Ропшина в силу одного своего происхождения избрал героями романа дворян-революционеров и дал уникальную возможность увидеть их отречение от сословных ценностей.

Как это происходило?

Вот патриархальное дворянское семейство Болотовых. В усадьбе отставного генерала Николая Степановича — благодатные отношения в семье и с крестьянским миром. Для генерала в словах «отечество», «церковь», «царь» есть такой же глубокий смысл, как и для его сына Андрея в словах «республика», «революция», «социализм». Исходя из своих понятий чести, он считает, что поражение в японской войне — беда для России, как и убийства, расстрелы, забастовки, крестьянские волнения, и перед этим должны «умолкнуть все разногласия: при кораблекрушении не судят виновных, а спасают корабль, и при пожаре не ищут причины, а заливают огонь». Беда поразила и семью: старший сын Александр в японском плену, средний, Андрей, — подвергается опасностям конспиративной жизни, а младшие, не теряя любви и почтительности к родителям, захвачены зловещей романтикой. Дочь Наташа с мистическим ужасом думает о старшем брате Андрее, «мученике и убийце», и о партии, в которой тот состоит, в духе христианском.

«Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и всей жизни своей, тот не может быть Моим учеником» — так словами из святого благовествования от Луки освящались ненависть и раздор, а верность партии ставилась выше общечеловеческих ценностей...

Миша, младший из Болотовых, слабо представляет себе, чего добиваются социалисты. Ему подсказывают, что «уважающий себя человек в России не может не быть революционером». И еще: «Незаметно и постепенно, от товарищей, из брошюр, из газет, из намеков, из значительных умолчаний, он в свои восемнадцать лет уже **капля по капле впитал то всеобщее равнодушие к русским несчастьям, которое считалось тогда заслуженным и уместным»** (выделено мною.— Д. Ж.).

Это «тогда» оказалось протяженным во времени. Главное — механизм притупления национального русского самосознания вскрыт самим Савинковым, лучше других знавшим кухню массовой обработки умов.

Но это об интеллигентной части русского общества, а выступления крестьян и рабочих он считал стихийными. Московский мятеж он, передавая настроения Андрея Болотова, воспринимал как исполнение не партийной воли, а воли «тех безвестных рабочих, которые, не спросясь позволения, выстроят баррикады». Это потом теоретики заговорят о «руководящей роли» в трудах, обязательных, как канцелярские циркуляры.

Есть и еще одна точка зрения в романе. Ее выражает боевик Володя Глебов, который считает, что революцию в белых перчатках не делают, что миндальничать нечего — всеобщий разбой и кровопускание противопоставляются «сентиментальности» и интеллигентщине руководителей партии. Что ж, придет время и такому...

Московское восстание остается загадкой для Савинкова и его героя Андрея Болотова, который так и не понял, «какая же именно сила движет теми людьми, которые

в Лефортове и Кожевниках, на Миусах и на Арбате одновременно начали строить баррикады, одновременно решились умереть и убить». Он испытывает радостное чувство единения с восставшими, но вот Глебов берет его и Давида в квартиру жандармского полковника Слезкина. Все, что там происходило, в точности повторяло арест революционера, и Андрей даже подумал: «Точь-в-точь как жандармы»... Разве что жандармы не стреляли людей на месте. И есть в этой сцене не привлекающая внимания подробность, внушившая страх Андрею, — «равнодушный, почти скучающий взгляд» рабочего.

Это равнодушие распространяется и на убийство, и на озлобленные партийные споры, отражавшие настроение интеллигентских кругов, знатоков «крестьянского и рабочего вопроса и хозяйственных отношений России», о социализации земли, заводов или иных путях развития, когда каждому хотелось поскорее решить все за рабочего и крестьянина и сделать их счастливыми...

Равнодушие проистекало не только от непонимания. При всем своем стремлении к воле простой народ опасался носителей ученых идей, инстинктивно полагая, что лучше не будет, что большинству эгоистичных политиков, в сущности, плевать на человеческое счастье, что им бы только дорваться до власти. И очень характерен разговор, подслушанный Андреем Болотовым во время партийного съезда, когда говорилось, что крестьяне в Думу левых не выберут, а если выберут, то Думу разгонит и депутатов расстреляют, но это даже очень хорошо. «Чем хуже, тем лучше». Это уже не просто радость по поводу поражения России в войне. Это злонамеренная жажда провокации и принесения русского народа в жертву Иегове.

Живописуя московское восстание, его персонажей и героев, Ропшин-Савинков все-таки отказывает ему в статусе народной революции. Скорее, это пушкинский бессмысленный и беспощадный русский бунт. Но в картине его есть определенные признаки «репетиции» того, что грядет — революции, гражданской войны, массовых убийств во имя и против учения, хотя «ни Маркс, ни Энгельс, ни Кант никогда не убивали людей...». Но партия велит убивать, и убивают. Уже тогда у Савинкова отчетливо проглядывало предвидение собственного конца, конца всех русских революционеров, истребивших друг друга («Поднявший меч от меча и погибнет»), чтобы уступить место обывателю, устроившему себе неплохую жизнь, угнетая других под сенью социалистических идей. Будут казнены миллионы, а потом казнят палачей. И восславят их в «мемориалах».

Более того, читая В. Ропшина сейчас, во время кризиса и поисков выхода из него, ловишь себя на мысли об актуальности его сомнений и беспокойства, которая не была бы такой острой, опубликуй мы его произведения еще лет десять тому назад.

В XX веке пропаганда жестокости сделала свое черное дело. Социал-демократы завели концентрационные лагеря, национал-социалисты подхватили идею. Евангельское положение — «Тот, кто не со мной, тот против меня» — было извращено чудовищно. Истоки падения морали у нас исторически просматриваются отчетливо.

Просто не веришь, читая об обращении японцев с русскими пленными, для которых высшим оскорблением было такое поучение японского генерала: «Находясь здесь, вы должны дружески относиться друг к другу и воздерживаться в поведении, так как примерное поведение возвышает достоинство воина, помня, что соблюдение этого пленными есть услуга отечеству, а пока следует ждать заключения мира». Японцы не выпытывали у пленных военных тайн, боясь, что это уронит их честь в глазах русских. Впрочем, русские офицеры поступали так же. Большевиками такое «слюнтяйство» было сочтено «классовым предрассудком».

Проповедь вседозволенности оправдывалась тем, что человек уже заглянул в черную бездну и не испугался. В устах Ольги, подруги бунтаря Глебова, она звучит достаточно выразительно:

«Такому человеку позволено все... Для него нет греха, нет запрета, нет преступления... Мы решились на революцию, на террор, на убийство, на смерть. Кто может вместить, тот вместит... А кто не может, тот... тот, конечно, погибнет... Туда ему и дорога!»

С другой стороны, Глебова обрабатывал Рувим Эпштейн, который «считал себя высокодаровитым ученым». Программа его знакома. Он советовал грабить купцов, жечь помещиков, «экспроприировать» в пользу народа имущество частных лиц. Он утверждал, что опаснейший враг революции не правительство, а «буржуазия», и что нельзя и не надо щадить «презренного буржуа». Впоследствии эта программа была уточнена — крестьянство объявлено «мелкобуржуазным», а рабочие загнаны в трудовые армии. И любопытно, что у Савинкова в романе на роль исполнителя программы выдвигается не только героический атаман Глебов, но и уголовник, висельник Муха...

И, наконец, Савинков сказал то, чего не было в «Коне Бледном». Теоретик Эпштейн утверждает, что во имя террора позволено все — даже служить в охранном отделении. Оказывается служащим охранки один из руководителей партии — Берг. Другим руководителем партии, юристом Розенштерном, проводится расследование, и кожевенник Абрам зверски убивает Берга ножом, восклицая: «Будешь знать, как резать евреев!» — хотя немец Берг не убивал никого, создал десятки подпольных типографий, был педантичным организатором..

В романе много двусмысленного и грязного, как и было в действительности. Отчасти В. Ропшин повторяет то, что было рассказано Б. Савинковым в «Воспоминаниях террориста» и «Коне Бледном» о деяниях террористов. Иначе трактуется история с безнаказанными махинациями Азефа...

После разгрома боевиков на сцене вновь появляется Эпштейн из... Парижа. Он осуждает практику индивидуального террора. «Товарищи не умеют работать». И выдвигает новую программу:

«...Вы читали мою статью «О худших и лучших»? Нет?.. Я писал, что нужно сделать генеральную чистку... Понимаете, нужен террор, массовый, универсальный, всеобъемлющий, беспощадный... Есть две расы людей. Раса эксплуататоров и раса эксплуатируемых. Эксплуататоры наследственно злы, хищны, жадны. Сожительство с ними немыслимо. Их надобно истребить... Всех до единого, до последнего... Если их сто тысяч, надо истребить сто тысяч... Если их миллион, надо истребить миллион. Если их сто миллионов, надо истребить сто миллионов... Стесняться нечего... И я... я, Рувим Эпштейн, знаю, как это сделать...»

В словах этого купеческого сынка мы теперь узнаем усмешку Ленина по поводу опасения, что в будущей революции может погибнуть миллион людей, размышления Зиновьева, Троцкого и других «профессионалов» оптового террора, включая запрограммированного на это Сталина.

Нынешний читатель знает результат. Остается напомнить, что накануне революций, в 1904 году, великий русский ученый Менделеев издал книгу «К познанию России», в которой высчитал, что русских в 1950 году будет 350 миллионов, а их насчитали тогда всего около ста миллионов. Несложное арифметическое действие, и мы получаем (скорее, недополучаем) 250 миллионов русских людей, погибших в войнах, расстрелянных в подвалах карательных органов, замореных голодом и в концентрационных лагерях, не родившихся от убитых и из-за того, что русский народ был загнан в полуголодное рабство, когда многим не то что заводить детей — жить не хотелось.

А ведь Савинков пытается сделать из Эпштейна карикатурную фигуру с ее «мальчишеской болтовней» и стишком:

Все захватим, все возьмем,
Жадным чувством обоймем!

Ницшеанец и агент охранки Эпштейн уезжает за границу, остается теоретиком, а когда придет время, как мы теперь знаем, шагнет из романа в действительность, чтобы осуществить на практике свои идеи.

Смерть в романе В. Ропшина косит с разбором. Обречены дворяне Болотовы. Гибнет в московском восстании юный Миша, так напоминающий толстовского Петю Ростова. Повешен за терроризм Андрей. Застреливается подавшийся в террор, мстящий за смерть братьев и поражение России лейтенант флота Александр. Гибнет Володя Глебов, несостоявшийся Стенька Разин, гибнут рабочие и мужики...

К разорившемуся Николаю Степановичу Болотову в финале романа приходит революционер-простолюдин Ваня — сообщить о смерти последнего сына.

Неотвратим путь революции и Савинкова, связавшего себя с ее судьбой. Сколько бы он ни говорил в романе горьких слов о партии и революции, ему не уйти от них. И он чувствами Вани оправдывает все, что происходит. Да, вспомнились нищета и пьянство. Вспомнились борьба и погибшие боевые товарищи. Утрачена надежда, и «казалось, что грешно, бессмысленно и бессовестно жить».

Но Ваня встречает на станции артель пильщиков, мужика с умным взглядом серых глаз. И ему становится легко.

«Он увидел Русь необозримых, распаханных, орошенных потом полей, заводов, фабрик и мастерских, Русь не студентов, не офицеров, не программ, не комитетов и не праздную, легкоязычную и празднословную Русь, а Русь пахарей и жнецов, трудовую, непобедимую, великую Русь...»

В Ване «вспыхивает вера» в народ, в освобождение, в «на любви построенный мир», в «вечную правду».

Надежда туманная и так отличающаяся от жестоких теоретических построений Эпштейна...

Публиковавшийся в журнале «Заветы» с 1 по 8-ю книги за 1912 год с подзаголовком «Три брата», роман «То, чего не было» еще в рукописи вызвал живейший интерес, что прослеживается по письмам Зинаиды Николаевны Гиппиус к Савинкову. 2 января 1912 года она писала ему: «Я непременно хочу прочесть ваш роман. Подумайте, ведь вы в некотором роде мой крестник, как же мне не интересоваться глубоко?» А через месяц критиковала его с реверансами — мол, «критик уже не друг, не враг, не знакомый даже, но — исследователь, по мере разумения своего».

Она не берется судить о морали романа, идейность же художественная — «всегда немного нехудожественна». Разумеется, революция с ее истинным, святым, стихийным подъемом обнажила святую «первичную силу», которой, кажется, пропитан морозный воздух над баррикадами, но партия?.. «Если вся беда в том, что в ЦК сидели случайные, глупые и надутые люди, трусы, не нюхавшие пороха, но желавшие идиотски распоряжаться, — то разве это уж такой вечный вопрос и разве стоит писать об этом роман?»

В чем, в чем, а во вкусе «Антону Крайнему» не откажешь. Гиппиус подробно критикует перипетии романа, твердо придерживаясь принципа: «Искусству нет дела до действительности», что надо понимать как призыв к широким обобщениям. И уж, конечно, язык «Коня Бледного» ей нравится больше.

«Стиль Толстого прекрасен для него, только для него одного. Вот уж не образец! За образец скорее надо брать «Пиковую даму» или «Капитанскую дочку», где слова прячутся за яркостью представления.

Но она подслащивает пилюлю утверждением, что роман приближается к эпосу, а над «громадной» вещью надо еще работать.

4 февраля она сообщает, что Д. С. Мережковский присоединяется к ее мнению, выделяет главы восстания, а конец считает слабым. Видимо, Савинков передал ей мнение Горького о романе, и она предостерегает: к советам этого писателя надо относиться «с откровенным недоверием». Она уже знает, что роман читали Плеханов и Чернов, что он, еще только печатающийся, стал предметом споров в самых высоких тогдашних литературных кругах, а потому уже не считает Савинкова дилетантом. Савинков-Ропшин подписывает векселя, по которым придется платить. Хоть он и «не Тургенев, не Кузьмин, не Бальмонт, не Бунин и уж далеко не Толстой», ему пора приобретать профессиональную писательскую психологию, отличать критику собратьев от критики «уличной», а также от критики партийных товарищей. Позже она будет еще больше ревновать его к Горькому и допра-

шивать, к какой литературе он тяготеет, «к Горько-Андреевской или нашей?» А пока же она разражается в письме к Савиикову таким прелюбопытнейшим пассажем.

«Кузьмину и Гумилеву, даже Брюсову— может быть и нужно еще оставаться «профессиоиаламн», и пусть себе: но уже Блок, — Блок! — тоскует, мечется, иссякает; я тоску его вижу, не знаю для него нужных слов; и он не знает, лепечет что-то об «уходе», а пока запирается от людей. Душа его беспомощна — но жива!»

Это не имеет отношения к роману Савинкова, но говорит о мере доверительности и уважеиия к таланту и личности писателя-террориста.

Роман вызвал обвал статей и рецензий в русской повременной печати. Схлестывались самые различные мнеиия. Е. Колтоиовская в «Новой жизни» подметяла, что во время революции в первые ряды выдвигается обыватель, а не революционер, что забастовка и восстание разразились не по аоле партии, а поскольку терпению рабочих пришел конец, что Андрей Болотов, говоря о руководстве партии, употребляет вместо «мы» разделяющее «они». В. Голиков в «Вестнике знания» назвал роман «смутным кошмаром», недоумевая, почему его хвалил Плеханов. «Убить или не убить?» Этакие Гамлеты революции!..

«Ропшин бьется в двери религии — и боится войти в иих», — писал Владимир Гиппиус, брат Зииаиды.

Но критика была почти единогласиа, что в художественном отношении роман слаб. Указывали на тематическое сходство романа с «Сашкой Жигулевым» Леонида Андреева, с «Александром I» Мережковского. Вячеслав Полонский заметил, что все героя В. Ропшина терзаются одними и теми же мыслями. Повтор этих мыслей после «Коия Бледного» подрывает веру в талант В. Ропшина. «Конь Бледный»... утонул в том, «чего ие было».

«Новое время» объявило роман дерзкой имитацией «Войны и мира». Некто Буракин писал: «Мелких воришек гг. Чуковские ловят успешно, а на крупное мародерство смотрят сквозь пальцы». В общем, плагиат. Тут же обвинили в плагиате самого Буракина. Времена в журналистике были вольные.

В обстановке полной гласности 22 народника прислали письмо в «Заветы», требуя прекратить публикацию романа как порочащего революцию. Старые борцы за свободу требовали цензуры... Скандал!

Успех был полный...

14.

Впервые символизм заявил о себе в 1893 году нашумевшей книгой Д. Мережковского «О причинах упадка и новых течениях современной литературы», где объявлялось, что новое направление ищет себя в потустороннем идеальном мире, в отвлеченности, порывая с реализмом, конкретной действительностью, выявляя новое содержание символически, новыми техническими средствами. Еще за шесть лет до этого Мережковский писал:

Напрасно я хотел всю жизнь отдать народу:
Я слишком слаб; в душе ни веры, ни огня...
Святая ненависть погибнуть за свободу
Не увлечет меня...

Так иачинался один из блестящих периодов русской поэзии, в который величайший артистизм сочетался с позерством, влияние декаданса Бодлера и Верлена, эстетизма Уайлда, индивидуализма Ницше — с еще более сильным воздействием русской классической лирики, идей Достоевского и Владимира Соловьева. Удовольствие доставляет одно перечисление имен Гиппиус, Бальмонта, Сологуба, Брюсова, Вячеслава Иванова, Блока, Андрея Белого, Анненского, Волошина... Зыбкая граница отделяет символизм от акмеизма, провозглашенного Гумилевым.

Начав с воспевания «боли души», скуки, ничтожества, прославления смерти, с туманных образов, они стали претендовать на место учителей жизни и пророков, приходили к ясности, простоте и классической четкости стиха. К тому времени, когда Савинков родился как поэт, символизм перестал ощущать себя единым. Поэты выросли из детских штанишек, и каждый шел своей дорогой, заявляя о себе все мощнее.

Это у символистов Савинков перенял манеру передачи личных переживаний, налет мистицизма... Недаром его стихи нравились Зинаиде Гиппиус, которая еще в 1911 году не раз писала ему, что их следует напечатать.

Потом она уверяла, что Ропшин писал стихи только шутливые (судя по наброскам в блокнотах, мы знаем, что это не так), не понимал разницы между пятистопным и шестистопным ямбом и прочих прописей стихосложения и вдруг написал поздравление в форме совершенно правильного сонета (не сохранившегося), что дало толчок новому увлечению, овладению формой стиха. Через несколько дней он попробовал себя в «Терцинах»:

Я вижу дней моих отображенье.
Развернут свиток медленной рукой.
И нет в душе желанного забвенья...

В них настроение его выражено предельно отчетливо.

Я побежден. Я победитель пленный...
Я видел снег заоблачных вершин,
А ныне ниц лежу как раб смиренный.

Интонации лирики Гиппиус очевидны. Он вторит ее обращениям к Христу. А образ распростертого Будды из «Сакья-Муни» Мережковского действует на Савинкова неосознанно, выдавая, скорее, не смирение, а гордыню.

Кстати, как-то в 1913 году Дмитрий Сергеевич забрел на огонек к Савинкову, жившему в Париже на рю ля Фонтен, и застал того с томиком стихотворений Тютчева.

— Как?! И здесь эта зараза? — недоуменно воскликнул Мережковский.

Для него Тютчев был и оставался «мракобесом», а Савинков пытался проникнуть в тайну отточенной и запоминающейся поэтической речи, тщетно стараясь выйти из периода ученичества. Как и у Мережковского, Тютчев порождал у него тщательно скрываемое ощущение собственной литературной неполноценности, но надо отдать должное бывшему террористу — зависти и злобы к классикам он не испытывал никогда.

Савинков вновь и вновь перечитывает «Откровение от Иоанна», как всегда, черпая в нем вдохновение:

Я знаю: жжет святой огонь,
Убийца в град Христов не внидет.
Его затопчет Бледный Конь
И царь царей возненавидит.

Вновь и вновь он возвращается к теме разлуки с родиной, к тем временам, когда он «дерзко колебал ветхозаветный трон», к своему бездействию, исполненному угрызений нечистой совести:

И дни мои бегут чредою незаметной,
Как тени облаков во мгле передрассветной.

Савинков в Париже пускается от тоски во все тяжкие, становится завсегдатаем заведений на Плас Пигаль, ищет «обмана в исцеляющем вине» и допивается до чертиков, что тоже запечатлевает в стихотворении, вполне воссоздающем клиническую картину белой горячки:

Маленький, зелененький,
Быстренький, веселенький,
Он волчком кружится,
Он огня боится,
Он в щели живет.
Он меня тревожит...
Кто же мне поможет?
Маленький, зелененький,
Он меня убьет...

Гиппиус похваливала его за «страшную осязательность», которая «делает стихи Ропшина не совсем обычными стихами обычного поэта». В предисловии к его сборнику стихов, составленному, когда поэта и террориста уже не было в живых, она писала, что в них он «сумел как-то отразиться весь: со всей жизнью, с ее центральным трагическим острием. Это острие почти всегда обнажено; лишь порой бывает прикрыто сложностями жизни и души; а в ней было, кажется, от всего, что только бывает в человеческой душе, но всего в непомерностях: тьмы и света, слабости и силы».

Она считала, что Ропшин нашел свою манеру, но не довел ее до совершенства, и требовала снисхождения к поэту, душа которого настолько трагична, «что даже ее видения и кошмары кажутся нам облеченными плотью».

Любовная же лирика В. Ропшина тривиальна. Она не поднимается выше средних образцов предреволюционной поэзии. В стихах прослеживается еще и влияние Брюсова, Бальмонта и редко — Блока.

Савинков прожил жизнь в России — скрываясь, за границей — тоскуя, но все-таки было в нем то, что чуждо современным «борцам за демократию», которым все равно, где жить, какому богу молиться, которым ненавистно все русское.

Нет родины — и все кругом неверно,
Нет родины — и все кругом ничтожно,
Нет родины — и вера невозможна,
Нет родины — и слово лицемерно,
Нет родины — и радость без улыбки,
Нет родины — и горе без названья,
Нет родины — и жизнь, как призрак зыбкий,
Нет родины — и смерть, как увяданье...
Нет родины. Замок висит острожный,
И все кругом ненужно или ложно...

Живя то в Париже, то на вилле «Вера» в Сан-Ремо, Борис Савинков часто встречался с Плехановым и другими революционерами различных мастей и оттенков, поскольку руководство всех левых партий находилось перед мировой войной частично в эмиграции, а частично в ссылке. Он переписывается с великим множеством людей. Обсуждает с Бурцевым свои «Воспоминания», а 21 сентября 1912 года заявляет ему: «Я полагаю, что судить Азефа можно и должно...», делая вид, что отважится на такую акцию. Из Петербурга ему регулярно пишет Гиппиус — о литературных делах, о журнальной полемике, о появлении футуристов... Он посылает ей свои очерки. И хотя подписывает их псевдонимом «В. Ропшин», ужесточившаяся цензура их не пропускает. Зато стихи его появляются в русских журналах — «129 строк, считая по 50 к. строка (выше никому не платят)...». И еще он пишет повесть, которую Гиппиус «ожидает с громадным любопытством». Но что это за повесть, по сию пору неизвестно. Зато вскоре в «Ниве» стали появляться корреспонденции и рассказы за подписью «В. Ропшин», которые, по мнению большевиков, были «сентиментально-патриотическими». Началась война, и отношение к ней раскололо революционеров. Одни ратовали за поражение своего правительства в войне, другие — за победу над «тевтонами». Тосковавший по России Савинков ни секунду не сомневался в выборе...

15.

Обтянув остроконечные шишаки своих касок шинельным сукном и закрутив поострее вверх нафиксатуаренные усы, 2 августа 1914 года немцы замаршировали по земле Люксембурга, а через два дня вторглись в Бельгию. Они сшиблись с французами в «Пограничном сражении» в конце августа, а 5 сентября вышли на реку Марну между Парижем и Верденом. Оттуда их гнали до Уазы. Потом обе армии начали «бег к морю» и вышли западнее Остенде. Вот и все более или менее приметные события на Западном фронте, после которых он на годы стал позиционным, сплошной линией окопов, от Северного моря до Швейцарии, длиной в 720 километров. Из них 650 километров обороняли французы, 50 — англичане, 20 — бельгийцы.

Война застала Савинкова на юге Франции. Газеты донесли сюда вести о том, что немцы «грабят, жгут, насилуют женщин». Знакомый рыбак считает, что французы борются за свою свободу, и Савинков согласен с ним. Он рвется в Париж. В Каннах

он разговаривает с солдатами, полными патриотического воодушевления, готовыми умереть за трехцветное революционное знамя. В Марселе он узнает, что немцы уже возле Парижа. Среди патриотического угара слышны голоса рантье, считающих, что немцы все-таки лучше, чем коммуна...

В Париже паника. Правительство покинуло столицу. Не сегодня завтра пруссаки пройдут маршем по Елисейским полям, их уланы осквернят Лувр, а прусский орел увенчает Триумфальную арку. И опять в голове Савинкова мелькают образы евангельского «Откровения», которое он, по-видимому, знает наизусть.

Благодаря своим связям (и масонским тоже) Савинков без труда выправил удостоверение военного корреспондента.

Он отправляет свои первые корреспонденции из Парижа, пишет их под грохот пушек, доносящийся со стороны Сан-Дени. Он знает, чего хочет русский читатель. И он не кривит душой, когда пишет, что нет для него дороже в мире двух городов: Парижа и Москвы. Там — Кремль, Иван Великий, Успенский собор, дом Толстого, дом Герцена, снег... О Москве писал Пушкин. Там Савинков — русский. В Париже Дантона, Флобера, Жореса, Мюссе, коммуны, собора Парижской Богоматери... он — европеец. Он восторгается и французами, и англичанами, которые «дерутся, как играют в футбол, — хладнокровно, не торопясь, не уступая и не забегая вперед».

И Савинков торопится на Марну, где решается судьба Парижа. И оттуда шлет выдержки из двух приказов. Французского генерала Жоффра: «Лучше быть убитым на месте, чем отойти». Немецкого генерала Верденбаха: «Я ожидаю, что во имя благополучия и чести Германии каждый офицер и каждый солдат исполнит свой долг до конца, до последнего издыхания».

Мы уже знаем, что немцы отступили. Савинков следует за войсками. Его главным образом интересуют «зверства тевтонов»... Словом, он включается в пропагандистскую кампанию, которую вела русская печать. И ищет сходства в характерах французов и русских. Даже в пейзажах Шампани ему чудится страна, которую «Царь Небесный исходил благословляя».

Сейчас многое из написанного тогда Савинковым интересно скорее не литературоведу, а историку, потому что, какими бы ни были журналистские ухищрения, время их убивает. Его рассуждения о храбрости и смерти привязаны к названиям забытых французских селений, некоторые случаи забавны, не более. Мелькают французы, англичане и даже русские, бежавшие из немецкого плена и оказавшиеся в Париже, и не покидает впечатление, что все это уже где-то слышано или читано. Но тогда это было свежо, злободневно. По большей части Савинков передает рассказы солдат, старается навеять ужас перед войной. Но нам ли ужасаться тому, что кажется детской игрой в «атаманы-разбойники» по сравнению с морем крови, которую выцедили из русского народа всеми возможными способами?

Отголоском партийных споров стал очерк «Разговор», который, в сущности, есть монолог социалиста, бывшего до войны антимилитаристом и превратившегося в человека, ненавидящего немцев. Его страшит политическая зависимость Франции в случае победы немцев и «экономическое рабство России». Его возмущают немецкие социал-демократы, проголосовавшие как один за военные кредиты в рейхстаге. Короче, «социалисты так же превосходно хватают друг друга за горло, как и те, против которых мы боролись всю жизнь». Савинковские откровения могут вызвать у нас лишь печальную улыбку.

Социалист из «Разговора» — солдат. И Савинков тоже хочет стать солдатом, вступить добровольцем во французскую армию.

Это известно из письма Плеханова к Савинкову, посланному 14 июня 1915 года.

«Я очень высоко ставлю Ваш литературный талант...» Георгий Валентинович встревожен решением Бориса Викторовича и старается отговорить его от службы во французской армии: «Дело союзников — дело правое. Если победят немцы, плохо придется всему цивилизованному миру... Вы уже служите, хотя и не под ружьем. Ваши корреспонденции, — самые талантливые и содержательные из всех, какие только появлялись в русской печати в течение нынешней войны, — вызывают в русском читателе глубокую симпатию к французскому солдату и к французскому народу». В этом Плеханов и видел заботу о высших интересах России.

Савинков так и не стал французским солдатом то ли из-за уговоров Плеханова, то ли по другой причине (они вместе издавали оборонческие журналы). Последнее письмо (из известных) от Плеханова он получил 6 декабря 1915 года. Тот ждал Савинкова в Ницце. «Так хочется поговорить с хорошим русским человеком».

Вскоре они оба окажутся в России. Встретятся и там, перед незамеченной социалистами кончиной некогда самого видного марксиста...

В 1916 году В. Ропшин послал на родину книгу «Во Франции во время войны», отрекомендовав ее в суховатом и коротком предисловии:

«Предлагаемые здесь статьи — плод наблюдений автора за время войны; многие из них были уже напечатаны в различных органах современной прессы. Собранные теперь вместе и расположенные в известном порядке, статьи эти должны последовательно отразить настроения союзной нам страны за время от сентября 1914 г. до июня 1915 г. Автор надеется, что его книжка будет небезынтересна для русского читателя в переживаемый теперь момент».

Книга успеха не имела, потому что на родине царили совсем иные настроения.

16.

Ясно одно — Савинков имел смутное представление о том, что происходит в России, где зрело всеобщее недовольство отечественным кавардаком. Большевистская пропаганда против войны и эсеровское требование «земли и воли» подготовили к революции миллионы мужиков в солдатских шинелях. Буржуазия жаждала ре-

форм и... власти, опирающейся на демократию. И все-таки революция оказалась неожиданной для всех. Впрочем, непосредственное ее начало — отсутствие хлеба в Петрограде, толпы раздраженных женщин и переход солдат гарнизона на сторону народа — внимательно рассмотрено историками, за исключением казуса (подразумевается и старинное значение этого слова — «повод»). Запас муки в Петрограде был, но большую часть пекарей в одночасье призвали в армию, погасли печи, и хлебные лавки закрылись... Да и мудрено разобраться ныне в таком совпадении. Документы поспешно сжигались, падая черной сажей на белый февральский и мартовский снег, а в мемуарах тех, кто действительно что-то знал, отмечается сам факт, посвященные же молчали... Что ж, история для кого — урок, а для кого — подсказка.

Попрощавшись с женой и малолетним сыном Львом, Савинков приехал в Петроград, что называется, к шапочному разбору. Кружным путем. После Ленина и его сопровождающих, которые получили возможность двигаться прямиком через страну, находившуюся в состоянии войны с Россией, стараниями германского генштаба и рейхсбанка, у которых на уме было лишь разложение русской армии. Савинковская верность союзническому долгу не могла вызывать чувства приязни у немцев.

«Всех треплет лихорадка: домой! домой! Множество долгих и нудных перипетий с разрешениями, визами — выездными, проездными и въездными. И, наконец, — узкий грузовой пароходик, пересекающий из «засекреченного» порта северной Шотландии под эскортом двух миноносцев бурное Северное море», — вспоминал В. Чернов в книге «Перед бурей».

А далее — через тот же Стокгольм. Торжественная встреча на перроне в Петрограде по уже четко разработанному церемониалу — красные знамена с лозунгами «Земля и воля», «В борьбе обретешь ты право свое», воинские части с винтовками «на караул», военные оркестры, речи перед толпами с броневика...

Судьбу эсеров одни считают «неразрешимой загадкой русской революции», другие вполне резонно ссылаются на вморфность, вялость, непоследовательность партии в выполнении собственной программы и... многочисленность (на крутых поворотах истории, в переворотах волнующимся народом успешнее руководят немногочисленные, но очень сплоченные партии). В 1917 году число членов этой партии доходило до миллиона. Она получила большинство голосов на выборах в Учредительное собрание. Наследница народников, она пользовалась поддержкой не только крестьян, но и рабочих и интеллигенции, однако власти как бы боялась, делила ее с меньшевиками в Советах и кадетами в правительстве. Она утратила, с раскрытием провокации Азефа, не только Боевую организацию, но и боевой дух, большая часть ее во время войны стала оборонческой. Меньшая часть ее примкнула к циммервальдцам, а Натансон-Бобров со сторонниками стояли за поражение России в войне и впоследствии помогли большевикам захватить власть.

Кроме Керенского, во Временное правительство входили эсеры Чернов, Авксентьев, Маслов — все знакомые по масонским ложам, дававшие эмиссарам парижских лож клятвенные обещания не прекращать войны с немцами, что, собственно, сыграло роковую роль в судьбе буржуазно-демократического режима, как и позиция министров земледелия Временного правительства Чернова и Маслова, так и не отважившихся провести земельную реформу в пользу крестьян.

Борис Савинков находился на крайнем правом фланге эсеров, группировавшихся вокруг газеты «Голос народа», и вместе с Брешко-Брешковской подумывал о формальном выходе из партии. Тоже правыми были сторонники будущего министра Авксентьева и московского городского головы Руднева. В центре были Чернов, Гоц, Зензинов. Все они так или иначе поддерживали трудовика-эсера Керенского.

Но это об эсерах вообще, а в апреле, когда Савинков приехал в Петроград, первое, что он услышал, было:

— Столбов-то много повытаскивали, как заборы теперь держаться-то будут?

Эту фразу он слышал и в Москве, Киеве, по дороге в Каменец-Подольск в мае 1917 года, когда выехал вместе с Керенским в ставку Юго-Западного фронта.

Савинков радовался вытаскиванию гнилых столбов, но беспокоили его заборы. Рухнут и заборы-границы, и немцы восстановят поваленные революцией столбы.

Беспокоила и говорильня. Деятельный и властный, Савинков распрямляется как придавленная до поры пружина. Одна за другой летят в Петроград его корреспонденции из Каменец-Подольска и из действующей армии. Из них-то, подписанных все тем же псевдонимом — В. Ропшин, мы и узнали о его первых впечатлениях от революционной России.

«На десять человек, которые делают, в Петрограде есть сотни и тысячи, которые говорят. Говорят всегда: утром, вечером, даже в 3 часа ночи, и от этих нескончаемых разговоров болит и кружится голова, и расшатывается и теряется вера».

А ведь еще совсем недавно он писал сестре: «То, что происходит в Питере, — это буря, и я — в центре этой бури. Перед глазами у меня известная картина: «Какой простор!».

Он неожиданно серьезно воспринял адвокатско-интеллигентскую сентенцию Керенского:

— А что, если и в самом деле мы только взбунтовавшиеся рабы?..

Как! В России умеют заговаривать любую, самую плодотворную идею до абсурда. Сомнение, угнездившееся даже в самых верхах, выжигает веру, и становится нечем жить. «Но ведь я не разумом и все-таки безошибочно знаю, что мы не рабы и что наша революция не бунт».

Он тоже говорит. Говорит в Пушкинском доме, где собирается съезд фронтовых делегатов и откуда просматриваются пыльные каменец-подольские улицы, ниспадающие к быстрой речке Смотрич. Он обращается к армейским эсерам и эсдекам с призывом вкапывать новые столбы, пока это не сделает Вильгельм II. Как же можно брататься с солдатами императора?

Уговаривает делегатов Керенский:

— Прежде чем уйти с ваших позиций, подумайте, говорю я вам: не к земле и воле пойдете, а вы пойдете по дороге, по которой вы потеряете и землю и волю...

Уговаривают генерал Брусилов и члены исполкома Петроградского совета Станкевич и Шапиро. Поднимается на трибуну большевик-прапорщик Крыленко:

— Братание явится могучим средством зажечь пламя революционного пожара во всех странах и тем самым прекратить войну...

Но для восприятия таких лозунгов созрели далеко не все солдаты.

Савинкову кажется, что весенний майский воздух напоен надеждой на замену прогнивших столбов новыми, из крепкого дуба. Он с воодушевлением принимает предложение стать комиссаром 7-й армии и едет в Бугач. На митингах он обвиняет Петроград, этот источник угарного тумана негосударственной мысли. «В Петрограде «ленинцы», митинги, газеты, пыль, сор, перегруженные трамваи, тщательно скрываемая растерянность. Когда уезжаешь из Петрограда, чувствуешь себя обновленным...» Он как бы взбадривает себя, то и дело повторяя тютчевское: «В Россию можно только верить».

— Умрем! — кричит новоиспеченный комиссар. — За землю и волю! За родину!

И целует бородатые лица. И слышит в ответ:

— Мы воюем три года, а племянник колбасника отсиживается в тылу. У нас артиллерии нет. Мы зря умирать не согласны. Франция и Англия не позволяют нам заключить сепараторный мир. Долой войну!

Приподнятого настроения как не бывало. Это отголосок настроений Кронштадта и митингов у дворца Кшесинской. «Армия заболела», — тоскливо думает комиссар. В бой идут немногие.

— Кто выше — правительство или народ? — спрашивает Савинкова стрелок. Эсер Савинков всю жизнь боролся за передачу помещичьей земли крестьянам. И вот они, крестьяне, не верящие никому, у кого нет на руках мозолей. В июне 1917 года В. Ропшин писал:

«Завтра явится Ленин. Поверят ли они Ленину? Не думаю. Слово «социалист» им так же чуждо, как слово «помещик». В России наполовину еще непроглядная ночь».

Корреспонденции В. Ропшина в точности отражают переживания Б. Савинкова — от сомнений и утраты веры до восхищения героизмом тех, кто еще сражается, рождая проблески надежды на, как он считает, торжество свободы и демократии, которое неотделимо для него от виденного во Франции. Он — несомненный западник, сторонник французского и английского уклада жизни, а следовательно, капиталистического развития, сдобренного социализмом. Он — враг большевизма, поскольку нутром чувствует его жестокую социальную прямолинейность.

Но какое дело русскому крестьянину до Франции? Ходящая по рукам «Правда» (само слово «правда» свято) зовет не верить Керенскому, брататься, возвращаться домой и делить землю (этот Ленин просто выхватывает у эсеров их лозунг).

Истощенный пожилой крестьянин уже недоверчиво улыбается, когда Савинков заговаривает о свободе. «И я знаю — вот этот, другой, черноватый и кудреватый малый, с нахальными и играющими глазами и с серебряной серьгой в ухе, услышав слово «свобода», толкнет плечом своего соседа и громко, чтобы я слышал, скажет: «Буржуазы... А я пролетариат». И эти бессмысленные слова повторит вот этот скуластый «Алешка-Горшок», черемис, не понимающий почти ни слова по-русски. А потом встанет вопль: «Не пойдем! Не пойдем!».

Савников рассуждает о многосложности русского человека. Нет его сердечнее и нет более жестокого по свой природе. Он «мягок, груб, стоек и малодушен, работает за троих и ленив, свободолюбец и в то же время насильник». Ну что ты скажешь!.. Вот только сейчас на позиции этот хлебороб в солдатской форме бежал в атаку по полю под плотным пулеметным огнем, теряя товарищей. На высотке он оглянулся и тронул Савинкова за рукав.

— Хлебов-то сколько побили!

И чуть не заплакал. И не пожалел убитых. Не пожалел и своего полкового командира, требуя, чтобы его судили «благородно и честно» за какой-то проступок. И судили, собравшись на ночное вече. И армейский комиссар Савинков, крича до хрипоты: «Товарищи!», председательствовал на этом суде. Полковой комитет не имел права смещать командиров, а сместил. И комиссар понял, что так надо. Революция набирала силу, и у нее были свои законы. Вековая армейская дисциплина рухнула...

И будто он не разрушал государство, не занимался убийствами генералов. Действительно многосложен русский человек, записывающий теперь, когда ожидаемая им революция пришла:

«Не взбунтовавшиеся ли мы, на самом деле, рабы? Достойны ли мы свободы? Или мы способны только разговаривать и кричать и не способны работать, не способны на жертву, не способны на подвиг — на ратный подвиг защиты того, за что боролись наши отцы и деды?»

Но при чем тут отцы и деды русских армейцев, если тут же, провожая штурмовой батальон смерти, идущий в бой под красно-черным знаменем (Савинкова можно считать одним из инициаторов создания подобных воинских единиц), он считает его носителем традиций 1905 года? И опять он размышляет о смерти, организуя ее, посылая на нее, точно так же, как размышлял некогда, посылая на смерть лучшего друга. Впрочем, он поправляется в одной из корреспонденций, поясняя, что речь идет о наследии Пестелей, Желябовых и Гершуни.

В конце июня Савинков вновь встречается с Керенским, разъезжавшим по тылам действующей армии, и тот назначает его комиссаром Юго-Западного фронта.

17.

Но еще задолго до этого Савинков приметил генерала Лавра Георгиевича Корнилова. Или генерал, командовавший соседней, 8-й, армией, приметил комиссара, ратовавшего за укрепление революционной дисциплины.

Во всяком случае, в начале июня адъютант генерала Завойко стал осторожно выспрашивать у Сввиикова — желательна ли военная диктатура в России. Эсер, естественно, ответил, что он, революционер и республиканец, против любой единоличной диктатуры.

И тем не менее вечером восьмого июня у них состоялась продолжительная беседа в присутствии комиссара 8-й армии М. М. Филоненко. Низкорослый, сухощавый генерал внимательно разглядывал бывшего террориста своими узкими глазами, выдававшими изрядную примесь восточной крови. Он был из сибирских казаков, родился в нынешнем Казахстане, вышел из армейских низов, блестяще кончил Академию Генерального штаба (любопытно, что и другие зачинатели контрреволюционного движения в России, генералы Алексеев и Деникин тоже не имели никакого отношения к родовитому дворянству). На фронте Корнилов попал в плен к австрийцам и совершил дерзкий побег, что сделало его имя легендарным среди офицеров.

Савинков начал без обиняков:

— Господин генерал, я убежден, что русская армия погибает и для ее спасения, а следовательно, для спасения России, нужны меры самые решительные и твердые. Военный министр Керенский руководствуется не только настроениями командного состава армии, но и указаниями Петроградского совета, а вы знаете, как велико там влияние большевиков и им подобных людей, чуждых идее родины. Я, как комиссар, не получаю из Петрограда никаких распоряжений относительно большевиков, которые совершенно открыто разлагают армию. Я начал борьбу с ними, и не только словесную, но получаю поддержку далеко не от всех правительственных комиссаров. Я предлагаю вам объединить усилия по упразднению Советов на фронте и в тылу. Более того, необходимо добиться, чтобы в Ставку и Военное министерство были назначены такие лица, которые могли бы начать трудное дело возрождения боевой способности армии. И тут я надеюсь на вас...

Савинков помолчал и добавил:

— Возможно, что когда-нибудь наступит день, господин генерал, когда у вас явится желание расстрелять меня как революционера, и я не сомневаюсь, что вы постараетесь привести это желание в исполнение. Но я должен вас предупредить, что в тот же день я пожелаю расстрелять вас и, конечно, приложу все усилия, чтобы исполнить это.

Корнилов сощурил и без того узкие монгольские глаза.

— С Романовыми у меня соглашения быть не может, — сказал он. — Для себя лично я ничего не хочу. К единоличной диктатуре не стремлюсь. Я хочу одного — чтобы Россия была спасена, то есть чтобы армия возродилась.

О последовавших после этой беседы событиях написаны тома и тома. Среди них «Дело Корнилова» Керенского — о том, как демократический процесс «был сорван внезапным безумием честных, но слишком в политике неграмотных и нетерпеливых генералов». Имя Савинкова склоняется в книге на все лады. В 1919 году в Париже сам Савинков опубликовал книгу «К делу Корнилова», в которой дополнял Керенского «как участник корниловских событий». Но там нет самой этой первоначальной беседы генерала и террориста, которая почерпнута мною из рукописи Савинкова «О ген. Л. Г. Корнилове», оказавшейся в рассекреченных, в связи с гласностью, архивах и еще, видимо, не публиковавшейся.

18 и 19 июня 7-я армия, комиссаром которой был Савинков, потерпела серьезную неудачу. Зато 23 июня 8-я армия генерала Корнилова перешла в наступление, взяла Галич и более 7 тысяч пленных. И это подтвердило мысли Савинкова о том, что именно такой человек способен побороть неверие в победу солдат, развращенных, как он выражался, большевистской пропагандой, и железной рукой навести порядок в революционной армии.

Он поверял Корнилову. И поверил накрепко, до конца. Вернее, он верил в свою способность разбираться в людях, что было недалеко от истины.

В начале июля новый «комиссарюз» Савинков посылал обширные телеграммы Керенскому и Верховному главнокомандующему Брусилову, в которых расхваливал Корнилова и давал советы, как его поддержать. Керенский раздраженно ответил ему, что вмешательство комиссаров «в область стратегии» считает недопустимым.

Но не таков был Савинков, чтобы отступиться. Он продолжал настаивать, чтобы Корнилова назначили главнокомандующим Юго-Западным фронтом. Он шел дальше. Генерал для него «вождь, способный своим воодушевлением и порывом объединить и увлечь за собой всех колеблющихся и своей решительной волей закрепить успешное наступление».

Ни больше ни меньше. Ставка была сделана. Корнилов получил назначение...

Последняя корреспонденция В. Ропшина из действующей армии была написана под Тернополем в июле 1917 года. Кругом рвались вражеские снаряды, и автор вопрошал себя, достоин ли человек смерти от руки «кого-то невидимого, машинного». Наверное, впервые Савинков признался в страхе за свою жизнь, в унижении, вызванном этим чувством. Это какая-то муравьиная гибель. На него могли наступить, не ведая, что он оказался под пятой. А он

не бессловесный муравей, а разумное и сотворенное по образу Божию существо. Он испытал гнев и заставил себя встать с травы во весь рост под свист шрапнели.

Немцы прорвали фронт, наступая меньшими силами. Армия — ни к черту. Дороги и поля заполнили беглецы. Они бросали оружие и дезертировали тысячами. Фронтовой комиссар метался среди отступавших, напрасно выкрикивая эсеровские лозунги о земле и воле.

Стиснув зубы Савинков твердил эсеровское: «В борьбе обретешь ты право свое». Заставить стоять насмерть. Расстреливать... Но такого права у комиссара не было. Обсуждения, митинги, разговоры. Савинков с ненавистью думал о петроградских «говорунах», разложивших армию. Он предвидел «мрак, и кровь, и ужас, и унижение». Теперь он был уверен — «здесь нужна иная, жуткая власть». Расстреливать!

Корнилов шел со своим комиссаром рука об руку и требовал введения смертной казни, грозя сложить с себя полномочия главнокомандующего фронтом. 11 июля это требование поддержал Верховный главнокомандующий генерал Брусилов. Савинков бомбардировал Керенского телеграммами. «Я, со своей стороны, вполне разделяю мнение генерала Корнилова и поддерживаю высказанное им от слова до слова...»

По словам Савинкова, с назначением Корнилова главнокомандующим Юго-Западным фронтом они вместе начали яростную борьбу с «большевиками». Правда, под таким именем проходили все, кто подстрекал к невыполнению приказов, а среди них были и социалисты, и бывшие жандармы, и деятели «Союза русского народа», и офицеры, желавшие сделать карьеру на демагогии. Все они имели успех в полках, стоило им заговорить о прекращении войны. Корнилов приказал арестовывать их всех, и число «большевиков» значительно уменьшилось.

И еще в рукописи сказано: «Я взял на себя поэтому смелость 16 июля в Могилеве рекомендовать его особенному вниманию А. Ф. Керенского. И когда ген. Брусилов оставил Верховное главнокомандование, то на его место был назначен Временным правительством ген. Корнилов. Назначение это состоялось 17 июля».

Савинков все больше влияет на Керенского, который берет его с собой в Петроград. В поезде, а потом в Царском Селе они перебирают кандидатуры на посты министров. Савинков рассчитывает на пост военного и морского министра, и Керенский соглашается. Они вместе посещают Плеханова и предлагают ему министерство промышленности и торговли. Они планируют исключение из правительства эсеров Чернова и Скобелева и увеличение в нем числа кадетов.

Но осуществиться амбициям Савинкова не было дано. Напрасно он витийствовал в Малахитовом зале Зимнего дворца на совещаниях представителей различных партий. Вмешался «Петроградский Совдеп», и пост министра от Савинкова ускользнул. Сторонники твердой линии оказались в меньшинстве. Потом он писал, имея в виду июльский разгром большевиков в обвинение Ленина в получении немецких денег для разложения русской армии и заключения сепаратного мира: «Благоприятный момент национального подъема, вызванный июльскими днями на фронте и в Петрограде, не был использован».

Уязвленный, он просит Керенского разрешить ему вернуться на фронт, но тот настоял, чтобы Савинков принял должность управляющего военным министерством. Это было 26 июля.

Так и ставка, и бюрократический военный аппарат оказались в руках заговорщиков, стремительно продвинувшихся из армейского захолустья на самый верх. Это энергия Савинкова, изрядно полысевшего, но не утратившего гипнотического взгляда близко посаженных узких глаз, сводила Керенского с Корниловым. Они вместе с генералом убеждали заряженного неврастеническим энтузиазмом премьера в необходимости введения смертной казни, отмены знаменитого приказа № 1, вызвавшего солдатские и матросские самосуды и стоившего жизни стольким командирам, укрепления дисциплины и поддержки военной промышленности.

У Керенского общение с генералом, жаждавшим успокоения взбудораженной и неизвестно куда катящейся России, вызывал бонапартистский синдром, ощущение собственного величия, возникало обманчивое видение цели, к которой он поведет страну...

Ну, а Савинков? На этом этапе он предполагал использовать и силу Корнилова, и левофразерский энтузиазм Керенского для собственных дальних целей, о которых догадывались и от которых он потом открещивался. Он хорошо знал историю Французской революции, знал счет отрубленным головам, знал долгожитие Фуше и Талейрана — и соглашался на вторые и даже третьи роли ради налаживания самых обширных связей, с прицелом на развертывание собственной дисциплинированной организации в том случае, если время станет еще более смутным.

Савинков становился настолько заметной фигурой, что даже английский посол Бьюкенен писал в своем дневнике: «...Мы пришли в этой стране к любопытному положению, когда мы приветствуем назначение террориста, бывшего одним из главных организаторов убийства великого князя Сергея Александровича и Плеве, в надежде, что его энергия и сила воли могут еще спасти армию. Савинков представляет собой пылкого поборника решительных мер как для восстановлении дисциплины, так и для подавления анархии, и о нем говорят, что он просил у Керенского разрешения отправиться с парой полков в Таврический дворец и арестовать Совет. Излишне говорить, что такое разрешение не было дано...»

Эволюцию отношения Савинкова к Керенскому можно проследить по фразам из его писем к сестре Вере: «А. Ф. великолепен», «Наш лидер — непревзойденный акробат в политике...», «Может быть, один только он верит, будто в этих условиях видит компас...», «Сложно и нелегко, но все-таки я пришел к своей заветной цели — очистительной русской революции, у которой сейчас есть только один недостаток — это А. Ф.»

Вот оно! Для Савинкова премьер был и оставался либералом, а бывший террорист в своем политическом радикализме не уступал своим врагам — большевикам. Он превосходно знал их, как знал их, например, основатель русской социал-демократии Петр Бернгардович Струве, сказавший Шульгину еще в апреле, что Ленин — это «думающая гильотина». Савинков хотел упредить их хотя бы с помощью Корнилова, коль скоро его собственная партия социалистов-революционеров полагалась больше на предстоявшие выборы в Учредительное собрание, свободное волеизъявление народа, крестьянства, не желая замечать его политической аморфности, упивалась своим представительством во Временном правительстве, старалась забыть о былой славе Боевой организации. Савинков не забывал о ней никогда, трезво оценивая все возрастающую силу большевиков, гонимых и в силу этого все более сплачивающихся, распространяющих свое влияние, принимающих в свои ряды любые группировки социалистов, особенно ценя амбиции и спаянность евреев, охотно подверстывая в вожди их ненавидящих все русское лидеров, если они признавали авторитет и учение Ленина, политика до мозга костей, гениального политика, который крепко держал руку на пульсе народных настроений, выхватывал популярные лозунги у своих противников, делал ставку на классовую ненависть и менял курс мгновенно и расчетливо, как только видел возможность усилить позицию своей партии, нисколько не смущаясь «сентиментальными обвинениями» в отсутствии патриотизма, непоследовательности, измене демократическим идеалам, потому что в душе он всегда оставался верен идее безжалостного марксистско-пролетарского эксперимента в крестьянской России.

18.

Так что же такое был Савинков в те судьбоносные для Россия дни?

Ответ на этот вопрос дает Деникин в своих «Очерках русской смуты», написанных в академической, но вразумительной манере:

«Савинков порвал с партией (эсеров. — Д. Ж.) и с Советами. Он поддерживал резко и решительно мероприятия Корнилова, оказывая непрестанное и сильное влияние на Керенского, которое, быть может, увенчалось бы успехом, если бы вопрос касался только идеологии нового курса, а не угрожал Керенскому перспективой самоупразднения.

Вместе с тем Савинков не шел до конца и с Корниловым, не только облекая его простые и суровые положения в условные внешние формы «завоеваний революции», но и отстаивая широкие права военно-революционным учреждениям — комиссарам и комитетам. Хотя он и признавал чужеродность этих органов в военной среде и недопустимость их в условиях нормальной организации, но... по-видимому, надеялся, что после прихода к власти — комиссарами можно было бы назначать людей «верных», а комитеты — взять в руки. А в то же время бытие этих органов служило известной страховкой против командного состава, без помощи которого Савинков не мог бы достигнуть цели, но в лояльность которого в отношении себя он плохо верил.

Савинков мог идти с Керенским против Корнилова и с Корниловым против Керенского, холодно взвешивая соотношение сил и степень соответствии их той цели, которую преследовал. Он называл эту цель — спасением родины; другие считали ее личным стремлением к власти. Последнего мнения придерживались и Корнилов и Керенский». (Выделено мною.— Д. Ж.)

Характеристика Деникина нелицеприятна и верна. Но честолюбивым планам Савинкова не дано было свершиться. «У драмы было слишком много режиссеров», как выразился министр Временного правительства Терещенко.

Вот небольшая хроника, в которой фигурируют трое — Корнилов, Керенский, Савинков.

1 августа комиссар при Ставке Филоненко докладывает Савинкову, что в Могилеве назревает заговор. Вместе они идут к Керенскому, который, по словам Савинкова, «не придал значения нашим словам и даже сделал выговор Филоненке за вмешательство не в свое дело». Все трое знают то, что уже знаем мы, и совершенно непонятно, почему разыгрывается эта комедия.

3 августа Корнилов прибыл в Петроград для доклада Временному правительству. Савинков перехватил его и посоветовал действовать осторожно. Более того, во время доклада Савинков подстраховался, послав Керенскому записку: «Уверен ли министр председатель в том, что сообщаемые здесь Верховным главнокомандующим государственные и союзные тайны не станут известны противнику в товарищеском порядке?» Он намекал на социал-демократов и некоторых эсеров. Керенский передал записку Корнилову, и тот сократил свое сообщение. А потом подошел к Савинкову и спросил, уж не министра ли Чернова тот имел в виду. Савинков уклонился от ответа и просил приехать 10 августа, обещав подготовить докладную записку, отвечающую чаяниям обоих.

С 3 по 8 августа Савинков трижды сообщает Керенскому, что в военном министерстве готовится докладная записка с законопроектом о смертной казни в тылу и объявлении военного положения на военных предприятиях.

7 августа об этом поставлен в известность Корнилов, собирающийся приехать в Петроград 10-го. Керенский, знавший об этом, потом будет утверждать, что Корнилов был вызван Савинковым самовольно.

8 августа. В преддверии Московского Государственного совещания Савинков предо-

ставляет Керенскому и министру внутренних дел Авксентьеву списки лиц, подлежащих аресту на основании сведений контрразведки. Список правых подписывается, а почти все левые вычеркиваются. И в том числе — большевики. Савинков просит разрешения остаться с Керенским наедине, выражает возмущение по поводу большевиков и дает на подпись свою докладную записку о введении смертной казни. Керенский отказывается ее подписать. Савинков подает в отставку.

9 августа Керенский получает телеграмму от Корнилова: «До меня дошли сведения, что Савинков подал в отставку. Считаю долгом доложить свое мнение, что оставление таким крупным человеком, как Борис Викторович, рядов Временного правительства не может не ослабить престижа правительства в стране, и особенно в такой серьезный момент. При моем выступлении 14 августа я нахожу необходимым присутствие и поддержку Савинковым моей точки зрения, которая вследствие громадного революционного имени Бориса Викторовича и его авторитетности в широких демократических массах приобретает тем большие шансы на единодушное признание...» Керенский отставки Савинкова не принимает.

10 августа в Петроград приезжает Корнилов. На этом настоял Савинков. Ходили слухи, что Керенский хочет сместить Корнилова, арестовать, назначить самого себя Верховным главнокомандующим. Генерала сопровождал отряд текинцев в громадных бараньих папахах и алых халатах. Они поставили свои пулеметы у всех входов в Зимний дворец. Савинкову дали понять, что его присутствие при этой встрече нежелательно. Но в книге Керенского мы читаем:

«Оставшись с ним (Корниловым. — Д. Ж.) в кабинете с глазу на глаз, я пытался убедить генерала в том, что между ним с его окружением и Врем. прав-вом нет расхождений в целях, задачах работы в армии. Я доказывал Корнилову, что всякая попытка грубо перегнуть палку даст самые отрицательные результаты для самой же армии. Я повторил ему то, что еще в мае месяце говорил на фронте, — если кто-нибудь сделает попытку установить в России личную диктатуру, то он на другой же день останется в безвоздушном пространстве, без железных дорог, без телеграфа, без армии. Я указывал на ту страшную судьбу, которая ждет в случае попытки переворота офицеров.

— Ну что же, — как бы размышлял вслух Корнилов, — многие погибнут, зато остальные наконец возьмут армию в руки».

Странно, но Керенский, названный Лениным «корниловцем», действительно сочувствовал Корнилову, и недаром он потом цитировал слова Лавра Георгиевича, сказанные им в частной беседе Антону Ивановичу Деникину: «В правительстве сами понимают, что совершенно бессильны что-либо сделать. Они предлагают мне войти в состав правительства. Я им говорю: предоставьте мне власть. Тогда я поведу борьбу. Нам нужно довести страну до Учредительного собрания, а там пусть делают, что хотят: я устранюсь и ничему препятствовать не буду». Керенский считал это «политическим сумбуром и фантастикой, внушенными окружающими генерала политиканами», то бишь метил в Савинкова.

12 августа в Большом театре в Москве началось Государственное совещание, на котором присутствовали представители всех политических сил страны, кроме крайне правых и большевиков. Савинкову приехать на него Керенский не позволил.

13 августа в Москву прибыл восторженно встреченный правыми Корнилов. Они же неприязненно относились к Керенскому и говорили, что тот «едет в Москву короноваться». Возле него в зале все время торчали столбами два адъютанта. Стоя на трибуне в наполеоновской позе, засунув пальцы меж пуговиц френча, Керенский грозил большевикам «железом и кровью», но совещание оказалось триумфом Корнилова. Хотя Савинков убедил Керенского, что и у правых и у левых «в данный момент, в общем, цель одна — спасти Россию от анархии третьей силы», то есть от большевизма, Керенский то и дело с неудовольствием проводил рукой по своим волосам «ежиком», глядя на торжественную суету вокруг Корнилова, на прорывавшихся к генералу курьеров, на чтение телеграмм в его адрес со всей России. Речь Корнилова не была направлена против Временного правительства, как боялся Керенский, но генерал требовал порядка и еще раз порядка. Его выступление было встречено овацией, казаки предложили резолюцию о несменяемости главковерха, ораторы поздравляли Россию с обретением национального вождя. Каково было все это слушать Керенскому, с его-то тщеславием!

Кадеты со своим лидером Милюковым ездили на поклон к Корнилову. Они ставили в вину Керенскому то, что не сработал изданный Временным правительством кооперативный закон, что вся страна пришла в разброд и шатание, что в стране не работали и военная промышленность сократила производство на 60 процентов, что участились катастрофы, и даже в дни совещания взрывом пороховых заводов и артиллерийских складов в Казани было уничтожено до миллиона снарядов, 12 тысяч пулеметов, погибло много народу, что в армии участились случаи самосудов, что целые села дрались друг с другом за право пограбить помещичьи имения. По свидетельству Деникина, «целые области, города, губернии порывали административную связь с центром, обращая русское государство в ряд самодовлеющих и самоуправляющихся территорий, связанных с центром почти исключительно... неимоверно возросшей потребностью в государственных денежных знаках». Правда, несмотря на инфляцию, продовольствие в лавках еще было. Его не станет через несколько месяцев, когда оно почти полностью заменится революционной фразой.

В своих воспоминаниях Милюков уверял, что Савинков будто бы все-таки присутствовал на совещании в Москве и даже беседовал с ним, наблюдая из-за кулис за Керенским и уверяя, что премьеру трудно отказаться от завоеваний революции, которая его породила.

Савинков это отрицал. Он писал о том, что 17 августа, в день своего возвращения в Петроград, Керенский вызвал его и, «очень волнуясь, заявил, что на Государственном совещании «контрреволюция» подняла голову, что в этом виновен я, что мой план известен ему, что я хочу, чтобы вместо одного его, Керенского, государственную политику направляло три человека — Керенский, Корнилов и я, и что он этого не допустит».

Однако Керенский, разрываясь между приверженностью к демократии, воплощением которой он считал собственную персону, и страхом перед большевиками, все-таки попросил Савинкова, в очередной раз подавшего в отставку, не уходить и согласился на разработку законопроекта о военно-революционных судах и смертной казни в тылу.

К 20 августа законопроект был готов. Савинков доложил его Керенскому и вырвал его согласие на объявление в Петрограде и его окрестностях военного положения и прибытие туда военного корпуса. «Я опять испытал чувство большого удовлетворения, — писал Савинков. — Казалось, что Керенский окончательно и бесповоротно становится на дорогу, указанную ген. Корниловым».

И опять странность. Керенский посылает Савинкова в Ставку расследовать слухи о заговоре в пользу Романовых и в то же время просит ходатайствовать перед Корниловым о присылке конного корпуса в Петроград. Но это уже для защиты своего правительства.

Корнилов встретил Савинкова крайне раздраженно.

— Я не могу больше служить правительству во главе с этим слабохарактерным Керенским, с этим совершенно не подготовленным к государственной деятельности Авксентьевым и Черновым, с его подозрительными связями...

Савинков слушал мнение генерала о своих коллегах по партии с усмешкой. Он молча раскрыл портфель и выложил на стол законопроект о смертной казни в тылу. Хоть и не подписанный Керенским, документ успокоил Корнилова.

— Несмотря на мое личное отношение к министру-председателю, передайте ему, что для блага отечества я буду верно служить Временному правительству.

Он смотрел в глаза Савинкову, надеясь на его понимание. И повторил эту фразу на другой день, провожая его на вокзале.

Но 24 августа Савинков снова в Могилеве. Генерал от инфантерии Корнилов, генерал-лейтенант Лукомский и генерал-лейтенант Романовский предусмотрительно занесли указания Савинкова едва ли не дословно в протокол. Вот выдержки из него:

«...Лавр Георгиевич, ваша требования будут удовлетворены Временным правительством в ближайшие дни, но при этом правительство опасается, что в Петрограде могут возникнуть серьезные осложнения. Вам, конечно, известно, что примерно 28 и 29 августа в Петрограде ожидается серьезное выступление большевиков... Поэтому прошу вас отдать распоряжение о том, чтобы 3-й конный корпус был к концу августа подтянут к Петрограду и был предоставлен в распоряжение Временного правительства. И в случае, если, кроме большевиков, выступят и члены СР и СД, то нам придется действовать и против них...»

Савинков не хотел, чтобы корпусом командовал генерал Крымов. Он считал, что тот слабоват для «самых решительных и беспощадных действий». И еще он просил Корнилова телеграфировать о времени выступления, чтобы объявить петроградское военное губернаторство на военном положении и опубликовать новый закон о смертной казни в тылу.

Но послушаем, что говорит сам Савинков об этом же. У него, мол, было разномыслие с Корниловым, который полагал, что комиссары и комитеты должны быть упразднены. Савинков же требовал судить комитетчиков, а компетенцию комиссаров расширить.

«Несмотря на заявление ген. Корнилова, что ввиду наметившегося изменения государственной политики он будет верно служить Временному правительству, я уезжал из Ставки с большим беспокойством. Я знал, что заговор существует», — писал Савинков.

Так что же такое заговор в понимании Савинкова? Пожалуй, лишь то, что противоречило его собственным замыслам.

В Петрограде его уже ждала телеграмма Корнилова с вопросом, подписал ли Керенский законопроект о смертной казни. «Я знал, что отвергнуть законопроект — значит дать Ставке повод к восстанию и тем положить конец надежде возрождения боеспособности армии».

25 и 26 августа Савинков брал Керенского буквально за горло и был даже груб:

— Александр Федорович, законопроект изготовлен по вашему приказанию. Ваша нерешительность преступна. Ваше слабоволие погубит Россию. Если бы передо мной были не вы, Керенский, я бы разговаривал с таким человеком другим языком...

Керенский выслушал его потупя глаза, взял законопроект, обещал подписать его и вечером обсудить на заседании правительства. Савинков ликовал, но, как оказалось, зря...

26 августа вечером он приехал на заседание правительства, но был тотчас вызван из Малахитового зала в кабинет Керенского. Тот молча протянул исписанный листок бумаги. Это был так называемый «ультиматум Львова». В нем за подписью бывшего главы Временного правительства содержалось требование передачи всей полноты военной и гражданской власти Верховному главнокомандующему.

— Это какая-то мистификация, — сказал Савинков, ничего не знавший о поездках князя Львова в Ставку.

Тогда Керенский протянул Савинкову телеграфную ленту с записью его разговора с Корниловым. В ней не было текста

ультиматума. Был короткий вопрос Керенского, подтверждает ли Корнилов то, что говорил Львов. «Да, подтверждаю», — ответил Корнилов.

Савинков не верил своим глазам. Корнилов обещал ему в Ставке поддерживать Керенского для блага отечества. Борис Викторович стал уговаривать Александра Федоровича войти в соглашение с Лавром Георгиевичем, а «ультиматум» похерить без огласки, чтобы не было «соблазна».

Потом Савинков удивлялся, как Керенский мог ограничиться таким коротким запросом о деле огромного государственного значения и как Корнилов мог подтвердить то, содержание чего ему не было известно. Он был уверен, что речь шла о директории с участием Керенского, Корнилова и его самого. Но в передаче Львова получился «ультиматум».

— Это недоразумение, — сказал Савинков. — Свяжитесь с Корниловым.

— Поздно, — ответил Керенский

Он уже послал Корнилову телеграмму, отрешая его от должности и приказывая покинуть армию. И без совета с правительством, за одной своей подписью «Керенский».

Савинков сам взялся вести переговоры с Корниловым по прямому проводу, поддерживаемый П. Н. Милюковым и В. А. Маклаковым. Он пытался склонить генерала на компромисс с Временным правительством.

Но когда он 27 августа появился в Зимнем дворце, его встретили словами:

— Покамест вы разговариваете по проводу, ингуши подходят к Петрограду.

На Петроград двигался конный корпус Крымова с Дикой дивизией в авангарде. Керенский, почувствовав, как под ним проваливается председательское кресло, воззвал: «Всем! Всем! Всем!» Корнилов объявлялся изменником.

«В ночь на 28 августа ген. Алексеев, Терещенко и я, — писал Савинков, — уже безнадежно обсуждали вопрос, как потушить разгорающийся пожар, а утром я спросил Керенского, понимает ли он, что армия после удара, нанесенного ей, погибнет. Керенский мне ответил, что армия не погибнет и что, напротив, воодушевленная победой над контрреволюцией, она ринется на германцев и победит».

И тут же назначил Савинкова военным губернатором Петрограда. Его, целиком разделявшего корниловскую программу наведения порядка в стране.

«Я принял это поручение, — сказано в упоминавшейся рукописи Савинкова, — по двум причинам. Во-первых, глубоко веря в бескорыстие и беззаветную любовь к родине ген. Корнилова, я не имел оснований относиться с тем же доверием к некоторым из окружавших его лиц. Более того, я подозревал этих лиц в стремлениях монархических и опасался, что в случае удачи предприятия ген. Корнилова не он, ген. Корнилов, станет во главе правительства и будет руководить правительственной политикой, а управлять Россией будут люди, едва ли в такой же мере, как он, одушевленные любовью к России. Во-вторых, я, как военнослужащий, считал своим долгом беспрекословно исполнять приказания моего непосредственного начальства, даже в случае, если я с этими приказаниями не согласен».

Савинков категорически отрицал свое участие в заговоре, как «политически ошибочном», не верил в успех вооруженного выступления, еще дважды говорил с Корниловым по прямому проводу.

Судьба выступления Корнилова оказалась бесславной. Керенский вызвал к себе Крымова, накричал на него, заставил показать приказ Корнилова о том, что корпус идет на помощь Временному правительству, против большевиков. Керенский утверждал, что корпус идет именно против правительства. Через полтора часа после этого вконец запутавшийся генерал Крымов застрелился. Горцы из Дикой дивизии братались со стрелками в Царском Селе. Казаки в Луге заявили, что против Временного правительства они не пойдут. Сторонники Корнилова в Петрограде не выступили. Вооружались отряды Красной гвардии, и большевистская пропаганда повсюду одерживала верх.

Но Керенский пережил серьезное потрясение. Министры, как крысы, бежали из Зимнего дворца. Премьер не верил даже юнкерскому караулу и велел его сменять каждый час.

«Как раз в эту ночь (28-го. — Д. Ж.), — писал Керенский, — ко мне приходили из ВЦИК Съезда Советов предлагать коренной перелом всей политики Временного прав-ва. Объединенные, мол, вокруг правительства Советы, социалистические партии, включая и отрезвевших под отдаленный топот конницы Крымова большевиков, и прочие демократические организации должны спасти страну, взяв в руки власть... без буржуазии».

Это случилось позже, а теперь Керенский кричал:

— Никогда!

Но большевизация Советов уже началась. Это «никогда» было сказано слабым человеком. Он, желавший «сломить генеральское безумие национальным единением всех социально-творческих сил — сил труда и капитала», потерял поддержку и верхушки армии, и Советов. Большевики, через семьдесят с лишним лет после событий 1917 года отправляющие труд на выучку к капиталу, должны были бы поставить Керенскому памятник.

Савинкову не верили. Каждый его шаг контролировали Чернов, Гоц и другие товарищи по партии. В его штабе сидели делегаты от ВЦИК. От него требовали разоружения военных училищ.

31 августа Керенский по телефону уведомил Савинкова, что его увольняют от должности генерал-губернатора. Тот подал в отставку и с должности управляющего военным министерством. Чернов в своей газете «Дело народа!» требовал ареста Савинкова. Его вызвали на заседание ЦК

партии эсеров, чтобы он дал объяснения. Савинков отказался делать это в присутствии Натансона, который, по данным разведки, поддерживал сношения с немцами. И был исключен из партии эсеров.

А генералы Корнилов, Деникин и другие были арестованы. Будущий основатель белого движения генерал Алексеев писал тогда Милюкову, умоляя о помощи:

«Усилия лиц, составляющих правительство, сводятся к тому, чтобы убедить всю Россию, что события 27—31 августа являются митежом и авантюрой кучки мятежных генералов и офицеров, стремящихся свергнуть существующий государственный строй и стать во главе управления... а потому кучка эта подлежит преданию самому примитивному из судов — суду военно-революционному — и заслуживает смертной казни. В этой быстроте суда и в этих могилах должна быть скрыта вся истина — действительные цели движения и участие в деле членов правительства...»

Алексеев просил предать гласности то, что «выступление Корнилова не было тайною от членов правительства. Вопрос этот обсуждался с Савинковым, Филоненко и через них — с Керенским... Участие Керенского бесспорно. Почему все эти люди отступили, когда началось движение, почему они отказались от своих слов, я сказать не умею...»

Керенский в своем «Деле Корнилова» делает попытку выгородить Савинкова, а заодно и себя:

«Да, Савинков виноват, но не в сговоре с Корниловым, не в том, что, как думает Алексеев, через него я был заранее «осведомлен» о выступлении Корнилова. Но виноват в том, что, совершенно не отдавая себе отчета в фигуре и настоящих намерениях Корнилова, он бессознательно содействовал ему в его борьбе за власть, выдвигая Корнилова как политическую силу, равную правительству. Виноват в том, что, выступая в Ставке, он превышал данные ему полномочия и действовал не только в качестве моего ближайшего помощника, но и самостоятельно ставил себе особые политические задачи. Виноват в том, что, недостаточно осведомленный об общем положении государства и после долгого заграничного изгнания не разобравшийся еще в политических отношениях и действительных настроениях масс, он самоуверенно начал вести личную политику, совершенно не считаясь с опытом и планами даже тех, кто его выдвинул на исключительно ответственный пост, взяв на себя формальную ответственность за всю государственную деятельность. Но, какова бы ни была моя личная оценка такого поведения Савинкова, я должен решительно протестовать против относящегося к Савинкову и сделанного на 4-м съезде партии с.-р. 26 ноября заявления В. М. Чернова о том, что в деле Корнилова «более чем двусмысленная, можно сказать, предательская роль выпала на долю человека, который когда-то был членом партии с.-р.». Никаких данных для подобного заявления «Дело Корнилова» не дает. Бросать подобное, более чем неосторожное обвинение было особенно недопустимо в такое время, какое переживала Россия в ноябре прошлого года, — время разгула кровожадных инстинктов».

Любопытно, что речь идет о партии эсеров, собравшейся на свой съезд через месяц после октябрьского переворота, после бегства Керенского, после состоявшихся 12 ноября выборов в Учредительное собрание, когда эсеры получили большинство голосов и мандатов, а за большевиков голосовало лишь 25 процентов избирателей, после занятия 20 ноября большевиками Ставки в Могилеве и убийства Верховного главнокомандующего генерала Духонина.

С тех пор стало обычным «отправлять в штаб Духонина», то есть расстреливать на месте любого без суда и следствия.

Даже не питая особых симпатий к Савинкову, можно сказать, что он, воспитанный на политических убийствах, понимал лучше других, куда идет Россия, пытался остановить ход истории. Потом он скажет: «Временное правительство в то смутное и грозное время стояло перед двумя опасностями: большевики с подготовленным взрывом анархии и вся, оставшаяся от царского времени, еще живая и деятельная реакция. Что касается этой реакции, то здесь Керенский еще мог рассчитывать на какую-то, хотя бы временную, компромиссную ситуацию, исходя из надежды, что эти «дети монархии» понимают, что большевистская анархия — это гибель для всех. А она — эта анархия — уже ломилась в двери России...»

Все здесь говорит о двойственности положения Савинкова. Всю жизнь он ненавидел монархию, боролся с ней. Изменить этой идее — значило бы потерять лицо. Но, как радикально настроенный революционер, он не мог не понимать, что с приходом к власти еще более радикально настроенных большевиков будет уничтожена сама сущность России, которую он все-таки любил, и прольются моря крови во имя чуждого ему социального эксперимента. Волевой, сильный, он метался между двумя ненавистями и остатками своей любви к крестьянской России, осуждаемый даже своими собратьями-эсерами, не понимавшими, по его мнению, что лозунг «земля и воля» надо не уступать, а защищать с оружием в руках.

Савинков закончил свою записку «Ген. Л. Г. Корнилов» так:

«Не мне судить, кто виноват в этом. Рассудит это бесстрастный и гласный суд. Но будущий историк не пройдет молчанием этой загадочной страницы истории революции российской».

Он сетовал, что рушилось задуманное, спрашивал, кому нужно было сделать врагами Корнилова и Керенского? «Кому, наконец, было нужно, чтобы русская армия осталась немощной и в стране вместо законности воцарился самосуд?»

Савинков на собственные вопросы не ответил, но считал, что «Россия не забудет ген. Корнилова, который, быть может, сделал ошибку, быть может, совершил пре-

ступления, но который всей своей жизнью доказал, что он верный сын своей родины и бескорыстнейший защитник ее».

Корниловские дни потом найдут свое отражение в письме к сестре Вере, которое напомнит и ей, и нам, что он еще и талантливый литератор Ропшин. Он скажет, что к нему иногда «прилетает ощущение, будто все мы босиком ходили по битому стеклу, уже не чувствуя боли своих окровавленных ног...» Ардаматский приведет эти слова в своей книге «Возмездие» и скажет, что это литературное кокетство. А что тогда литература?

«Это были дни всеобщего безумия, когда никто не знал, что он скажет через минуту и как он поступит через час, — писал Савинков. — Теперь мне иногда слышится оттуда страшная какофония, будто взбесившаяся обезьяна играет на рояле, вырывая клавиши и струны. И страшно, потому что неизвестно, куда бросится обезьяна, покончив с роялем...»

Но Ардаматский был прав, когда заметил, что и Савинков был среди тех, кто выпустил на волю бешеную обезьяну.

19.

Что делал после 31 августа Савинков, сказать трудно. Назначенный Керенским «в распоряжение Временного правительства», он списывается с родными и знакомыми, публикует статьи в газетах, оправдываясь и нападая на эсеровское руководство, наблюдая, как большевики овладевают Советами, готовятся к вооруженному перевороту, а Керенский тщетно пытается противостоять этому, созывая Демократическое совещание и создавая Совет Республики, окрещенный «Предпарламентом». Скорее всего, он расширял свои связи в среде растерявшегося офицерства... Но перемещение его из центра событий на их обочину совершенно определенно.

Главным источником, из которого можно почерпнуть сведения о деятельности Савинкова с 25 октября 1917 года, становится книжица очерков «Борьба с большевиками», изданная в Варшаве в 1920 году. В ней и за ней великое множество событий, приключений, встреч. В ней выразительные штрихи эпохи.

В то знаменательное утро Бориса Викторовича разбудил настойчивый звонок. Дверь пошел открывать Флегонт Клепиков, юнкер Павловского училища, молодой наперсник, адъютант, телохранитель, друг Савинкова. За дверью стоял незнакомый офицер.

— В городе восстание, — взволнованно сказал он. — Большевики выступили. Я к вам от имени офицеров штаба округа, за советом.

— Чем могу служить?

— Мы решили не защищать Временного правительства.

— Почему?

— Потому что мы не желаем защищать Керенского.

Накануне Савинков слышал то же самое в Совете Союза казачьих войск, в котором состоял.

Первым делом они с Флегонтом отправились в Мариинский дворец, где заседал Предпарламент. Но эту организацию уже разогнали матросы.

На Миллионной ему встретились большевики — солдаты Павловского полка. Они шли к Зимнему дворцу. Их было всего полтораста человек, и Савинков подумал, что разогнать их хватило бы одного пулемета. Но сколько ни доказывал в тот день Савинков, что договорено же было — как только большевики выступит, разгромить их, никто его не слушал, Керенского не хотели защищать ни эсеры, ни меньшевики, ни военные.

К ночи он нашел генерала Алексеева, и они решили сделать попытку снять осаду Зимнего дворца. В час ночи Савинкову удалось убедить представителей казачьих полков и военных училищ помочь Зимнему. Но было уже поздно. В два часа дворец пал.

На другой день Савинков узнал, что на Петроград идет генерал Краснов. Переодевшись рабочим, он в сопровождении верного Флегонта выехал на автомобиле в Павловск. Там сказали, что войско Краснова и Керенского уже под Царским Селом.

В Царском Селе его окружила рота гвардейского стрелкового полка.

— Кто едет?

Флегонт Клепиков выскочил из автомобиля и стал кричать на большевистского командира:

— Вы с ума сошли! Кто вы такой? Разве вы не видите, кто мы и куда мы едем? Я буду жаловаться самому Троцкому! Мы из Совета Союза казачьих войск и едем к генералу Краснову, чтобы убедить казаков не стрелять в своих братьев-большевиков!

Их пропустили. И даже дали двух провожатых.

Через пять минут они были у Краснова. Провожатые все поняли сразу и побледнели. Но Савинков был великодушен.

— Ну, «товарищи», налево кру-гом и бегом марш назад, к вашим большевикам.

В Петрограде говорили, что у Краснова 10 тысяч казаков, на деле же их оказалось всего 600.

Утром 28 октября Савинков добрался до Гатчины, где обосновался Керенский. И они повздорили. Керенский сказал, что Савинков — «контрреволюционер», что революция в нем не нуждается. Но потом смирился.

Савинков вернулся к Краснову, который боялся, как бы в Царское Село не приехал Керенский и не испортил все дело своими речами. Но тот и в самом деле явился и произнес речь в парке перед большевистскими солдатами и перед казаками. По словам Савинкова, большевики почему-то кричали ему «ура». К вечеру Краснов занял Царское Село. Савинков предложил Краснову убрать Керенского и самому стать во главе: «С вами и за вами пойдут все».

Но Краснов не самообольщался.

Савинков ночевал на квартире у жившего там Плеханова. Это была их последняя встреча. Плеханов спросил:

— Что же, если казаки победят, Керенский на белом коне въедет в Петроград?

Савинков промолчал.

— Бедная Россия! — только и сказал Плеханов.

30 октября 600 казаков Краснова перешли в наступление. Под Пулковом их встретили мощным огнем артиллерии. Грохотало так, что оглохший Краснов достал лист бумаги, что-то написал и протянул Савинкову. Тот прочел:

«У нас нет больше ни снарядов, ни ружейных патронов. Что делать?»

Савинков написал на бумаге ниже:

«Отступать к Гатчине и ждать обещанных подкреплений».

Они так и сделали.

«...Утром 31 октября я созвал военный совет, — вспоминал Керенский. — Присутствовали ген. Краснов, его начальник штаба полк. Попов, помощник командующего войсками Петербургского военного округа капитан Кузьмин, начальник обороны Гатчины Савинков (об этой своей миссии Савинков не вспоминал никогда. — Д. Ж.)... Только два мнения — Савинкова и мое — были поданы за безусловный отказ от переговоров...»

По Савинкову, мнения разделились иначе. Часть офицеров и он высказались за то, что Гатчину надо защищать. Комиссар Северного фронта Станкевич был за мир с большевиками. С этим согласился и Керенский, пославший его на свидание с Троцким.

И все-таки Савинков настаивал на том, что он лично съездит за подкреплением в польский корпус генерала Довбор-Мусницкого. Керенский возражал:

— Подкрепления не подойдут. Мы окружены. Вы никуда не проедете. Большевики вас убьют по дороге.

Но Савинков поехал. Вечером он зашел попрощаться. Керенский лежал на диване. В камине горел огонь. У огня грелись адъютанты Керенского поручик Винер и капитан 2-го ранга Кованько.

Керенский с дивана не встал.

— Не ездите, — сказал он.

— Почему?

— Вы никуда не доедете. Мы окружены... Все пропало.

Тогда Савинков спросил:

— А Россия?

Керенский закрыл глаза и прошептал:

— Россия? Если России суждено погибнуть, она погибнет... Россия погибнет... Россия погибнет...

Это была их последняя встреча. Впоследствии о совместной их с Керенским деятельности Савинков писал из Варшавы к сестре в Прагу:

«До сих пор не могу разобраться, какова была там моя роль? Не то я его охранил, не то я ему что-то советовал, не то я его сдерживал, не то толкал. Могу сказать одно — в безалаберщине, которую буквально излучал Керенский, я активно участвовал».

Через час Савинков ехал к Луге в автомобиле, принадлежавшем комиссару 8-й армии Вендзягольскому. И все с тем же Флегонтом Клепиковым. Страхи Керенского оказались напрасными. Гатчина не была окружена.

По дороге Савинков заезжал в штабы воинских соединений. Но генералы не собирались выступать на выручку к Керенскому, на карьере которого история в это самое время ставила точку.

В 10 утра казаки-парламентеры вернулись в Гатчину с наркомвоенмором большевистского правительства Павлом Дыбенко, совсем молодым, белозубым, бородатым и, по мнению Краснова и казачьих офицеров, обаятельным. Он требовал выдачи Керенского, сыпал шутками. Кто-то сказал о немецком шпионе Ленине, и Дыбенко весело откликнулся, что он согласен обменять голову на голову... Шутка эта потом стоила ему очень дорого.

А на верхнем этаже дворца метался Керенский. Он подозревал Краснова в предательстве и вызвал его. Тот говорил, что тянет время до прибытия подкреплений, но и не исключал того, что Керенскому с хорошим эскортом придется поехать в Петроград и там договариваться со Смольным... Замкнутый прямоугольник дворца имел один выход. Кто-то из местных сказал, что знает потайной подземный ход. За десять минут до того, как за ним явились казаки, Керенский ушел, «нелепо переодетый», и растворился в политическом небытии...

Весть об этом догнала Савинкова. В Луге повсюду толпились солдаты. На путях стояли эшелоны 33-й и 3-й Финляндской стрелковых дивизий. Но тут уже распоряжался Дыбенко, занявший по иронии судьбы один из постов, который был у Савинкова во Временном правительстве. Офицеры не знали, кому подчиняться...

Савинков добрался до Пскова, но и там большевики пропагандировали солдат. Лозунг о немедленном мире действовал безотказно. Пришлось вернуться в Петроград. Там только что закончилось неудачное выступление юнкеров. Еще гремели выстрелы. В середине ноября Савинков уже подался через Москву и Киев на Дон, к генералам Каледину и Алексееву, к бежавшим туда из тюрьмы в Быхове Корнилову и Деникину.

В Москве он увидел развороченные здания, а на Курском вокзале солдаты при нем со смехом бросили под поезд двадцатилетнего поручика, не пожелавшего снять погоны.

Пять дней они с Вендзягольским и верным Флегонтом ехали от Москвы до Киева. В двухместном купе было десять человек, и все костерили «грязных буржуев». Савинков со спутниками отвечали по-польски. За Киевом в вагон ввалились матросы.

— У кого есть оружие?!

За оружие расстреливали на месте. Савинков со своими спутниками опустили руки в карманы. Воцарилось тягостное молчание. Один солдат сказал:

— Это поляки.

— Поляки?.. Товарищи, лучше нам отдайте оружие, ведь все равно казаки отберут.

А им и надо было к казакам. Веидзягольский показал фальшивые удостоверения, в которых значилось, что они едут по делам польских беженцев.

Когда они сошли в Ростове, под Нахичеванью шел бой — от Аксайской станицы наступал Каледин. Еле наняли извозчика. В открытом поле мела пурга. На солдатской заставе опять выручили польские документы. Казаки же поволокли их в Аксайскую, где Савинкова узнал станичный атаман...

В отчете о суде над Борисом Савинковым, опубликованном в 1924 году, его рассказ о тех днях звучит так:

«Я сразу же по приезде беседовал с покойным Митрофаном Богаевским (казачьим атаманом. — Д. Ж.). Я пытался доказать ему, — и об этом очень много и упорно говорил и это было целью моей поездки на Дон, — говорил с Калединым, Красновым, Алексеевым и всеми членами Донского гражданского совета, что совершенно невозможно бороться против вас (большевиков. — Д. Ж.), не опираясь на крестьянство, что настоящая Россия в огромной степени — крестьянство, и что надо бороться с вами, защищая интересы крестьянства, для крестьянства и во имя крестьянства, иначе борьба должна окончиться неудачей. Богаевский мне на это ответил (и меня это поразило): «Нет, время демократии прошло. Мы рассчитываем на буржуазию и казаков».

Кроме того, в Новочеркасске он встречался с Корниловым, бывшим министром торговли и промышленности Федоровым, кадетами Парамоновым и Струве, а также с монархистом Шульгиным. Все вместе они не нравились Савинкову, а бывший террорист не нравился им, особенно последнему. Большую часть объединяла поддержка Учредительного собрания и всех — неприятие позорного Брест-Литовского мира.

Савинкова неприятно поражали интриги, пьянство офицеров. Его демократическое сердце обливалось кровью, когда он слышал на улицах монархическое «Боже, царя храни», хотя руководители Добровольческой армии соглашались с его словами об опоре на крестьянство и о демократическом устройстве будущей России. Был случай, когда к нему на квартиру явился офицер с намерением убить, но был парализован гипнотическим взглядом Савинкова и сознался, что его послали...

На процессе он объяснил:

«Почему же я тогда пошел к Каледину и Корнилову? Что же мне было делать: один бороться я не могу. В эс-эров я не верил, потому что видел их полную растерянность, полное безволие, отсутствие мужества... А кто боролся? Да один Корнилов! И я пошел к нему.

Когда я уезжал, в мою память врезалась картина, которая надолго осталась передо мной и сейчас стоит передо мной. Это мое последнее впечатление о Доне. Я с Алексеевым и его молодым адъютантом офицером вышли вечером после какого-то совещания. Вдруг из темноты появилась какая-то фигура со штыком и замахнулась на Алексеева. Я помню, как молодой офицер бросился на него, как кошка, и повалил. На вопрос Алексеева, кто вы такой, он ответил: я доброволец офицерского полка в патруле. Вот этот офицерского полка доброволец в патруле в пьяном виде замахивается на своего главнокомандующего. Вот с чем я там встретился».

Продолжение следует



КРИТИКА

Круг чтения

ДВА ПОРТРЕТА

Леонид БОРОДИН
«ЖЕНЩИНА В МОРЕ...»
журнал «Юность», № 1, 1990

И рассказы, опубликованные в конце прошлого года «Юностью», и повесть «Третья правда», с которой, в частности, начал в 1990 году публикацию своей прозы «Наш современник», говорят о том, что в отечественной литературе (пусть с обидным — да мы уж к тому привыкли! — опозданием) появилась подлинно значительная и очень интересная фигура.

Главное и самое интересное в повести «Женщина в море...» — синтез, союз двух нравственно-философских «портретов». Один авторский, так сказать, автопортрет; другой — совмещенный, слитный Людмилы и Валерия.

Это встреча, столкновение двух поколений, «шестидесятника» и — нынешних... Оба «портрета» равно важны для идейного пейзажа повести, но с большим интересом знакомишься со вторым, рисующим «нынешних».

Может быть, дело тут в том, что авторская самохарактеристика для меня, родившегося в тридцать девятом, менее интригующа, поскольку куда более знакома... Она в какой-то весьма и весьма приблизительной степени, и моя тоже, да и вообще многих и многих из этого поколения, прошедших и через «сталинщину», как ныне принято выражаться, и через последующий кратковременный галоп властью облеченных лиц, и через хрущевский «волюнтаризм», и многое другое, вплоть до нынешних «судьбоносных» дней и событий.

Мы, люди этого поколения, крепко биты и хорошо мечены выпавшим нам временем, которое упорно заставляло, вынуждало, если ты был не безнадежно глуп и не абсолютно бесстыден, постоянно сомневаться в правоте и справедливости вокруг происходящего, мазохистски влагая персты в зудящие раны... В комнатенках студенческих общежитий, на наших кухнях, в сигаретном чаду мы судили и рядили в жарко ниспровергали. Мы говорили о том, что Леониды Бородины (а стало быть, и главный герой «Женщины в море...») — делали... Разница громаднейшая. Но все же, все же: «портрет» этого героя, свод его мыслей, его принципов — это и про нас, про то поколение. Зеркало, пусть и отдаленное, стоящее — над.

А вот нынешние... Это очень странная, занятная публика, и было, было отчего заинтересоваться бородинскому герою, этому угрюмому, меченному шрамами политических конфронтаций и битв волку!

Нынешние — другие... Во всем. Мы, мое поколение, время от времени сталкиваемся с ними жизнью, и странное возникает тогда ощущение... Во всем — словно трещинка какая-то, сквозящий и ощутимый надлом.

Они беспризорны и — ранимы. Легки и лихи на быстрые контакты, на «любовь» и внутренне очень требовательны, избирательны, избирательны и к ней же. Безапелляционны и скоры в суждениях (часто — весьма поверхностных и незрелых), но очень внимательно и думающе слушают, когда мы, тертые и умудренные, вдруг открываем уста... Они путаются у нас под ногами, как искалеченный, покореженный подлесок, которому если и стать «стволами», лесом — то каким-то совсем иным, нам до сих пор неведомым.

В сущности, они более всего напоминают заблудившихся, растерянных и оттого фрондирующих детей, среди которых что-то не видно «своего» мальчика-с-пальчика, способного пометить голышами единственно необходимую, верную дорогу. Они и не ищут его среди своих, не веря, видимо, в возможность подобного появления, и часто склонны смотреть на нас... Пока, всё еще.

Оттого контакты с ними — большая ответственность, и думаю, что герой бородинской повести не мог этого не почувствовать. Встреча с Людмилой и Валерием с неопровержимой полнотой дала ему понять, что вокруг него, стойко живущего понятиями и принципами прежней борьбы, неуступчивости миру ни в чем, зародился и бурно пошел в рост какой-то новый, неведомый процесс... Прожив полжизни, нельзя не сопоставлять, герой это и делает, и что же?

«Передо мной поколение, которого я совсем не знаю».

«Во всем, что они (Людмила и Валерий. — И. Ш.) сделают, не будет ни моей вины, ни моей заслуги...»

«...Увязавшись третьим лишним... Я вопиюще лишний на катерке, я лишний в море...»

Все отыгрывается сперва назад, в свое прошлое, в свою память; потом — вперед, в нынешнее, сегодняшнее, к Людмиле и Валерию, их «случаю», их жизни... И тут — стоп, пробуксовка: нет сцепления. То есть почти нет, ибо оно далеко не во всем

удовлетворяет самого героя, привыкшего в своих жестких, драматичных пятидесятых и шестидесятых к иным формам сообщества, иному отношению к помощи, обещанию, слову, ко всему, без чего нельзя жить, уважая себя и других...

То тяжелое, проклятое и прекрасное время выковало в поколении героя неуступчивую определенность суждений и оценок; эта неуступчивость, и только она, держала «на плаву», помогала выжить. И вот ныне вдруг оказывается, что выработанная, выстраданная система для «нынешних» — анахронизм. Ее можно и, пожалуй, следует уважать, но жить по ней...

Воистину: «Земную жизнь пройдя до середины, я очутился в сумрачном лесу»... Встречей с Людмилой и Валерием герой внутренне не в малом поколеблен, если не сбит: он ощущает, что у него с ними — родственное неродство, и очень тяжко от этой половинчатой двойственности. Казалось бы: кто он и кто они, какой разный багаж за плечами! Остановиться бы на этой гордо-спасительной мысли, усмехнуться снисходительно, отринуть, забыть... Не получается. Отчего же?

Тут не обойтись без маленького историко-литературного экскурса... Бородинская «Женщина в море...» написана, на мой взгляд, как некий современный парафраз к лермонтовской «Тамани». Ведь в предисловии к ней, в «Журнале Печорина» можно увидеть вот такие строки:

«История души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа, особенно когда она — следствие наблюдений ума зрелого над самим собой...»

Здесь ключ к верному и глубинному пониманию бородинской повести, и, не овладев им, можно и впрямь близоруко ограничиться лишь фабульной основой про любовный «треугольник» да современную мафию, брезгливо увидев во всем этом лишь «пошлость» (мне приходилось выслушивать подобные оценки).

Наблюдения ума зрелого над самим собой... Точнее — применительно к «Женщине в море...» — не скажешь. Повесть идет и растет из этого и одного корня: сегодняшнего самоосмысления ее главного героя, вступившего сложившимся и прежним (по-иному он не может!) в нынешнее время, нынешнее море людских взаимоотношений, понятий, суждений и беспринципных принципов...

Судит ли герой Людмилу и Валерия, этих восхитительно неразборчивых в средствах нынешних протестантов, с легкостью наносящих столь ощутимые раны его суровой, закаленной душе и суровым же, максималистским принципам?.. Нет, не судит.

Он лишь подтрунивает (преимущества возраста и тяжкого, нешуточного опыта!) над самим собой, нелепо, опрометчиво ввязавшимся в эту черноморскую «мафиозную» историю... Подтрунивание — защита; душа же болит и ноет, поскольку она встретилась и рассталась, не успев да и не сумев передать ничего из своего, «хотя бы чуть-чуть изменив направление» двух молодых и только набирающих силу и рост судеб. И что теперь будет с ними — Бог весть...

Последние фразы повести... «Я подкошен моим марсианством в этой жизни, которую имел дерзость считать объектом личной инициативы. А деталей не будет».

Какие уж тут детали!.. Это честный, трезвый, беспощадный — вполне в духе бородинского героя — итог; это — рука, повисшая в пустоте...

В самом начале повести, где герой спасает в море мать Людмилы, сказано: «...она уплыла за буи, то есть за пределы социального».

«За пределы», на максимум стремится в этом повествовании всё и вся: жизнь и прошлое главного героя, притязания Людмилы и Валерия, которым тесно и тошно в социально и идеологически размеченной «акватории» родного пространства, где на мелководье, по их понятиям, барахтаются все, не умеющие лгать и воровать...

«За пределы», не обретая желанного результата, рвется душа героя, тщетно пытающегося пробросить мостик от своего поколения к нынешним, молодым, близким и далеким одновременно.

В повести этой много честного, по-русски открытого сердца, и писана она тем дорогим, «автобиографическим», судьбой подкрепленным письмом, когда слово равно поступку.

Игорь ШТОКМАН.

НО Я ЗАБЫВАЮ ЗЛО

Владислав АРТЕМОВ

«СВЕТЛЫЙ ВСАДНИК». Стихи

Изд-во «Современник», 1989

Как бы ни было жестоко лихолетье и в какие кровавые дебри ни звали б нас новые певцы новых революций, ценность поэзии и цель ее — в пробуждении добрых чувств. Равно как ценность любого другого вида искусства, и как ценность существования человека на земле, русского православного человека тем паче. Достоинство воина заключается вроде бы в противоположном — в умении решительно и безжалостно сразиться с врагом. И тем не менее воин воину рознь. Ведь существует же понятие «христова воинства».

На обложке книги поэта — воин Георгий, повергающий дракона. Совместимо ли служение добру с потрясанием копьем? Да, как совместимо монашество Пересвета и Осляби с их ратным подвигом на поле Куликовом. Именно об этом Христово «не мир, но меч». Только меч из небесной стали, как и копье в руках у светлого всадника.

Страшно наше недавнее прошлое. Пусто настоящее. Мы стоим на пепелище среди поруганных храмов и оскверненных рек. Но крепость души нашей неодолима, и стоит эта незыблемая крепость на твердой вере в Бога, без которой нет любви к человекам.

> Обнимемся, бывшие вороги,
> Вы больше мне не враги...

Вот он — свет евангельских истин! Так легко и просто, оказывается, быть сильным на этом страшном свете!

> Жалко мне Храма Спасителя,
> Но пусть их Господь простит.

В этих словах одного из центральных стихотворений книги Владислава Артемова — воля его духовная и гражданская позиция, обычный для христианина подвиг всепрощения, к свершению которого, впрочем, поэт приходит не по ровной и гладкой дорожке, а через тьму заблуждений и сомнений, по пути, засыпанному грудами обломков, спотыкаясь о них, но все же поднимаясь и идя дальше. Стихи Артемова — как бы ступени к нравственному совершенствованию человека: не вниз, к отчаянью, деградации и падению, а вверх — к свету вечных истин и настоящих ценностей.

> Вы крепко меня обидели,
> Но я забываю зло —
> Мы все-таки небо видели,
> Нам здорово повезло.

Особенность звучания поэзии Артемова — в ее любовной преданности родному языку, в свободном и счастливом созвучии с мелодикой русской речи, полным владением тонкостями и хитростями интонаций. Критикам есть над чем поразмыслить — скажем, лубочна ли поэма «Маршал Жуков» или она все же былинна? К какому жанру отнести некоторые стихи — к любовной лирике или ироничной поэзии?

Как всякое настоящее искусство, поэзия Артемова многогранна, в ней есть и радость, и мука, и печаль, и ирония, и любовь, и гнев. В лирике поэт чужд самолюбования; напротив, как только взгляд его обращается внутрь собственной души, он делается особенно трезв и объективен, и заглядывает он сам в душу не ради пустого самокопания, а для того, чтобы увидеть, не растерялось ли там тепло, не рассеялся ли свет.

Странное дело: сколько боли за родную землю в стихах поэта, а все же прочитываешь книгу — и сердце твое наполнено светлой и торжественной уверенностью: Россия не погибла и не погибнет вовек; Россия небесная не даст погибнуть России дольней.

А. СЕГЕНЬ.

А ЧТО ОНИ ПИШУТ САМИ?

Надеемся, что наши читатели обратили внимание на то, что наряду с обзорами отечественных изданий журнал начал публиковать разборы зарубежной русскоязычной периодики. Так, в номере 8-м напечатан обзор выходящего в Германии журнала «Вече». Редакция стремится расширить кругозор читателей, познакомить со взглядами на Россию, активно утверждающимися за рубежом. Аннотирование зарубежных изданий, комментарии к их материалам, полемика — все это будет присутствовать и в публикациях 1991 года, в которых освещается деятельность газет «Русский голос», «Новое русское слово», «Русская жизнь», журналов «Русское возрождение», «Русский американец», «Свободное слово России» (США), газет «Наша страна» (Аргентина), «Русская мысль» (Франция), журнала «22» (Израиль). Сегодня мы предлагаем читателям обзор некоторых материалов русскоязычных еврейских журналов «Алеф» и «Панорама Израиля»

В последнее время значительно участились публикации в нашей либерал-радикальной прессе по поводу того, что авторы журнала «Наш современник» концентрируют внимание на «изысканиях этнических корней» политических и общественных деятелей периода возникновения и становления Советского государства. При этом задается вопрос: кто разжигает межнациональную рознь?

Однако удивляет, что либералы совершенно игнорируют многочисленные «исследования» в израильских печатных органах на тему «еврейских корней», затрагивающие не только отдельных деятелей, но и целые народы нашей страны.

В ноябре 1989 г. израильский журнал «Алеф», предназначенный для русскоязычной эмиграции и распространяемый также в СССР, опубликовал статью собственного корреспондента в Грузии и Армении Льва Самовского под названием «Маген-Давид» над Севаном». На основе «глубокого» исследования украшений культовых зданий, изображений на некоторых армянских церквах так называемой «звезды Давида», наличия в древнееврейском и армянском языках общих слов, а также «общности судеб» автор делает вывод о едином происхождении двух народов. Привлекает он и авторитеты древности. «Знаменитый историк древности Моисей Хоренский (Хоренаци), — пишет Л. Самовский, — утверждает, что царский род Багратуни — общий для Грузии и Армении — имеет еврейские корни. Это подтверждают и грузинские источники, рассказывающие о «братьях-евреях, пришедших из плена из страны филистимской», потомках царя Соломона, и воцарившихся на престоле в Картли (груз. название Грузии)». Автор размышляет: «Ученые утверждают, что близнецы, разлученные в раннем детстве, проходят очень похожий жизненный путь

имеют одинаковые привязанности, вкусы, даже детей называют похожими именами... Откройте ереванскую телефонную книгу — вы увидите столбцы Исраэлянов, Ааронинов, Исаакянов. Я, конечно, ничего не хочу утверждать, но...»

Тот же «Алеф» в феврале 1989 г. опубликовал статью «Евреи в Кремле» (тема, которая особенно широко используется как предлог для обвинения в «антисемитизме»), где, в частности, пишется: «В наши дни в России снова вернулись к дореволюционному «тезису» и ищут причины российских бед то в Троцком, Каменеве и Зиновьеве, то в Мехлисе, Ярославском и Кагановиче. За последнего совсем недавно даже пришлось заступиться в советской прессе известному историку Рою Медведеву. И как-то странно получается: с одной стороны, советская пропаганда твердит, что в стране происходит революция сверху, а с другой стороны, клюют тех, кто делал революцию в 17-м, и приходится защищать находившихся тогда наверху. Невольно спросишь себя: а много ли их было тогда, евреев, там, наверху?

И также невольно — без анализа причин и без рассуждений, хорошо это или плохо, — ответишь себе:

— Таки да, много! Очень много!»

Не вдаваясь в анализ причин этого явления, «Алеф» подчеркивает, что «активное участие евреев в тогдашней государственной жизни может лишний раз объяснить, почему тогда государственные дела обстояли лучше, чем сейчас, когда еврея днем с огнем не найдешь наверху».

Не ограничиваясь историей, израильская пресса не прочь доказать «этническую благонадежность» нынешних, перспективных, с ее точки зрения, советских политических деятелей. В данном случае речь пойдет о Борисе Николаевиче Ельцине. Израильский журнал «Панорама Израиля», выходящий на русском языке и так же, как и «Алеф», распространяемый среди советских евреев, в июне 1988 г. опубликовал выдержки из книги некоей Аллы Кторовой, где сообщается буквально следующее: «...ЕЛЬЦИН — обманчиво русская фамилия, и окончание ее «ин» не имеет ничего общего как с названием города Елец, так и с отечественной фамилией типа Никитин. Фамилия эта — еврейская и образована от мужского имени Элия, по-русски Илья. Те, кто имеет понятие о жизни в России евреев из местечек, знают, что до революции многие из них, как мужчины, так и женщины, назывались и сами себя называли в обиходе не полными, а кажущимися для русских уничижительными именами (это не совсем так, но здесь и этого вопроса не касаюсь), вроде Мошка, Шмерка, Фрадка, Хайка, Нотка и т. д. — отсюда фамилии Фрадкины, Хайкины, Ноткины и т. д. Вероятно, но никак не обязательно, что далекий предок Бориса Николаевича и был некто по имени Элька, чье потомство впоследствии стало называться Элькиными. Затем фамилия эта прошла в России фонетические изменения по типу Элькин—Елькин—Елчин—Ельцин. Не буду останавливаться на разъяснении каждой формы и утомлять читателя правилами фонетики и истории русского языка, но и СССР есть сегодня очень много потомков жителей черты оседлости по фамилиям Ельчин, Елкин (ставшие Ёлкиными) и Ельцин. Известно ли самому Ельцину, что представляет собой его фамилия? Не знаю, но он продолжает упорно писать ее с окончанием «ин», тогда как мог бы уже давно фиксировать ее через «ын», к полному удовлетворению тех, кто в других обстоятельствах мог бы рискнуть «бить Б. Н. по паспорту».

Говоря о том, что нынешний первый заместитель председателя Госкомиссии по строительству обладает «инонациональной» фамилией, я вовсе не смею утверждать, что он, по всей видимости, наполовину еврей. В Сибирь, откуда он, кажется, родом, фамилия эта могла попасть как от ссыльных туда евреев, так и другим путем...» («Панорама Израиля», 15.06.1988).

А теперь обратимся к «активистам» борьбы против национализма и «антисемитизма», одним из которых с полным основанием можно назвать главного редактора журнала «Огонек» Виталия Коротича. В интервью упомянутому «Алефу» он заявил следующее: «То, что происходит сегодня в Советском Союзе, в какой-то степени напоминает то, что происходило с евреями 40—50 лет назад. Ситуация у нашего народа настолько трагична, что ему приходится принимать какое-то решение. Сегодня в СССР идет борьба за выживание, борьба за то, чтобы сохраниться, чтобы жить, как люди».

«Наш народ». Непонятно, о каком народе идет речь. Так и хочется тут в праведном гневе воскликнуть, повторяя известный «огоньковский» заголовок: «Осторожно: провокация!» Не мог наш Виталий Алексеевич так сказать! Ведь мы помним, как, выступая недавно по ЦТ, он рассказал нам, что его мать — русская, отец — украинец, и вообще он — дворянских кровей! Так и норовят проклятые сионисты всех уважаемых людей в евреи записать— и Коротича, и Ельцина!

Но гораздо важнее то, какое решение предлагает «нашему народу» т. Коротич. «Я смотрел документы начала века. Когда евреям угрожали погромы, они создавали отряды самообороны. Нужно давать сдачи». И еще: «Евреи — такие же граждане страны, как и я. Они должны научиться давать в морду». Умение бить по морде как неотъемлемый признак гражданина. Ну что ж, мысль интересная, особенно высказанная борцом против национальной вражды.

Судя по этому интервью (и не только по нему), единственный существующий у нас в стране вопрос и уж, во всяком случае, единственный достойный внимания вопрос, от решения которого зависит ее будущее, — это «еврейский вопрос», а сионистский тезис о том, что «критерием прогрессивности государства, нации или отдельного человека является его отношение к евреям», взят т. Коротичем на вооружение. Но почему же в таком случае не использовать в качестве такого критерия отношение к русским? Сейчас увидим. «Мне кажется, — заявляет Виталий Коротич, — что шовинизм и национализм большого народа провоцируют национализм у малых народов.

Русский национализм — это не эстонский национализм (или не еврейский, например. — **Прим. авт.**). Если эстонцы там немножко пошумят «за жизнь и всё остальное», то «Правда» тут же дает десять возмущенных статей, как будто эстонцы будут немедленно резать всех». Но ведь должен же кто-нибудь резать или, по крайней мере, хотеть резать. Не может не быть таких. Даром, что ли, «сторожевые псы» хлеб едят?! Ответ напрашивается сам собой: конечно же, есть такие. Это русские. Им только дай волю — всех перережут!

Однако Виталий Алексеевич прямо так, конечно, не говорит, а предпочитает идти обходным проторенным путем и обрушивается на «Память». Повторив традиционный набор выражений в адрес пресловутой «Памяти», главный редактор «Огонька» тут же счел необходимым предупредить прогрессивно-обеспокоенную общественность, что «Память» — это только «лёгонькие «штурмовые отряды». Но за ними стоят умные, осторожные бандиты, которые направляют эту свору». На вопрос о том, кто эти «осторожные бандиты», Коротич честно (и нет сомнения, что тут он совершенно искренен) отвечает: «Не знаю». Но и здесь он не теряется: «Думаю, что в стране с таким мощным репрессивным аппаратом это нетрудно установить. Просто я не принадлежу к этому аппарату. Но тайная полиция у нас достаточно сильна для того, чтобы их отыскать. Те идиоты, которые выталкиваются «Памятью» на трибуны и в первые шеренги демонстрации, ни в коем случае не могут быть мозговым центром». И тут же дает вполне конкретное направление поисков: «Память» без стыда поддерживают такие люди, как сибирский писатель Распутин. В России ни одна контрреволюция без распутиных не происходила. Вместе с Распутиным выступают и другие профессиональные русские патриоты».

Не говоря о том, что Валентин Распутин недвусмысленно отнесен к разряду профессиональных, т. е. оплачиваемых патриотов; не говоря о том, что обращение т. Коротича к КГБ за помощью в деле защиты евреев выглядит несколько непоследовательно, учитывая тот факт, что со страниц «Огонька» не сходят публикации, всячески порочащие это ведомство, всё это весьма смахивает на политический донос. И явно слышится нотка сожаления о непринадлежности (?) к репрессивному аппарату. Странно. Странно? А может быть, в этом и заключается смысл существования «сторожевых псов» перестройки?

Апогея «анти-антисемитский» порыв Виталия Алексеевича достигает в следующей фразе: «Я не могу обещать своим друзьям (интересно узнать, каким?) ничего грандиозного. Могу сказать только одно, как и раньше: когда я встречусь с антисемитом, я дам ему пощечину. Я считаю, что, если каждый в таком объеме выполнит свой долг — этого будет достаточно».

Ох и тернистый путь уготовил себе Виталий Алексеевич! Ведь если верить журналу, главным редактором которого он является, страну населяют 260 миллионов антисемитов (см. «Огонек» № 14, 1990, рассказ А. Львова «Инструктаж в Риме»); и единственный не антисемит Коротич просто обязан, выходя на улицу, бить по морде каждого встречного и получать в ответ.

А впрочем, зачем же так примитивно — «по морде»! Не очень действенно, а главное, ответить могут! Более умные идеологи защиты кастовых интересов в свое время издавали законы об антисемитизме (текст написан Свердловым), занимались расказачиванием (Свердлов, Якир), организовывали Соловки и Беломорканал (Френкель, Фирин, Берман, Коган, Раппопорт — головка ГУЛАГа, обнародованная Солженицыным). Вот это были масштабы! Да что там Свердлов, Френкель и К°! Поучился бы Виталий Алексеевич радикализму хотя бы у некоторых ныне здравствующих, скажем у Е. Евтушенко, который в рифму рассказывает о своей жажде дожить до того дня, когда «...похоронен будет последний на земле антисемит!» Вот так-то! А то — всего лишь «по морде»!

Итак, надавав пощечин «антисемитам», мы решим многие — если не все — наши проблемы. Допустим. Теперь мы вправе ожидать от такого принципиального и смелого человека хотя бы символического осуждения Израиля, вооруженные силы которого хладнокровно расстреливают палестинских детей и женщин. Будет ли он последователен до конца? Посмотрим. «Институт общественного мнения, — заявляет главный редактор «Огонька», — провел исследование и выяснил, что около 86 процентов опрошенных считают, что самая дружественная нам (надо, видимо, понимать: Советскому Союзу. — **Прим. авт.**) страна — США. Никто не верит, что у нас есть враги. Я считаю, что такое может случиться и с Израилем». Логично? Последовательно? На первый взгляд — нет. Но после зрелого размышления приходишь к выводу: да, именно здесь Виталий Алексеевич последователен как никогда.

Ну, а как же сами «дружественные» израильтяне смотрят на нас? Нужны ли мы им? А если нужны, то для чего? На эти вопросы нам ответит директор Центра международной торговли Израиля, руководитель отдела внешней торговли и международных связей Ассоциации израильских промышленников Моше Нахум. «Мы охотно стали бы покупать в СССР сырье, которое приобретаем сейчас в других странах», — говорит этот деятель. И продолжает: «Израиль тесно связан с США в некоторых высокотехнологичных отраслях и вынужден строго следовать ограничениям, установленным США в отношении Советского Союза». Что касается совместных советско-израильских предприятий, то господин Нахум видит их такими: «Израильская сторона могла бы предоставлять оборудование и технологию, в том числе технологию управления (и это при известном всему миру бюрократизме, пронизавшем все уровни израильской государственной машины, чего, кстати, не скрывают и сами израильтяне. — **Прим. авт.**), а также финансовые средства. Советская сторона будет предоставлять производственные помещения и квалифицированную рабочую силу при относительно небольших затратах на ее наем». Итак: нам—устаревшую техно-

логию, Израилю — сырье и дешевую рабочую силу. Хороши друзья!

А Виталию Коротичу и дела мало. Его не волнует, что все это очень походит на отношения между метрополией и колонией. Продавать по дешевке рабочую силу своих соотечественников транснациональным корпорациям, тем самым унижая их человеческое и национальное достоинство? — давай! Ведь этим достоинство коротичей унижено никак не будет: их уж никак нельзя отнести к категории дешевой рабочей силы. Разбазаривать национальные богатства? — плевать! Хотя некоторые публикации «Огонька», казалось бы, говорят об обратном. Так, в частности, опубликованная в этом журнале статья А. Мосякина под названием «Продажа» рассказывает о массированном расхищении национального достояния России после октября 1917 года. Кстати, в качестве одного из организаторов и исполнителей этого варварства в статье фигурирует известный «большой друг Советского Союза», «товарищ американский миллионер» Арманд Хаммер, который и не скрывает, что основу его громадного ныне состояния заложила продажа русских ценностей на Западе. Что это: игра в объективность? «перехват лозунгов»? А может быть, «теперь об этом можно рассказать», потому что на смену престарелому Хаммеру пришел очередной «большой друг и товарищ», теперь уже миллиардер, Альберт Райхман? А может быть, это делается для того, чтобы, свалив все на Сталина и «тоталитарное прошлое», скрыть, что это расхищение продолжается во все возрастающих масштабах и сейчас и поощряется из-за рубежа? Достаточно только почитать «Алеф», где из номера в номер помещаются любопытные с этой точки зрения объявления:

ПОКУПАЕМ дореволюционные и советские ордена, медали, знаки отличия, институтских значки, школьные медали, столовое серебро, портсигары и другие изделия из серебра и золота; фотографии, письма и автографы известных людей; гербовые бумаги, монеты, облигации и вышедшие из употребления бумажные деньги, картины, церковную утварь и иконы.

ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ АНТИКВАРИАТ: документы, журналы, книги, фотографии и семейные альбомы, почтовые открытки, дипломы, значки, военную одежду, ремни, тросги, оружие, ювелирные изделия, сувениры, посуду, хрусталь, фарфор, бронзу, приборы, оптику, часы, медицинскую и домашнюю утварь.

. . . .

ПРЕВРАТИТЕ НЕНУЖНЫЕ ВАМ ПРЕДМЕТЫ В ДОЛЛАРЫ!

А ведь расхищение национальных богатств, уничтожение памятников, попытки лишения того или иного народа его исторического прошлого, подавление всеми средствами его духовности и есть ярчайшее проявление национальной вражды, независимо, от кого она исходит.

Национальная вражда... Вещь страшная. Особенно когда она используется и направляется хорошо оплачиваемыми у нас и за рубежом профессионалами. Кто же ее разжигает? Кто распространяет и тотчас же подхватывает слухи о возможных еврейских погромах; кто ставит вопрос о второсортности евреев — граждан СССР и с наслаждением «обсасывает» его, тем самым восстанавливая евреев против русских? Кто, прикрываясь гневом против «Памяти», пытается дискредитировать силы русского национального возрождения, которое кому-то как кость в горле? Кто, прикрываясь русскими, украинскими и белорусскими фамилиями, критикует с этих позиций «свои» национализмы и шовинизмы, поставив во главу угла отношение к «еврейскому вопросу» как критерий прогрессивности и демократичности, широты кругозора и эрудированности? Кто, не говоря об этом открыто, постарался и весьма преуспел в том, чтобы ввести в обиход еще один критерий и оценивать перспективность того или иного деятеля в зависимости от его русофобства?

Эти и многие другие вопросы возникают, когда оцениваешь нынешнюю ситуацию, сложившуюся в нашей стране в области межнациональных отношений. И не нужно надеяться на то, что история к о г д а-н и-б у д ь поставит все точки над «i». Конечно, поставит. Но тогда, может статься, будет уже поздно.

Ответить на эти вопросы нужно уже сейчас, и как можно скорее.

С. СКАЧКОВ.

Из нашей почты

ЛЕВ РАЗГОН И ЕГО НАПРИДУМАННОЕ «НЕПРИДУМАННОЕ»

В 1988 году в журнале «Юность» были опубликованы мемуары Льва Разгона «Непридуманное». Сам Л. Разгон в этом повествовании, которое ведется от первого лица, предстает как фигура светлая и многострадальная.

Однако для тех, кто находился порой в тех же условиях, что и Л. Разгон, и слышал об авторе в середине, затем в конце тридцатых — начале сороковых годов и много позже (в 1950—1955 гг.), личность Л. Разгона темнеет, теряет четкость контуров, а то и вообще покрывается мутной пеленой придуманного сюжета, совершенно не согласующегося с названием произведения.

По признанию самого автора, «...«Непридуманное» писалось не для публикации», которая была для него «совершенно неожиданной», хотя Л. Разгона «попросили прийти и начать работать» над книгой («Московский комсомолец» от 14 января 1990 г.). Л. Разгон лукавит даже по такому простому поводу, каким является невинный вопрос корреспондента: публикация «Непридуманного» — случайность или желание автора? Впрочем, утверждению Л. Разгона, что публикация — это случайность, можно даже поверить, так как Л. Разгону не хотелось выходить к читателю раньше времени; видимо, ему необходимо было дождаться того момента, когда некому будет уличить главного героя упомянутой книги в том, что до своего первого ареста он сам носил форму сотрудника НКВД, но, решив умолчать об этом неприглядном факте своей биографии, автор начинает заметать следы с помощью небылиц и, запутавшись в них, невольно разоблачает сам себя.

Еще и в настоящее время имеются живые свидетели того периода его жизни (1935—1936 и часть 1937 г.), о котором, отвечая на свой же вопрос, чем он занимался, Л. Разгон скромно сообщил, что был на комсомольской работе, работал в Детиздате, подвизался в журналистике и т. п. Но почему же именно в эти годы его можно было увидеть одетым в форму НКВД с такими знаками отличия, которые свидетельствовали, что носящий их принадлежал к категории лиц, «задававших вопросы» и применявших все необходимые меры для получения «нужных ответов»? Конечно, о конкретной сфере деятельности Л. Разгона в «органах» можно пока лишь гадать, но уже одно то, что он везде умалчивает о том, с какой целью появлялся в упомянутой форме, например, в здании Второго Дома Советов (в «Метрополе»), говорит само за себя.

Л. Разгон нигде не разъясняет, за что был арестован и осужден, а лишь глухо, вскользь упоминает о 21 июня 1938 года, когда он расписался под постановлением Особого совещания, согласно которому был приговорен к пяти годам ИТЛ за контрреволюционную агитацию, рассказать о содержании которой даже не пытается («Юность», 1988, № 5, с. 24). Повествование начинается с рассказа об Иване Михайловиче Москвине, но не об артисте, а об отчиме жены самого Л. Разгона. Какое-то время Москвин был «могущественнейшим человеком», и сам Сталин «делал все, чтобы Москвина приблизить» (там же, с. 6).

Что ж, быть может, не без тайного умысла женившись на падчерице «могущественнейшего человека» и дочери известного чекиста Глеба Бокия Оксане Бокий, Лев Разгон мог не только сделать быструю карьеру в органах НКВД, но и стать своим человеком в семье Я. М. Свердлова, побывать «на всех заседаниях XVII съезда партии» — с помощью Н. И. Ежова (там же, с. 8), расхаживать в перерыве между заседаниями с Алексеем Ивановичем Рыковым, и т. д.

Забыв, где у него вымысел, а где правда, Л. Разгон невольно проговаривается, когда ведет рассказ о нечеловеке Корабельникове. «Он меня сразу принял за «своего»... Я ведь знал по фамилии его боссов — начальников, я был зятем одного из них, то есть лицом, безусловно... посвященным во все тайны, в которых он жил. Много тайн я знал...» («Юность», 1989, № 5, с. 24). Далее Л. Разгон со знанием дела рассказывает, кто был начальником Оперативного отдела НКВД и чем этот отдел занимался. Знаки отличия в петлицах, какие в свое время были у автора «Непридуманного», случайным людям не дают! Да иначе Корабельников просто не стал бы откровенничать перед первым попавшимся, тем более что он однажды уже «трепанулся самому своему большому корешу... Ну, дурак же был, откуда это на меня нашло? А кореш, конечно, стукнул» (там же, с. 26).

Весьма интересны слова Корабельникова: «Ну, этап-то общий, да я не общий. Я свое выслужу. Я не пропаду!..» Позже, в Ставрополе, в разговоре со следователем Гадаем сам Л. Разгон говорит ему: «Я еще поживу! Да и в лагере я буду жить! Да, да! Будь уверен! Буду книги читать, водку пить, спать с вольнонаемными медсестрами да врачами — женами начальников» («Юность», 1989, № 2, с. 46). Какова параллель!

Откуда же такая самоуверенность? Думается, что примеров достаточно, чтобы твердо предположить: на обложке личного дела заключенного Л. Разгона и на формуляре стояли спасительные для него литеры или лаконичная запись «Использовать в лагобслуге», а может быть, было дано устное распоряжение из учетно-распределительного отдела лагеря (УРО, или 2-го отдела Управления, как его называли).

Тут мы подходим к одной особенности, имеющейся в повествовании Л. Разгона, которую не может оставить без внимания искушенный в лагерной жизни человек, и даже не искушенный в ней, но внимательный читатель. Со слов самого автора явствует, что из всех десяти лет пребывания в лагерях он лишь ничтожное время пробыл на общих работах (см. упоминание о ручной трелевке, «Юность», 1989, № 1, с. 22). Остальное время он пребывал в так называемых «лагерных придурках», то есть работал в конторе нормировщиком. Что такое нормировщик в лагере? Это прежде всего высшая степень бытового комфорта и сытости, насколько эти понятия применимы к лагерным условиям. Там, где борьба за место под солнцем обострена до предела, конкуренция приобретает самые жестокие формы, и конкурс, как говорится, тысяча на одно место. Никаких знаний в области нормирования у Л. Разгона не было, и без «лохматой руки» это место ему бы не досталось. Попав по великому блату на это место, он, конечно, времени попусту не тратил и быстро набил руку («Юность», 1989, № 2, с. 37). Нет, он не был среди тех слишком одиозных фигур в лагере, таких, как нарядчики, коменданты, бригадиры и их помогалы, которые ранним утром выгоняли заключенных на работу и по своему усмотрению применяли «дрыновые припарки», но его незаметная деятельность была гораздо эффективней. При лагерной потогонной системе деятельность нормировщи-

ка Л. Разгона помогла многим работягам тихо перекочевать в мир иной, ибо нормы выработки изменялись в лагерях (да и везде по Союзу) лишь в сторону увеличения, и ни один «добренький» нормировщик не проработал бы в этом качестве даже неделю.

Общая картина истребительной роли лагерей того времени, особенно между 1937—1953 годами, дана Л. Разгоном более-менее правдиво, со знанием дела. Однако, приводя потрясающие цифры погибших за короткое время огромных масс ни в чем не повинных людей и другие кошмарные подробности, автор забывает ответить на невольно возникающий вопрос: а как он сам уцелел? Ведь из 517 человек московского этапа, с которым прибыл на первый Отдельный лагерный пункт (ОЛП) и Л. Разгон в конце августа 1938 года, к весне 1939 года в живых осталось лишь 27! В числе 27 оказался и Л. Разгон («Юность», 1989, № 1, с. 22). Этим лишний раз подтверждается «особое» к нему отношение со стороны лагерной администрации, о чем уже говорилось выше.

Простая арифметика подсказывает, что период с 1938 по 1955 год в общей сложности составляет 17 лет. В 1938 году Л. Разгон впервые попал в лагерь и в 1955 году окончательно освободился. Между 1943 и 1950 годами у него было «окно», он был на свободе, разъезжал по всей стране. Однако во всех интервью Л. Разгон твердит, что он провел в лагерях и тюрьмах 17 лет. С какой стати человек прибавляет себе срок? Чтобы вызвать у читателей восторг перед его жизнестойкостью? Или он хочет выжать последнюю каплю жалости к его судьбе?

Можно было бы еще и еще находить несуразности, прорехи, явные и скрытые ляпсусы, никому не нужные надуманные эпизоды, свидетельствующие о желании автора перенасытить необычностями и сенсационными рассказами воображение неискушенного читателя, но и приведенных примеров хватает с лихвой, чтобы весьма критично отнестись к этой разгоновской эпопее.

Александр МАРКИТАНОВ.

ПАРАДОКСЫ СВОБОДЫ

В одном из своих выступлений В. В. Личутин окрестил лидеров нашей «левой» интеллигенции абсурдистами. Не имеющие даже и зачатков «национальной этики», абсурдисты тем не менее всегда занимают ключевые места в политической и общественной жизни. Люди, в сущности, являющиеся персонажами Беккета и Ионеско, определяют лицо экономической науки, отвечают за идеологию, руководят литературной политикой, возглавляют нравственное и патриотическое воспитание молодежи... Результаты, как говорится, налицо — «абсурд в особо крупных размерах» (Р. Фирстова), коему позавидовали бы упомянутые выше драматурги. Но, как ни странно, «выводят» страну из абсурда те же люди, что ее туда завели. Выводят из абсурда — путем вовлечения в новый абсурд. Такая уж логика у «прорабов». «Все наоборот — тому, что было раньше!» — вот лозунг вождей-прогрессистов от Ю. Афанасьева до Б. Ельцина, от А. Беляева до Е. Евтушенко, от Т. Заславской до В. Коротича. Но ведь мудро сказал когда-то И. В. Киреевский, что «прямая противоположность заблуждению обыкновенно бывает не истина, но только другая крайность того же заблуждения». И пестрит наша общественная жизнь «другими крайностями» прежних заблуждений...

...Ведь какой поворот на 180 градусов совершили рыцари бойкого пера в вопросах этики. Еще недавно учившие всех от мала до велика трепетной радости слияния с коллективом, воспевавшие свободу «в рамках классовой необходимости», ныне — произносят здравицу «самоценному индивиду», его независимости от косного социума, его абсолютной свободе, отрицающей замшелые догмы. Из стадного коллективизма — в безудержный индивидуализм. Из абсурда — в абсурд. Под знаменем «общечеловеческого».

На разных уровнях переход этот по-разному обосновывается. «За новый подход к проблеме индивидуализма» осторожно и академично (как ему и полагается) ратует устами Ю. Замошкина научно-теоретический журнал «Вопросы философии» (1989, № 6). В молодежных аудиториях — другой уровень постановки проблем... Помню одну дискуссию между патриотами-государственниками и космополитами-анархистами (членами пресловутой Конфедерации анархо-синдикалистов — КАС, в девичестве — «Община»). Было, конечно, много эмоций, срывов на крик и т. д. Когда страсти уже накалились до предела и оппоненты были готовы перейти к методам полемики некоторых Вселенских Соборов, к кафедре вышел оратор, сразу резко выделившийся даже и в этом бедламе своей излишне живой жестикуляцией и излишне взволнованной речью. Оратор, с самого начала заявив, что он — сторонник космополитов-анархистов, тем не менее пожурил соратников по борьбе за то, что они признают какие-то там надындивидуальные общечеловеческие (даже и в космополитической упаковке) ценности. Ведь они же репрессивны — по отношению к самоценной личности. Выступление закончилось велеречивой одой в честь «абсолютно свободной личности», не признающей ничего, что было бы «сверх» нее. Юный ученик Макса Штирнера долго обосновывал то, что персонаж песни группы «Наутилус Помпилиус» выразил коротко и четко: «Я просто хочу быть свободным — и точка!..» Это уже третий уровень обсуждения проблемы индивидуализма, более других работающий «на массу».

«Новый подход к проблеме индивидуализма», поворот на философском и прочих фронтах в сторону личности, являющейся «последней истиной своего существования» (Л. Баткин), нигде так осязаемо не чувствуется, как в сфере «личностных образцов» (понятие «личностного образца» подробно разработано в исследованиях польского философа М. Оссовской; см. «Рыцарь и буржуа», М., 1987) нашего общества. «Личностный образец» — это образец личности, который считается достойным подражания, является объектом притязания, побуждает индивидов или социальные группы к подражанию. Популярность тех или иных «личностных образцов» указывает на господствующие в обществе идеи. Думается, небезосновательно суждение о том, что «общество — это подражание, а подражание — это род гипноза» (Г. Тард). Достаточно вспомнить, какую огромную роль сыграл «личностный образец» Б. Франклина для становления американского буржуазного этоса. Для советского этоса такую же громадную роль играли «личностные образцы» «пламенных революционеров» (всем ведь и сейчас памятен призыв Маяковского к «юноше, обдумывающему житье», делать жизнь «с товарища Дзержинского»), героев труда (А. Стаханов), отважных пионеров (Павлик Морозов), литературных персонажей (Левинсон, Павел Корчагин). Несколько поколений советских людей воспитывали на примерах именно *таких* героев. До определенного времени эти «личностные образцы» были не только *пропагандируемыми*, но и *признаваемыми*. Но, по крайней мере, к концу 60-х годов они полностью переместились в разряд *пропагандируемых*. То, что официально-государственные, ставшие как бы символом СССР «личностные образцы» были неофициально отторгнуты обществом (при полном разнобое *признаваемых* «личностных образцов»), явилось самым ярким признаком кризиса нравственных и идеологических ценностей в стране. Ныне пусть еще не руководством страны, а (что уже немало!) большинством средств массовой информации герои типа М. И. Калинина и Паши Ангелиной, Павла Власова и Семена Давыдова брошены, как говорится, «на свалку истории». Честно говоря, я не испытываю какой-то горечи по этому поводу. Да и вообще, мне кажется, что народ св. Сергия Радонежского и Кузьмы Минина, Петра Гринева и Алеши Карамазова не нуждается в «личностных образцах» Я. Свердлова или Глеба Чумалова. Идеология 20—30-х годов, по сути, разрушала первоосновы народного мировоззрения. Недаром в 1932 году Георгий Федотов с болью заметил, что из русской советской литературы исчез присущий классике дух сострадания к человеку, что в ней воцарился дух бесчеловечности. Исключения (Платонов, Шолохов «Тихого Дона») только подтверждают правило (Багрицкий, Безыменский и проч.). Но что предлагают нам взамен «прогрессивные силы»? Они вместе с действительно ненужным «классовым энтузиазмом» выкидывают заодно и вообще *идею жертвенности*, и вообще *идею ответственности* человека перед чем бы то ни было (своим народом, простейшими нормами нравственности). А ведь все-таки «лучший человек», по представлению народному, — это тот, который не преклонится перед материальным соблазном, который ищет неустанно работы на дело Божие, любит правду и, когда надо, встает служить ей, бросая дом и семью и жертвуя жизнью». Автор этих прекрасных строк — не Сталин и не Фадеев, это написал Достоевский. И в противовес Достоевскому, а не в противовес Сталину, выдвинуты кандидатами в «лучшие люди»: усердно пропагандируемый «Собеседником» и ананьевским «Октябрем» «блестящий, бурный», «почти гениальный» (Вас. Гроссман) — Троцкий, Н. Тимофеев-Ресовский гранинского «Зубра», удачливый спекулянт-кооператор, проститутка-валютчица... Можно ли найти героев, более противоположных народному идеалу «лучшего человека», выраженному Достоевским?! Нетрудно заметить, что роднит столь различных персонажей. Это присущее им всем индивидуалистическое сознание, говоря словами того же Достоевского, «начало личное, начало особняка, усиленного самосохранения, самопромышления, самоопределения в своем собственном Я, сопоставления этого Я всей природе и всем остальным людям, как самоправного отдельного начала, совершенно равного и равноценного всему тому, что есть кроме него». Связывает эти фигуры и понимание свободы личности как безграничного самоутверждения, как своеволия, как отрицания всех высших надындивидуальных реальностей, т. е. в конечном счете, отрицание общечеловеческих ценностей. Но именно как общечеловеческую ценность преподносят нам *такую* свободу оправдатели Ресовского или проституции. А ведь даже и Н. А. Бердяев, «невольник свободы» (Р. Гальцева), считал, что «свобода переходит в рабство, свобода губит человека, когда человек в буйстве своей свободы не хочет знать ничего высшего, чем человек. Если нет ничего выше человека, то нет и человека. Если нет у свободы содержания, предмета, нет связи человеческой свободы со свободой божественной, то нет и свободы. Если все дозволено человеку, то свобода человеческая переходит в рабствование самому себе. А рабство у самого себя губит самого человека. Образ человеческий держится природой высшей, чем он сам».

Путь безграничной самореализации, безграничного самоутверждения губительно действует не только на саму «свободную личность» (в конце концов, она сама сделала выбор). «Свободная личность» всегда самоутверждается за счет кого-то или чего-то, являющегося в ее глазах неким безгласным объектом, подмостками, на которых «свободная личность» разыгрывает свой изысканный спектакль театра одного актера. Но сей спектакль красив лишь в виде сценария, первое же представление покажет, как «безграничная свобода» переходит в «безграничное насилие». Если, например, персонаж цитированной выше песни «Наутилуса Помпилиуса» «невинно» утверждается за счет своей семьи, собираясь (кажется, фигурально?) поджечь свой дом, то самоутверждение героя «Зубра» Д. Гранина подпадает под отнюдь уже не фигуральную измену Родине. Кстати, Гранин, сам того не предполагая, нашел такой ярчайший пример губительности индивидуализма, какого не смог бы придумать и самый придирчивый критик «безграничной свободы». Тем более что Тимофеев-Ресов-

ский — реальная историческая личность. Личность, «в буйстве своей свободы» не посчитавшаяся ни с какими общечеловеческими ценностями и самоутверждавшаяся за счет Родины и жертв фашизма. Но интересно другое: «прорабствующие» литераторы (Е. Сидоров, В. Оскоцкий, Ю. Карякин, А. Адамович, А. Бочаров и др.) хотят сконструировать из Тимофеева-Ресовского «личностный образец» для нашего общества. Повесть Гранина расценена, например, А. Бочаровым, как «изображение незаурядной личности, сумевшей во всех бедах и горестях сохранить человеческое достоинство. А в достоинстве личности — достоинство народа». Ну, чем Ресовский не «лучший человек», а? Ведь в его достоинстве — «достоинство народа»! Я, однако, думаю, что достоинство народа в тот период, когда Зубр разрабатывал урановый проект и обосновывал «стерилизацию неполноценных», выражалось в достоинстве Карбышева и Жукова, Королева и Матросова, в достоинстве моего деда, погибшего под Ленинградом, в достоинстве моей бабки, тянувшей на себе колхоз, в достоинстве моих других деда и бабки, живущих и сейчас, которые день и ночь работали на Победу на авиационном заводе и ткацкой фабрике; в достоинстве многих и многих воевавших или трудившихся в тылу, павших и живых. *В достоинстве народа, как соборной личности*, проявившемся в годы войны, и есть достоинство народа и достоинство каждой отдельной личности. А если бы достоинство нашего народа выражалось в достоинстве Зубра, если бы Зубр был «личностным образцом» того времени, то что бы с этим народом стало (впрочем, как и с некоторыми другими?). Вот — вопрос, который сразу «зримо и весомо» показывает нам цену «безграничной самореализации личности»!

Поскольку свобода личности ставится во главу угла «нового мышления», а об ответственности личности как-то забыли, то весьма закономерна развернувшаяся ныне кампания по реабилитации проституции. Защита проституции — защита «свободы личности» — защита «высшей общечеловеческой ценности»... Вот так и попали представительницы самой древней женской профессии на перестроечный Олимп. Я, кстати, не верю в искоренимость проституции административными мерами, ибо ее причины прежде всего нравственные и психологические. Меня удивляет не присутствие проституток в «нашем социалистическом обществе», а та горячая поддержка, оказываемая им то передачей «Взгляд», то кинематографом, то некоторыми органами печати. Начали с жалости — закончили полным оправданием. В «Собеседнике» (1989, № 35) можно полюбоваться, как высмеивают глупую, «неперестроившуюся» женщину, считающую, что проституция — «плохо» и что с ней надо «бороться». Тут же обличается ваше «стадное ханжество». Актриса Е. Яковлева, исполнявшая роль «интердевочки» в одноименном фильме П. Тодоровского, объясняет, что они с режиссером стремились не только понять, но и оправдать героиню («Неделя», 1989, № 43). Из «интердевочек» уже лепят «личностные образцы», дескать, вот как нужно жить «свободной личности». Проституция— это протест против «негативных явлений», да и потом — как они зарабатывают! Им надо завидовать!

Бедный художник Васильев из чеховского «Припадка», как бы он был сейчас смешон, как были бы смешны в устах «современного человека» стихи Некрасова «Когда из мрака заблужденья...». Проституткам теперь не сострадают — их уважают. Все-таки интересней видеть откровенный восторг по поводу доходов «интердевочек», чем «пристегивание» «ночных бабочек» к Соне Мармеладовой.

«Личностный образец» «интердевочки» благодаря дружному «Славься!», пропетому с экрана и в печати, уже действует. Думаю, этим не в последнюю очередь обусловлено то, что во многих московских школах (наверное, не только московских) главная проблема — проституция в 8-х, а то и в 7-х классах. «Московский комсомолец» (4 ноября 1989 г.) приводит данные опроса 120 девушек — каждая вторая «с симпатией относится к сложной профессии проститутки»! Кажется, данный «личностный образец» переходит в разряд «призываемых». (Вам весело, плюралисты? За своих дочерей вы не беспокоитесь?) И не только в нравственности пробивают брешь «интердевочки» или в состоянии здоровья народа, но и в экономике. — каждому здравомыслящему человеку ясна связь валютной проституции с теневой экономикой. Вот только ряду журналистов не ясна. С чего бы это, право?.. Ну, им не ясна (как, впрочем, и некоторым депутатам Верховного Совета СССР) и связь с теневой экономикой воровских кооперативов. Впрочем, это тема для экономиста, а я лишь снова хочу вспомнить Достоевского: «...силу мешка (денежного. — С. С.) понимали все у нас и прежде, но никогда доселе не считали мешок за высшее, что есть на земле... Теперешний биржевик нанимает для услуг своих литераторов, около него увивается адвокат... — эта юная школа сильно уже попала в тон современому биржевику и запела ему хвалебную песнь».

Можно бы еще долго рассуждать о «парадоксах свободы», о «личностных образцах».. Например, поговорить о том, что в поведении рок-музыканта на сцене явно закодирован «личностный образец» «абсолютно свободной личности» (рок-музыка ведь тоже идеология!), и о том влиянии, которое оказывает этот образец на зрителей. (Кстати, думаю, эпатаж — никакая это не свобода, а, наоборот, полнейшее рабство у публики.) Но хватит... Хочется только, подводя черту под данным сюжетом, выразить надежду, что не станут «лучшими людьми» для нашего народа плюющие на него индивидуалисты, и привести слова мудреца Гете: «Странная это штука со свободой — ее нетрудно достигнуть тому, кто знает себя и умеет себя ограничивать... Свободным нас делает не то, что мы ничего и никого не считаем выше себя, а, напротив, что мы чтим все, что над нами. Ибо такое почитание возвышает нас самих, им мы доказываем, что и в нас заложено нечто высшее, а это и позволяет нам смотреть на себя как на ровню».

С. М. СЕРГЕЕВ,
Москва.

ВЕЧНЫЕ РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ

В каждом демократе сидит, притаившись, диктатор, насильник и беззаконник.

Вл. Солоухин.

В начале августа с. г. по приглашению я приехал в Санкт-Петербург (ныне Ленинград) на встречу бывших политзаключенных последних лет (50—80-х годов).

Встреча была организована «обновленным Ленсоветом» и обществом «Мемориал». В шикарном помещении Дома дружбы, что на Мойке, с расписными потолками, мягкими креслами и богатыми буфетами (какая забота о нас, бывших «зеках»!), в фойе и зале расхаживали люди со значками НТС, ДС, ХДС, НФ.

Выступающие упорно призывали зал к решительным политическим действиям, не желая замечать противоположных точек зрения. Хотя не только здесь, в зале, но и раньше, за колючей проволокой, «политзеки» делились, условно говоря, на разрушителей России и защитников ее, на космополитов и патриотов, на тех, кто обожествляет «Запад», и тех, кто верен России даже в момент ее падения.

Я слушал этих вечных революционеров, этих «вечно завтрашних», и думал: а ведь подавляющему большинству не кичиться следовало бы «своими заслугами политкаторжанина», а каяться, прощения просить у Бога, у Отечества, у народа за то, что они служили делу разрушения своей страны, делу, которое было начато темными сатанинскими силами, врагами России, вечными врагами Христа еще задолго до 1917 года. Придут ли к покаянию эти слепцы? (Я не говорю о зрячих, то есть о сознательных врагах России, ибо те ведают, что творят.)

...Мне предоставили слово как раз в тот момент, когда зал словно улей был потревожен чьим-то выступлением, которое разоблачало одного из присутствующих как «сексота» (попросту — стукача).

Я начал издалека, заговорил об ущемлении человеческих прав сегодня. Указал на неоднородность собравшихся. На то, что все мы когда-то пожертвовали личной свободой во имя свободы убеждений каждого и что поэтому сейчас дело нашей чести — не допустить новых преследований за инакомыслие.

Я выразил свое возмущение по поводу проходящего в Москве политического процесса и призвал бывших политзаключенных также выразить свой протест. «Власти готовят нового политзаключенного в лице Осташвили», — сказал я. Меня слушали до тех пор, пока не поняли, о ком идет речь. Последние же слова произвели эффект разорвавшейся бомбы. Весь зал неистово орал, свистел, стучал ногами и сиденьями. Куда только делась их чопорность!

Крики заглушали микрофон, но я тем не менее пытался успокоить присутствующих. Стараясь перекричать зал, я спокойно объяснял, что дело не в конкретном человеке, не в том, как мы относимся к его словам и убеждениям, а дело в том, что нельзя допустить, чтобы заработала новая политическая статья, по которой после этого процесса начнут, как по конвейеру, снова судить за убеждения и слова. И неугодными могут стать не только патриоты, писатели России, патриотические издания («Наш современник», «Москва», «Молодая гвардия»), но и любой из присутствующих в этом зале.

Можно разделять или не разделять убеждения Осташвили, но нельзя равнодушно смотреть на то, как обычный «кухонный» скандал раздули до грандиозной политической акции. В то время, когда льется кровь многих народов, когда от расправы бегут тысячи и тысячи людей— русских, армян, турок и т. д., находится «некто», кто осмеливается выдавать случай в ЦДЛ за «страшную опасность», которая угрожает жизни еврейского народа. Никто из настоящих преступников, виновных в разжигании межнациональной вражды в Сумгаите, в Баку, в Фергане, в Молдавии, в Киргизии, в Прибалтике, насколько известно, не привлекался по этой пресловутой статье. Статье 74-й нашли иное применение.

...Не удовлетворившись, я стал собирать подписи под провозглашенной резолюцией, поскольку среди некоторых присутствующих встречал понимание и поддержку. Всего было собрано — 21 подпись.

Желая сорвать предпринятый мною сбор подписей, некий Арк. Цурков вывесил у входа призывы: «Не поддаваться на фашистскую уловку», «Не поддерживать лидера погромщиков». Но вот Валерия Новодворская — вождь «Демократического союза» — вместе с другим «дэсовцем» поставила свою подпись и даже дополнила резолюцию по существу. Новодворская заявила, что это дело принципа, что никакие идеологические высказывания не должны преследоваться в уголовном порядке, что нельзя допустить нового политического процесса в стране. (И это несмотря на то, что подсудимый — ее политический противник.) «Нельзя допустить прецедента, — сказала она, — власти готовят новые преследования неугодных и решили начать с «правых», а ведь потом очередь дойдет и до нас, если машина террора вновь заработает».

Вячеслав ДЕМИН.
Август 1990 г.

«ХОТИМ ВЕРНУТЬСЯ К ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ СУЩЕСТВОВАНИЮ»

В последние годы русские (да и не только русские) люди живут в тягостной атмосфере. Мне кажется, в Ленинграде атмосфера эта особенно тяжелая. Все средства массовой информации захвачены так называемыми «демократами». Это помогло им победить на выборах. Ленинград рушится, продается за валюту, народ ведут к полной деградации. Всех русских, у которых пробудилось самосознание, память, «демократы» забивают своими демократическими камнями — шовинист, националист, черносотенец, ущербная личность, зоологический патриот и т. д. Слово «патриот», как и в прежние времена, стало ругательным, почти запретным. И не хотят «демократы» объяснить, почему патриотизм в любой стране, в любой нашей республике считается самым необходимым человеческим, гражданским чувством, а у нас, в России, его обливают помоями. От диалогов, откровенных разговоров «демократы» отказываются. Напролом они идут к какой-то своей цели, наглые, уверенные в себе. Тех, кто с ними не соглашается, мешает им, они стирают в порошок. Так было у нас с журналистом И. Лосевым. Складывается впечатление, что перестройку только для них и начали.

А как напористо распространялись ни на чем не основанные слухи о грядущих еврейских погромах. Почти каждый день публиковались душераздирающие статьи о бедных евреях, вынужденных уезжать из СССР. В газете «Смена» с болью, слезами, с проклятиями в адрес русского народа провожали певца Евгения Клячкина. Читатель Владимир Гаврилов пишет: «...Стыдно мне, русскому человеку! Нет, евреев просто выпихивают... Мне непонятна позиция партии, комсомола»

Уверена, что многим уезжающим гражданам еврейской национальности смешно читать слова совестливого В. Гаврилова. Уезжают они продуманно, организованно, все взвесив. Это я знаю по знакомым, которые уехали или собираются уезжать. Знаю семью, которая запланировала отъезд только после того, как их девочка поступит в музыкальное училище и закончит его. Все это естественно и понятно. Человек ищет, где лучше. А у нас, в России, ничего хорошего не ожидается. Было бы странно, если бы никто не уезжал. Но зачем клеветать на русских?

В «Книжном обозрении» № 18 прочла статью «Не эмигранты — беженцы...». Не важно, кто автор — может быть, действительно ветеран войны «В. Н.», как написано в конце статьи. Не исключено, что кто-то из газетных работников сочинил все это на злобу дня. Суть в том, что статья эта — провокация, призыв к мщению русским, к действию. Вот в чем ее подлость. Все обиды, все оскорбления свои и знакомых вспоминает анонимный автор. Он рассказывает о своей пионервожатой, украинке, которая дала детям фамилию отца-еврея. Она говорит: «Пусть они пропустят через свою шкуру все унижения и оскорбления, доставшиеся отцу. Только тогда они захотят продолжить войну с фашизмом, начатую их отцом, но уже на СВОЕЙ РОДИНЕ». Дальше он пишет о знакомой научной сотруднице, которая «предложила мне свою квартиру, где бы я мог спрятать семью от погромов». Автор настолько распалил свое воображение, что уже представляет, «как однажды читатели «Огонька» будут разглядывать на его страницах фотографии гробов погибших от рук погромщиков. Только в этих гробах будут лежать уже не узбеки, не грузины, не казахи, не армяне, а евреи», и дальше в том же и еще более трагическом духе. Ни слова о русских, которые погибли в реальных погромах в Азербайджане, о страданиях, мытарствах русских беженцев из Молдовы, Азербайджана, Прибалтики. Если его писал действительно старый человек, переживший войну, а не запрограммированный на разжигание розни журналист, хочется сказать, что бояться ему в любом случае нечего. Милиция (или «боевики МВД», фашисты, как он выражается в своей статье) защитит его от любого насилия. А вот русским людям, живущим в других республиках, уже который год терпящим унижения, издевательства, жестокость, — помощи, защиты, наверное, не дождаться. Как всегда, они должны полагаться на свое терпенье, духовную стойкость, на божью помощь.

72 года народ опустошали, разоряли, денационализировали, спаивали. Обработанных таким образом можно и к фашизму, и к сионизму привести. Но не все еще русские спились, не все забыли, какого они роду-племени. Русские хотят вернуться к прежнему, человеческому существованию, хотят освободиться от темной, чужой, злой силы. И наверное, особое, святое предназначение русских и том заключается в наше трагическое время, чтобы бороться с этой напастью на нашу землю, никому не причинив физического вреда. Не на смертный бой мы должны подняться, а чтобы пробудить, собрать по частицам память русскую, дух русский, доброту, культуру русские. Наша национальная культура, духовность — великая сила против любого зла.

Т. ГОЛОВКИНА.
Ленинград.

«НАМ ВЕДЬ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ НЕ НАДО...»

С тяжелым чувством возвратился я недавно из автобусной поездки по пушкинским местам, ибо своими глазами видел то, о чем немного слышал и читал: наши русские села заселяют представителями коренных национальностей Средней Азии. Больно смотреть на это. Примерно год назад я слышал по радио об арендаторах-узбеках в Кировской области, теперь же видел своими глазами переселенцев среднеазиатских национальностей в Нелидовском районе, которым предоставляются исконно русские земли!

Сначала нас согнали с земли посредством колхозно-крепостного права, семидесяти лет продразверстки — явной и завуалированной, давили село экономическими методами, в частности зажимали корма для личных подворий. А потом исконную нашу, историческую землю начинают заселять другими народами! Поражает меня поведение нашего правительства, протестующего в ООН против поселения на арабских территориях эмигрантов из СССР, «как лиц, там никогда не проживавших», и в то же самое время заселяющего исконно русские земли народами, там тоже НИКОГДА не проживавшими.

С народами Средней Азии надо дружить и развивать взаимовыгодную торговлю, а ведь нам есть чем поторговать друг с другом. Но межнациональные переселения на землю пахотную за спиной у коренных народов преступны!

Нам ведь чужой земли не надо, так зачем же у нас отнимать нашу?! Это мероприятие волей или неволей направлено на ликвидацию русского народа как этнической общности людей.

Вместе с русскими крестьянами в селах, заселенных переселенцами из Азии, исчезнет русская культура, ибо села наши, эти животворные ключи русской культуры, питающие всех нас, будут нерусскими. Истоки у нас отнимают! Не будут узбеки в Кировской области расшивать русские косоворотки, а турки — играть на ливенках и вязать елецкое кружево. А что же может быть потом? В лучшем случае — новые споры на меже, как в Оше. В худшем — нас просто выживут с нашей земли.

Кто дирижер и организатор этого действа? Как нам следует понимать его: как злой умысел или как чудовищную по своей социальной и национальной направленности авантюру аппарата, для которого живые люди разных культур и наций делятся только на производителей и потребителей?

Одно странно: если уж так неймется переселять, то почему не переселяют в эти районы русских людей с зараженной радиацией Брянщины и других областей России, пострадавших от Чернобыля; почему от них 5 лет скрывали, что они живут в зараженной местности? Почему бы, наконец, не переселить, пусть на продолжительное время, в эти села наших единокровных братьев — украинцев и белорусов — мучеников Чернобыля?

Вы можете спросить меня: а что же делать, коли деревня опустела? Я думаю, что при новом порядке землепользования, который должен предусматривать обязательно собственность на землю с правом наследования, но без права продажи, оставшиеся там люди, почувствовав себя истинными хозяевами русской земли, быстро ее заселят и обзаведутся детьми. Так было при Столыпине, когда в Сибири на семью давали по 50 десятин, и родившиеся в 1906—1913 годах выиграли последнюю войну, ибо в те годы был всплеск рождаемости. На мой взгляд, нужно давать крестьянам корма, не отнимать весь хлеб, платить больше. И тогда оставшиеся на селе ростки жизни дадут всходы.

С. В. ШАРАПОВ,
Москва.

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЛИЦО И СТАЛЬНЫЕ ЧЕЛЮСТИ

В годы перестройки, читая статьи, интервью и слушая выступления члена Политбюро, а ныне и члена Президентского совета, А. Н. Яковлева, я просто преисполнилась благоговением к нему.

«Общечеловеческие ценности», «социализм с человеческим лицом», «демократия», «гласность», «плюрализм» — эти слова не сходили с его языка, очаровывая не только меня. Недаром писатель Д. Гранин писал о Яковлеве как о человеке «нравственном, совестливом, мыслящем независимо», говорящем «честные, выношенные жизнью слова», в которых есть «золотое обеспечение» («ЛГ», № 28, 1990 г.).

А Виктор Конецкий (тоже ленинградец), выступая летом по ТВ, говоря о Яковлеве, буквально вспоминал слова об «уме, чести и совести» нашей эпохи...

А как я переживала, когда на XXVIII съезде КПСС какие-то темные силы попытались извратить интервью Яковлева, чтобы опорочить в глазах коммунистов «главного вдохновителя» («За рубежом», № 5, 1990 г.) перестройки!

А недавно сам Яковлев тоже выступил по ТВ и так хорошо говорил о милосердии, о свободе личности и покаянии, столь нужном обществу.

И все было бы хорошо, если бы один из моих знакомых, противник Александра Николаевича, не подсунул мне журнал «Коммунист» № 10 за 1971 г. со статьей Яковлева. То, что я там прочитала, погрузило меня в транс: «Сегодня приходится часто встречаться с активными попытками ревизионистов объявить марксистский классовый подход к социальным явлениям односторонним, «дополнить» или заменить его абстрактным, «общечеловеческим». Хорошо известно, что, например, означают «модели социализма с человеческим лицом», вошедшие в политическую моду в кругах, откровенно враждебных социализму. Абстрактная, неклассовая постановка вопросов о социализме, демократии, гуманности, свободе выражает, в сущности, интересы буржуазии. Это верно не только в теоретическом отношении. В равной мере это верно в практическом смысле, ибо все контрреволюционные движения прикрываются обычно лозунгами свободы, безудержны-

ми и столь же лицемерными словами о гуманности и защите личности». И далее: «...опыт убедительно свидетельствует, что именно последовательная классово-пролетарская позиция в условиях острой борьбы антагонистических социальных сил в современном мире — и лишь она—несет в себе прогрессивное содержание, наполнена созидательным смыслом».

Просто как гром среди ясного неба! Ну, я человек простой: погорюю и разочаруюсь. А как будут переживать, открыв для себя второй лик Александра Николаевича, со стальными идеологическими челюстями, такие творческие и впечатлительные души, как Даниил Гранин и Виктор Конецкий? Вот их до слез жалко.

А может быть, дорогая редакция, статья в «Коммунисте» принадлежит какому-нибудь однофамильцу Александра Николаевича?

Кстати, говорят, что в одном из летних номеров газеты «Московский строитель» появилась фотография слушателей Колумбийского университета, где широкоизвестный ныне генерал Калугин стоит в обнимку с А. Н. Яковлевым. И оба — абитуриенты американского университета. Опять же спрашиваю: верить ли газете, что это наш нынешний член Президентского совета?

Разрешите мои сомнения.

В. РУСАКОВА,
Москва.

О т р е д а к ц и и. Ничем Вас не можем порадовать. Автор статьи 1971 года в «Коммунисте» и человек, изображенный на фотографии в «Московском строителе», — нынешний член Президентского совета, — одно и то же лицо.

ИГРАЕТ ВИДНУЮ РОЛЬ

Читаем в краткой биографической справке академика Шаталина С. С., опубликованной в связи с введением его в Президентский совет: «Академик Шаталин сыграл видную роль в разработке одного из наиболее важных направлений развития советской экономической науки — теории и методологии сбалансированности социалистической экономики. В 1968 году ему присуждена Государственная премия СССР за разработку отчетных и плановых межотраслевых балансов».

Каковы же результаты этой сбалансированности? Каков же практический выход его «теории и методологии сбалансированности социалистической экономики», за которую получена Государственная премия?

На эти вопросы без стеснения отвечает сам академик (в соавторстве с М. Ульяновым, Б. Фоминым и Питиримом) в письме в газету «Известия» (№ 116 от 25 апреля 1990 г., московский вечерний выпуск): «...наступил кризис, из которого все ищут выхода», и государству предстоит «выбраться из дебрей экономических неудач...». Далее следуют призывы к введению новых структур, новых идей, экономических и социальных проектов...

Последние новости: С. Шаталин предложил новую экономическую программу для страны. Академик вновь «играет видную роль»...

В. П. СЕВРЮК,
г. Уссурийск.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Министерство связи СССР и РСФСР сообщили редакции, что почтовые отделения обязаны оформить подписку на наш журнал в любой точке Советского Союза.

Все препоны и саботаж во время подписки чинятся вам на местном уровне.

Будьте настойчивы в своем стремлении стать читателями нашего журнала.

Наш индекс 73274

Цена годовой подписки — 18 рублей.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1990 И В 1991 ГОДУ ВЫ ПРОЧТЕТЕ В НАШЕМ ЖУРНАЛЕ

РОМАНЫ

Юрий БОНДАРЕВ. "ИСКУШЕНИЕ";

Валентин ПИКУЛЬ. "БАРБАРОССА". Роман о Сталинграде.

Дмитрий ЖУКОВ. "СНЫ" (исторический документальный роман о монархисте и мистике В. В. Шульгине, видевшего всех властителей за последние 100 лет – от Александра II до Брежнева, бывшего другом и врагом великого множества исторических фигур (персонажей романа), о его размышлениях, пророчествах, деяниях, испытаниях и загадочных встречах).

ПРОЗУ МОЛОДЫХ

Петр ПАЛАМАРЧУК. Сатирическое повествование – "ОТ ПРЕДДВЕРИЯ КОММУНИЗМА ДО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ КРЕЩЕНИЯ РУСИ. НОВЫЙ МОСКОВСКИЙ ЛЕТОПИСЕЦ (1979–1988)".

Александр СЕГЕНЬ. "ЗАБЛУДИВШИЙСЯ БТР" (повесть). Афганистан: на войне как на войне.

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Виктора АСТАФЬЕВА, Василия БЕЛОВА, Николая БЛОХИНА, Бориса ЕКИМОВА, Владимира КРУПИНА, Юрия ЛОЩИЦА, Валентина РАСПУТИНА, Вадима САФОНОВА, Владимира СОЛОУХИНА, Николая СТАРШИНОВА, Анатолия ТКАЧЕНКО, Бориса ШИШАЕВА, Бориса УКАЧИНА, Николая ШИПИЛОВА и других.

ТРАГЕДИЯ РОССИИ И ГИБЕЛЬ ПОЭТА –
к 95-летию со дня рождения С. ЕСЕНИНА: **А. Ремизов** – "Слово о погибели Русской земли", воспоминания о Есенине **А. Ахматовой**, новые материалы о жизни и смерти Сергея Есенина из советских архивов и библиотеки Конгресса США.

"РУСОФОБИЯ": ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ – новая статья **Игоря Шафаревича.**

ТРЕТИЙ ПУТЬ – исследование о религиозно-этических корнях русской экономики **Юрия Бородая.**

МАФИЯ В ПЕРЕСТРОЙКЕ? – статья **Анатолия Салуцкого** о современной политической ситуации.

ОТ ПУШКИНА К БУЛГАКОВУ – ТЕМА БЕСОВ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ – новое исследование **Петра Палиевского.**

ПОСЛЕДНИЙ ШАГ К НИГИЛИЗМУ – критические заметки **Вадима Кожинова** о литературе "третьей волны" эмиграции.

А. СОЛЖЕНИЦЫН – ПИСАТЕЛЬ И ПУБЛИЦИСТ – новая статья **Владимира Бондаренко.**

Под рубрикой ***"Не хлебом единым"*** –
о. Лев Лебедев – о высокой и трагической судьбе русской Церкви;
"БУДУЩЕЕ РОССИИ И КОНЕЦ МИРА", "ПРАВОСЛАВИЕ И " РЕЛИГИИ БУДУЩЕГО" – религиозная публицистика американского иеромонаха **о. Серафима (Роуза);**
"РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ ВНОВЬ ПОД УГРОЗОЙ...' – статья **Игоря Бончковского-Скарбека;** работы Оптинских старцев.